

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
Институт всеобщей истории

С.Л. УТЧЕНКО

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ
УЧЕНИЯ
ДРЕВНЕГО
РИМА**

III — I вв. до н. э.



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1977

В монографии ставится ряд важных теоретических проблем, в первую очередь проблема кризиса основной ячейки античного мира — полиса. Автор рассматривает социальную этику и политические концепции Римской Стои, тенденции развития римской историографии, учения о происхождении государства и права, о наилучшей форме государственного устройства, об идеальном правителе и идеальном гражданине. Выявляя греческие истоки различных учений, автор проследживает их развитие в Риме в соответствии с римскими традициями, требованиями исторического момента и политическими взглядами определенных социальных слоев.

Редакционная коллегия:

Е. С. ГОЛУБЦОВА, Ю. К. КОЛОСОВСКАЯ,

Е. М. ШТАЕРМАН

Ответственный секретарь В. М. СМИРИН

Сергей Львович Утченко

ПОЛИТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ ДРЕВНЕГО РИМА

(III—I вв. до н. э.)

Утверждено к печати Институтом всеобщей истории Академии наук СССР

Редактор издательства Ф. Н. Арский

Художник Н. Б. Старцев. Художественный редактор Н. Н. Власик

Технический редактор Л. В. Каскова

Корректоры М. К. Запрудская, Т. Д. Хорькова

Сдано в набор 1/VII-1977 г. Подписано к печати 15/X-1977 г. Формат 84×108¹/₁₆.

Бумага типографская № 2. Усл. печ. л. 13,54. Уч.-изд. л. 14,1. Тираж 15 500.

T-16831. Тип. зак. 2803 Цена 90 коп.

Издательство «Наука» 117485, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 94а

2-я типография издательства «Наука» 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

У $\frac{10603-350}{042(02)-77}$ БЗ—27—12—77

© Издательство «Наука», 1977 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая вниманию читателей книга, которой суждено было стать последней книгой известного советского историка С. Л. Утченко (1908—1976 гг.), подводит итог исследованиям проблем идеологии, социально-экономической и политической истории древнего Рима. Этими проблемами автор занимался многие годы, выпустив ряд трудов, явившихся достойным вкладом в советскую науку. За работы «Кризис и падение Римской республики» (М., 1965), «Древний Рим. События. Люди. Идеи» (М., 1969), «Цицерон и его время» (М., 1972), «Юлий Цезарь» (М., 1976) Президиумом Академии наук СССР присуждена С. Л. Утченко (посмертно) премия имени В. П. Волгина 1977 года.

Настоящая книга — первая в нашей исторической науке обобщающая монография о политических учениях Рима III—I вв. до н. э. и — шире — о римской политической мысли, составлявшей, по убеждению С. Л. Утченко, существенную сторону идеологической жизни древнего Рима и римской культуры в целом.

В основу исследования положены две методологически важные проблемы.

Это, прежде всего, проблема полиса — античной гражданской общины — как фундамента не только всех политических теорий античности, но и вообще

всех античных систем ценностей. Данное положение важно не только для понимания большой роли «полисных» представлений в мировоззрении римских теоретиков, но и для осмысления причин идеологического кризиса последних веков Римской республики, его отражения в отдельных политических учениях и, наконец, зависимости политической идеологии принцепата от той же системы ценностей римской гражданской общины.

Вторая проблема — проблема самобытности римской системы ценностей, самобытности римской культуры, которая трансформировала и адаптировала усваивавшиеся ею «чужеземные» (в первую очередь эллинские) влияния. Процесс этот рассматривается автором в связи с анализом противоречий внутри господствующего класса. Эта сторона исследования важна в историко-культурном аспекте, обращая наше внимание на существенный вклад Рима в синкретическую античную культуру, распространившуюся по всему Средиземноморью в первые века н. э., но формировавшуюся ранее.

Поставленная автором задача различить и понять общеантичные и специфически римские стороны изучаемых явлений потребовала от него пристального внимания и к греческому материалу, который дает исследователю общий и конкретный исторический контекст для рассмотрения римских политических учений.

Названными проблемами и основными положениями автора определяется и структура книги.

Введение и первые три главы целиком посвящены проблеме полиса (автор прилагает этот термин и к республиканскому Риму). Введение указывает на некоторые особенности античной культуры, обусловленные спецификой полисных социальных связей, которая всесторонне исследуется в главе I. Основ-

ные идеи этой главы прилагаются затем к осмыслению кризиса полиса в Риме III—I вв. до н. э.: главы II и III знакомят читателя соответственно с экономическим и идеологическим аспектами этого процесса.

Переходя от общих вопросов к конкретным, автор начинает с исторических истоков и мировоззренческих связей римской политической мысли. В главе IV рассматривается учение Римской Стои как пример трансформации греческих (старостойческих) воззрений в новых социально-политических условиях римской державы и в новой — римской — идеологической среде. Характер этой среды становится понятным из главы V, посвященной некоторым тенденциям римской историографии: на раннем (насколько позволяют источники) материале автор прослеживает, как зарождались те политические взгляды, которые получили затем развитие в «зрелых» теориях. Именно они и составляют предмет глав VI—X, в которых разбираются отдельные учения и теории: о происхождении государства и права, о наилучшей форме государственного устройства, об упадке нравов, об идеальном гражданине, об идеальном правителе. Как и при разработке общих вопросов, автор здесь тоже отправляется всякий раз от взглядов греческих предшественников римской политической мысли, чтобы установить затем ее специфику, ее вклад в идейное наследие античности.

В Заключении ставится вопрос об эволюции римских политических учений, отражавшей развитие социально-политических отношений и римской государственности. Автор показывает, что «полисная» по происхождению римская шкала ценностей с переходом к Империи не упраздняется, не замещается эллинистической, но преобразуется, наполняясь

новым содержанием и сохраняя при этом свой традиционный характер.

Скоропостижная кончина С. Л. Утченко застала его на завершающем этапе работы над текстом монографии. Автор не мог уже сам услышать, как ему того хотелось, суждения коллег, не мог учесть их мнений при подготовке законченной уже рукописи к печати. Книга выходит в свет посмертно. Мы уверены, что она найдет отклик как у специалистов, так и среди широкого круга читателей и будет способствовать дальнейшей разработке затронутых в ней вопросов.

*Е. С. Голубцова
Ю. К. Колосовская
Е. М. Штаерман
В. М. Смирин*

Достаточно хорошо известно, что философская и политическая мысль древних часто находила свое выражение в форме диалога. Под диалогом здесь мы разумеем не литературную (вернее, не только литературную) форму, но как бы форму самого мышления. Это не должно удивлять, ибо истинно творческое мышление по сути есть мышление диалогичное, спор с неким собеседником, с *alter ego*, т. е. некий внутренний диалог¹.

Для античных авторов характерна именно такая ориентация — установка на самый процесс мышления, на «спор» в его внутреннем развитии. Подобный подход прямо противоположен установке на результаты процесса, когда лаборатория убирается в «подвалы сознания», когда мы имеем дело с выводами и выстроенным в последовательный ряд набором аргументов (поскольку любая аргументация — вовсе не процесс, а его результаты, пусть промежуточные, но все же результаты!). Эта установка характерна для иной системы мышления.

Вот что пишет В. С. Библер по поводу подобной системы: «Даже диалог с другими здесь осуществляется в форме монолога, доказательства (для тугодумов), мышление идет от субъекта и замыкаться «на себя» органически не может. Больше того, сверхзадача внутреннего спора в том и состоит, чтобы устранить одного из собеседников (не знающего, ошибающегося), чтобы развернуть, разомкнуть обоснование в доказательство. Изобретение идей

¹ Библер В. С. Мышление как творчество. (Введение в логику мысленного диалога.) М., 1975, с. 3—6; 62—69; ср. Бахтин М. М. К методологии литературоведения. — В кн.: Контекст. 1974, М., 1975, с. 206.

должно быть опущено в дологическое подземелье, внутренний спор должен уничтожить самого себя, в теории не должно остаться следов ее происхождения. Если это получается, значит, теория готова к употреблению и может поступать в распоряжение практики, в оборот внешнего общения»².

Мы привели столь обширную цитату, потому что в ней дано, на наш взгляд, очень точное определение основных «примет» современного мышления. Не сказано лишь о том, чем именно обусловлено его становление и развитие. Мы же склонны подчеркнуть — наряду с другими причинами — некую связь и зависимость подобной системы мышления от линейного характера письма, от внушаемой им привычки последовательного слежения за ходом мысли в процессе декодирования информации, передаваемой этим письмом, что и называется нами чтением. Заслуживает внимания мнение Маклюэна, утверждающего, что подобная практика неизбежно порождает представление о причинно-следственной связи явлений³, а если это так, то неудивительно, что имеют значение лишь причины и следствия, а «промежуточные результаты» убираются, как правило, в подтекст. Дальнейший шаг в развитии этой системы — декларативное мышление, которое концентрирует, «снимает» в конечном выводе все предшествующие звенья, ибо афоризм, приказание и т. п. не нужны ни в аргументации, ни в установлении причины.

Вернемся, однако, к античности. Свойственная ее мыслителям диалогичность мышления должна рассматриваться как частный случай, как проявление одной из особенностей античной культуры в целом, точнее — более общей и специфической ориентации этой культуры. Мы имеем в виду ориентацию античной культуры на устное, живое, звучащее слово и на его слуховое восприятие, т. е. то, что может быть названо оро-акустической ориентацией. Но прежде чем обосновать этот тезис, необходимо сделать, по крайней мере, две существенные оговорки, касающиеся употребленного выражения «античная культура в целом». Оно требует некоторого ограничения. Во-

² Библиер В. С. Указ. соч., с. 72.

³ McLuhan M. *The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man*, Toronto, 1962, p. 18—22; cp. *idem*. *Understanding Media. The Extensions of Man*. New York. 1964, p. 140—144, 166.

первых, ограничение временное. Говоря об античной культуре, мы, конечно, имеем в виду лишь определенный период ее развития, а именно тот период, который принято именовать «классическим» и который точнее следует определить как эпоху господства полисной организации, полисных отношений. Во-вторых, мы, строго говоря, имеем в виду те области культуры, которые выступают в словесном выражении, которые так или иначе связаны со словом (речью). Если эта последняя оговорка еще более ограничивает понятие «античная культура в целом», то она все же его не отменяет. Говоря о словесном выражении, мы подразумеваем те области, те аспекты культуры, которые составляют основное ее содержание, обладают наиболее высокой степенью информативности и к тому же обращены к массовой аудитории. Поскольку это так, то эти области или аспекты и выступают в качестве определяющего фактора при формировании мировоззрения человека (в том числе и античного), т. е. его социальных, политических и философских воззрений, его модели мира.

Нетрудно предвидеть некоторые сами собой напрашивающиеся возражения. Прежде всего, речь может идти о роли искусства. Несомненно, что в формировании эстетических взглядов и вкусов весьма значительную роль играют такие явления культуры, которые по природе своей как будто вовсе и не связаны со словом, — изобразительное искусство, архитектура и т. п. Однако по сравнению с факторами, формирующими социально-политические и философские взгляды, эти явления все же не могут считаться определяющими. Вероятно, и в общем балансе средств коммуникации те формы, те средства, которые не связаны со словом, имеют, как правило, вторичное значение.

Кстати, искусствоведы говорят о существенном преобладании пластического образа в античном изобразительном искусстве. Причем речь идет не только о скульптуре, но и о «статуарном» характере самой античной живописи. Пластический же образ в искусстве считается как бы адекватным слову. Кроме того, вовсе не лишено оснований следующее соображение: изобразительное искусство, архитектура и т. п. для самой античности, для формирования мировоззрения античного человека — как ни парадоксально это звучит — имели менее «конституирующее»

значение, чем то же античное искусство для становления человека новой европейской цивилизацией.

Рассмотрим вопрос об оро-акустической ориентации античной культуры, имея в виду некоторые ее основные аспекты.

Письменность, чтение, грамотность. Само собой разумеется, что язык как семиологическая система не должен в данном случае служить предметом нашего рассмотрения. Что же касается некоторых особенностей греческого и латинского языков и их использования в живой речи, например длительности гласных звуков, просодии и т. п., то все эти явления, несомненно, лишь могут подтвердить, даже подчеркнуть общую ориентацию. Оро-акустическая «цель» всегда заложена в живой речи, но особенности, приемы, техника речи могут или усиливать, или, наоборот, ослаблять конечный эффект (например обеднение интонационных средств).

Сейчас нас интересует вопрос о соотношении письменности и устной речи. Мы склонны утверждать, что в «классический» период истории Греции (или на «полисном уровне» римской истории) письменность никогда не брала, да и не могла взять верх над живым словом. Это свидетельствует прежде всего о том, что письменность даже на стадии изобретения фонетического алфавита (который стал использоваться греками, по-видимому, с IX—VIII вв. до н. э.) еще не превратилась в средство массовой коммуникации. Из сказанного вытекает, что дело заключается не столько в изобретении или наличии письменности, сколько в масштабах ее распространения, использования. Так, Маклюэн истинным переворотом, своего рода широкой культурной революцией считает лишь изобретение типографского станка, т. е. книгопечатания, которое в силу своего быстрого распространения открыло новую эпоху — эпоху преобладания визуального восприятия информации над восприятием слуховым, «тиранию печати, появление «типографского человека» и т. п.⁴

У нас нет ни оснований, ни права наши наблюдения, относящиеся к античности (точнее, к античному полису), распространять на какие-то иные исторические эпохи, что почти всегда ведет к искажению исторической перспек-

⁴ *McLuhan M. Understanding Media. The Extensions of Man, p. 144, 151.*

тивы. Поэтому не будем выходить — и пространственно, и хронологически — за пределы намеченных нами же рамок античного полиса.

Развитие письменности в эпоху господства полисной организации переживало свой, если не детский, то, в лучшем случае, отроческий возраст. Письменность использовалась в первую очередь для фиксации материала, имеющего официальный и документальный характер (отчетность, законодательные акты, договоры и т. п.). Книг (рукописных!) было сравнительно мало, стоили они дорого, книга, в общем, была еще редкостью. Крупных библиотек не существовало — первые упоминания о подобных библиотеках относятся только к эллинистическому времени (Александрийская, Пергамская, библиотека македонского царя Персея, которую в качестве драгоценного военного трофея захватил Эмилий Павел), да и то подобные библиотеки насчитывались единицами и, конечно, не были рассчитаны на массового читателя, не имели публичного характера. Грамотность (выборочно в античном мире довольно высокая) тоже, разумеется, была распространена не повсеместно. Известный анекдот, связанный с остракизмом Аристида, свидетельствует, на наш взгляд, не только о безусловной грамотности верхушки афинского общества при недостаточной грамотности населения хоры, но также и о достаточно широком охвате этого населения информацией устной.

Действительно, на первый взгляд кажется, что в описанных выше условиях знакомство с наиболее информативными источниками культуры могло быть привилегией лишь весьма узкого круга лиц. Однако этому противоречит общеизвестный факт — отнюдь не элитарный, но достаточно широкий, «народный» (или, точнее говоря, «гражданский») характер античной культуры.

Как же это могло произойти? Единственно возможный в тех условиях путь — ориентация всех наиболее информативных «компонентов» античной культуры на слуховое, акустическое восприятие. Эта ориентация имела принципиальное значение, накладывая отпечаток на общий характер культуры, обуславливая развитие отдельных жанров и направлений, не оставляя без своего воздействия даже самый строй общественной жизни.

Во вступительной статье к переводу трактатов Цицерона об ораторском искусстве М. Л. Гаспаров писал:

«Вся культура Греции и Рима — особенно по сравнению с нашей — в большой степени (та же оговорка, что и у нас! — С. У.) была культурой устного, а не письменного слова... Стихи Вергилия и периоды Цицерона одинаково рассчитаны не на чтение глазами, а на произнесение вслух». И дальше: «Высказывалось предположение, что античность вовсе не знала чтения «про себя»: даже наедине с собою люди читали вслух, наслаждаясь звучащим словом»⁵.

Эти соображения, высказанные М. Л. Гаспаровым, изложены им довольно лапидарно, что объясняется, конечно, самим характером вступительной статьи. И хотя он утверждает, что «даже исторические сочинения, даже философские трактаты, даже научные исследования писались прежде всего для громкого чтения»⁶, фактически он использует эти утверждения лишь для обоснования роли и значения ораторского искусства в древности. Что же касается чтения вслух, даже наедине с самим собой, то это, пожалуй, наиболее яркий и убедительный пример огромного влияния языковых и речевых особенностей (в частности, явлений просодии) на общую ориентацию культуры, о чем уже упоминалось выше. Вместе с тем это — бесспорный пример некоего конфликта, «расхождения» между живой и письменной речью.

Ораторское искусство. Здесь картина наиболее ясная, поскольку речь идет о той области, в которой «звучащее слово царило полновластнее всего»⁷. Но, как бы мы ни подчеркивали это обстоятельство, мы все же не в состоянии в полной мере представить себе, какую огромную, поистине ведущую и «структурообразующую» роль играло античное публичное красноречие, каково было его не только (вернее, не столько) культурно-эстетическое, но в первую очередь социально-политическое значение.

Политическое и судебное красноречие — стержень, основа всей общественной деятельности, в полном смысле слова «пресса античности». Более того, ораторская речь по сути дела оказывалась единственно мыслимой формой, в которую облекалось любое политическое выступление,

⁵ Гаспаров М. Л. Цицерон и античная риторика. — В кн.: Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1972, с. 7.

⁶ Там же.

⁷ Там же.

любая политическая акция (если, конечно, речь не шла о насильственных действиях). Особенно наглядно эта специфика проявлялась, пожалуй, в той сфере политической жизни и борьбы, которую можно было бы назвать «публицистикой». Наиболее характерен, наряду с другими, пример Исократ — оратора, никогда перед аудиторией не выступавшего, в сущности даже не оратора, а публициста, автора политических памфлетов, статей, вынужденного, однако, писать эти статьи в форме будто бы произносимых речей, самым тщательным образом соблюдая все законы и особенности этого жанра.

Не будем в данном случае касаться теории античного красноречия. Скажем лишь, что необычайно тщательная, детальная, поистине скрупулезная разработка теории была бы ничем не оправдана, да и попросту невозможна, если бы это не вызывалось настоящей общественной потребностью в ней.

Наконец, об огромном значении античного публичного красноречия свидетельствует то, что оратор в сознании античного человека отождествлялся, идентифицировался с политическим (государственным) деятелем. Мы имеем в виду в данном случае даже не те широко известные, так сказать, классические примеры совпадения этих «ипостасей» (Демосфен, Цицерон), но скорее то, что принято называть принципиальной «постановкой вопроса».

Так, в Риме в I в. до н. э. Цицерон мог публично утверждать: «Есть два рода деятельности, которые способны возвести человека на высшую ступень достоинства: деятельность полководца и деятельность выдающегося оратора. От последнего зависит сохранение благ мирной жизни, от первого — отражение опасностей войны»⁸. И если не все римляне, быть может, соглашались с тем, что деятельность полководца и деятельность оратора равноценны по своему значению для государства, то никому, видимо, не представлялось неправомерным другое — фактическое отождествление Цицероном оратора с государственным деятелем.

Литература. 1. Поэзия. Едва ли можно сомневаться, что зарождение (и развитие) таких литературных жанров, как эпическая поэзия, лирика, тесно связано с установкой на голос и слух, т. е. с их оро-акустической

⁸ Cic., Pro Mur., 30.

ориентацией. Известно, что поэмы Гомера, впервые записанные при Писистрате, многими поколениями передавались из уст в уста, что гимны Тиртея были рассчитаны на исполнение голосом и на слуховое восприятие. Известен также знаменитый в свое время спор Шwegлера с Нибуром относительно эпического или лирического характера «застольных песен» в древнейшем Риме (и опровержение высказываний Нибура о римском эпосе).

Приведенные примеры (число их может быть умножено) должны быть отнесены к возникновению литературных жанров, но поистине удивляет весьма стойкое сохранение оро-акустической традиции на протяжении столетий, даже при наличии достаточно развитой письменности. Плутарх рассказывает, что во время несчастного сицилийского похода многие афиняне спаслись от рабства, каменоломен, голодной смерти только благодаря чтению наизусть стихов Еврипида, которого в Сицилии особенно почитали⁹. Но и значительно позже — в императорском Риме — люди хранили любимые ими произведения поэзии (да и прозы!) не столько в свитках, сколько в собственной памяти. Кстати, и память была замечательно тренирована: сотни стихотворных строк того же Гомера или латинских «классиков» (Ливий Андроник, Энний и др.) заучивались наизусть еще в школе, а Сенека Старший, например, уверял, что он способен с одного раза запомнить две тысячи слов или, впервые услышав двести стихов, повторить их не только в обычном порядке, т. е. от начала к концу, но и в обратном.

2. *Проза*. О таком жанре художественной прозы, как античное публичное красноречие, уже говорилось. Его оро-акустическая ориентация предельно ясна. Быть может, только следует упомянуть о том, что, помимо судебного и политического («совещательного») красноречия, которое имело в виду, поскольку речь выше шла об общественной жизни и борьбе, существовал еще достаточно широко распространенный обычай произнесения торжественных речей (энкомиев), восходящий, кстати сказать, к древнейшей традиции песнопений в праздничных процессах или во время игр.

Упомянем также о публичных чтениях своих произведений авторами, начиная с тех чтений, которые легенда

⁹ *Plut., Nic.*, 29.

приписывает еще Геродоту (на олимпийских играх, а также в различных городах Греции, в том числе Афинах) и вплоть до времени поздней Империи с возродившейся (или вовсе и не умиравшей) «модой» на открытые чтения. Но если иметь в виду чтения, происходившие в Риме, то речь, видимо, должна идти все же о сравнительно узком круге «избранных» слушателей.

Гораздо существеннее, на наш взгляд, то обстоятельство, что некоторые канонические приемы как нарративной (например история), так и научной (философия, политические учения) прозы могут найти вполне удовлетворительное и правдоподобное объяснение, если учитывать их оро-акустическую ориентацию. Вполне вероятно, что свойственное всем античным историкам пристрастие к вставным речам, речам, характеризующим и действующих лиц и ситуации, объясняется вовсе не стремлением к большей живости, занимательности — так сказать, «беллетризации» — изложения, как нередко утверждают литературоведы и филологи, а является закономерным следствием, вытекающим из общих «установок», из общей оро-акустической ориентации античной литературы.

Такой же вывод мы вправе сделать, говоря о научной прозе, т. е. о философских трактатах. Преимущественное использование в этих трактатах формы диалога, что, как указывалось выше, давало автору возможность развернуть и акцентировать самый процесс творческого мышления, тоже объясняется в конечном счете явной установкой на живую речь и слуховое восприятие. Вспомним, кстати, о таких «оро-литературных» предшественниках философского диалога, как «пиры» или «состязания» мудрецов (фольклорная проза), а также «состязания в речах» в греческой драме и софистической прозе.

Театр. Казалось бы, тезис об оро-акустической ориентации античной культуры едва ли может быть подтвержден примером античного театра. Однако это не так. Визуальная сторона, визуальное воздействие стояли в античном театре отнюдь не на первом месте. Вспомним хотя бы о скудости декораций (несменяемый задник), об отсутствии мимики у актеров (фиксированная маска) и т. п. Трудно сомневаться в том, что оро-акустическая ориентация театра проявлялась у греков с большей определенностью, чем у римлян. Именно этой ориентацией вполне удовлетворительно, на наш взгляд, объясняется

такая особенность греческого театра, как ведущая, организующая и «наставляющая» роль хора.

И вообще, если мы вспомним, каково, например, было значение театра в общественно-политической жизни Афин V—IV вв., то становится предельно ясным, что подобное значение никак не могло быть обусловлено только зрелищной стороной театрального действия. Несомненно, главное для античного зрителя заключалось не в «зримом», но в той смысловой (и, следовательно, «голосовой») информации, которую он получал в театре (перипетии сюжета, общественно-политическая тенденция).

Таковы наиболее наглядные примеры. Число их, пожалуй, можно не увеличивать; ограничимся сказанным и попытаемся подвести некоторый итог. Будем считать, что приведенные примеры подтверждают тезис об оро-акустической ориентации античной культуры. А если так, то какой это имеет для нас смысл, какое значение, кроме, так сказать, сугубо исторического или даже «антикварного»? Ответ едва ли можно считать очень обнадеживающим. Дело в том, что наши выводы и наблюдения относительно оро-акустической ориентации античной культуры могут дать определенное представление, даже знание особенностей, специфики этой культуры в довольно широком значении слова — от особенностей мышления до понимания отдельных литературных приемов, но это еще вовсе не адекватное внутреннее переживание («интенция»), и потому это ничего не меняет в нашем собственном восприятии явлений античной культуры.

Нам прекрасно известно, как читались стихи самими греками, но мы теперь не в состоянии воспроизвести их манеру (технику) чтения. Подобно этому мы не способны ныне «переживать» поэмы Гомера или диалоги Платона в их оро-акустическом выражении, в их многоголосом звучании или в контексте «внутреннего спора», т. е. как самодовлеющий процесс развития мысли.

Наиболее существенно для нас последнее: философские и политические воззрения, концепции, теории античных мыслителей, о которых речь впереди, тоже теперь воспринимаются нами в их линейном выражении, воспринимаются вдвинутыми в причинно-следственный ряд, выступающими как «результаты процесса». В этом, кстати сказать, не только принципиальное различие эпох, культур, «подходов», но и неизбежные издержки ретроспек-

ции. Однако положение все же не совсем безнадежно. Было бы неправильно оценивать ретроспективное умозрение только отрицательно; ретроспекция при разумном к ней отношении имеет и свои преимущества: всегда, в общем, можно понять, что именно следует относить на ее счет. Если нет и не может быть речи об адекватном переживании, то это вовсе не исключает (как только что было отмечено) возможностей понимания, причем понимания, в значительной мере очищенного от наслоений самой ретроспекции.

Наше представление об оро-акустической ориентации античной культуры, безусловно, помогает вскрыть некоторые особенности в представляющей для нас наибольший интерес области — в сфере общественной жизни, поскольку эта ориентация сама обусловлена, вернее, даже порождена особым характером существовавших в полисе социальных связей. Мы имеем в виду прежде всего феномен народного собрания.

Но что есть народное собрание? Что такое экклесия, апелла, комиции и т. п. в интересующем нас плане, как не прямое и непосредственное общение граждан полиса, общение, основанное на личном участии, на голосовой и слуховой информации (визуальный момент если и играл какую-то роль, то, конечно, лишь второстепенную, подчиненную)? Вне этой оро-акустической сферы народное собрание просто не в состоянии было бы функционировать, но и все остальные звенья (органы) полисного устройства тоже связаны в той или иной степени с этой сферой.

Взаимоотношений между общиной и индивидуумом в условиях полиса, полисной (большей или меньшей) демократии, мы еще коснемся. Вопрос этот решается далеко не однозначно, но бесспорно одно: констатированный выше характер связей в полисе не только предполагает безусловное наличие коллектива, но и содействует его сплочению, порождая у каждого «участника» некое ощущение ответственности за «общее дело». Личное присутствие, личное участие — таково необходимое условие правильного и бесперебойного функционирования полисного организма. Однако рассмотрение этого вопроса во всем его объеме — задача предстоящего исследования. Для решения ее необходимо вступить на путь индукции, путь, ведущий от феномена народного собрания к феномену полиса.

ФЕНОМЕН АНТИЧНОГО ПОЛИСА

Если обратиться к политическим теориям и учениям античности, то сразу же бросается в глаза, что проблема полиса (ἡ πόλις, civitas) занимает в них центральное место. В принципе полис — единственно возможное и даже единственно мыслимое средоточие общественной жизни, прав, привилегий. Только тот, кто приобщен к полису — как правило, в силу своего рождения, — и есть полноправный его член, т. е. гражданин (ὁ πολίτης, civis), и как таковой только и может принимать более или менее значительное участие в общественной, т. е. политической, жизни (ἡ πολιτεία).

По этим причинам политическое мышление греков — во всяком случае, в «классический» период (т. е. до эпохи эллинизма) — фактически не выходило за рамки полиса. Любое построение, любая теоретическая конструкция базировались на представлении о всяком общественном организме эллинского мира как полисе. Даже в своем наивысшем развитии (Платон, Аристотель) политическая мысль античности вращалась все в тех же пределах: «идеальное государство» Платона — не что иное, как полис, к тому же — и это отнюдь не случайно — спартанского образца.

Но что такое полис? В современной, в частности советской, историографии достаточно часто и много говорится о полисе, уделяется большое внимание проблеме его кризиса, говорится, хоть и реже, о путях его становления, о генезисе, но, как ии странно, на анализе самого понятия «полис» останавливаются в общем редко, бегло и даже как бы неохотно. Мы в данном случае имеем в виду не поиски какой-либо дефиниции, но именно анализ понятия,

попытку вскрыть его внутреннее содержание, его специфику.

Ныне существует и пользуется повсеместным распространением формулировка, определяющая полис как «город-государство» (the city-state, der Stadtstaat). Но она, на наш взгляд, мало приемлема. Во-первых, она создает обманчивое впечатление того, что одна-единственная «всеобъемлющая» дефиниция способна исчерпать суть вопроса. Затем, эта формулировка представляет собой позднейшее изобретение, продукт творчества ученых нового времени и вовсе не соответствует тому содержанию, которое вкладывали в понятие «полис» сами древние (в частности, они никогда не отождествляли понятия «полис» и «город»). И наконец, не совсем ясно (без дальнейших уточнений), в каком смысле употребляется в этом определении слово «государство».

Поэтому, вероятно, гораздо ближе к сути дела другое определение: полис — гражданская община. Но если только что говорилось, что едва ли можно удовлетвориться какой-то одной, якобы «исчерпывающей» дефиницией, то определение полиса как гражданской общины необходимо развернуть. Это тем более необходимо, что данное определение тоже отнюдь не пользуется единодушным признанием.

В советской историографии существуют различные точки зрения. Некоторые историки вполне определенно высказываются против признания полиса общиной. Другие утверждают, что к общинам следует относить лишь небольшие аграрные города. Определенная же часть историков, в том числе и автор этих строк, полагает, что античный город должен рассматриваться как община, но община особого типа, т. е., как уже сказано, община гражданская¹.

Но что следует понимать под термином «гражданская община»? Для ответа на этот вопрос придется, видимо, коснуться, хотя бы в самых общих чертах, проблемы генезиса полиса или, говоря иными словами, проблемы исторического, реального соотношения между «полисом» и «общиной».

¹ См., например, доклад советской делегации на XIV Международном конгрессе исторических наук (МКИН): Golubtsova E. S., Kusishin V. J., Shtaerman E. M. Types Community in the Ancient World. San Francisco, 1975, p. 12—17.

Однако, прежде чем устанавливать подобное соотношение, следует иметь достаточно четкое представление об общине и ее модификациях. Но, конечно, и этот вопрос далеко не прост. Совершенно прав А. М. Хазанов, который считает, что термин «община» — «один из самых полисемантических терминов, употребляемых в исторической науке». В подтверждение своих слов он приводит ряд определений различных типов общины как в советской, так и в зарубежной литературе². В качестве примера остановимся на классификации, выделяющей два типа общин: соседско-родовую и соседско-большесемейную³. Эта классификация предусматривает пять типов общины: 1) раннеродовая; 2) родовая; 3) соседско-родовая; 4) соседско-большесемейная и 5) соседская.

Не вдаваясь в обсуждение данной классификации по существу, отметим лишь, что для наших целей не требуется столь детализированной схемы. Нас вполне удовлетворяет представление об основных типах общины, т. е. об общине родовой и территориальной. Причем, говоря о последней, мы имеем в виду две ее модификации: соседскую (или сельскую) и гражданскую (или городскую)⁴. Гражданская (городская) община, очевидно, и есть полис⁵.

Территориальная община закономерно сменяет родовую. Но существует ли стадияльная последовательность в рамках общины территориальной, т. е. сменяет ли, как правило, гражданская, городская община сельскую? Та-

² Хазанов А. М. Община в разлагающихся первобытных обществах и ее исторические судьбы. — ВДИ, 1975, № 4, с. 3 слл.

³ Маретин Ю. В. Социальная стратификация в общинах соседско-родового и соседско-большесемейного типов. — Конференция «Возникновение раннеклассового общества». Тезисы докладов. М., 1973, с. 50—57; он же. Стадияльная типология общин. — «Тезисы докладов и сообщений XIV сессии межреспубликанского симпозиума по аграрной истории Восточной Европы (Минск — Гродно, 25—29 сентября 1972 г.)», вып. II. М., 1972, с. 165—170.

⁴ Подобная классификация, конечно, отличается от той, которую предлагает в своей статье А. М. Хазанов (указ. соч., с. 4 сл.). Кстати, термин «городская община» не должен нас смущать. Само собой разумеется, что в состав такой гражданской общины включалось население не только городского центра, но и хоры (ср., например, городские и сельские трибы Рима и т. п.). Но важно названием подчеркнуть, что именно город становится теперь центром.

⁵ См. Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. I, с. 465—467, 470—471.

кой непреложной закономерности, конечно, не существует, но вместе с тем подобная стадияльная последовательность отнюдь не исключена и не «противопоказана». Нас как раз интересуют те случаи, когда она соблюдается.

Пути становления античного полиса многообразны. Очевидно, можно иметь в виду такие варианты, как колонизация, завоевание, синойкизм и т. п. Нам представляется, однако, что в случае наиболее естественного и «мирного» пути (т. е. синойкизма) речь должна идти, как правило, о слиянии, объединении именно сельских (соседских) общин. Подобная схема становления полиса, подобный путь синойкизма сельских общин был, кстати говоря, «открыт» еще Аристотелем, который не только теоретически, но и исходя из опыта многочисленных и разнообразных «политий», устанавливал следующие генетико-стадиальные степени общности: οἰκία, κῶμη, πόλις⁶. В этой трехчленной схеме центральным посредствующим звеном, как нетрудно убедиться, оказывается κῶμη, т. е. «деревня» (=сельская община).

Интересно, что в последнее время все больше крепнет убеждение (благодаря новым археологическим данным, новому тщательному анализу литературной традиции, исследованию лигурийской сельской общины и т. п.), что становление Рима как полиса явилось результатом синойкизма уже не родовых, но именно соседских сельских общин⁷.

Однако мы не собираемся заниматься сложной и во многом еще не ясной проблемой генезиса полиса во всем ее объеме. Для наших целей сказанного достаточно, ибо нас интересует не столько процесс становления полиса, сколько социальная природа полиса уже «ставшего». На этом необходимо остановиться более подробно, причем, с нашей точки зрения, следует начать с определения природы полиса самими античными мыслителями и теоретиками.

Первоначально словом πόλις, вероятно, обозначалось всего лишь укрепленное место, цитадель (=oppidum). Например, акрополь в Афинах, по свидетельству Фукидида, довольно долгое время назывался полисом⁸. Но если

⁶ *Arist., Pol.*, I, 1. 6—8 (1252b).

⁷ См. *Маяк И. Л.* Проблема генезиса римского полиса.— ВДИ, 1976, № 4, с. 43—55.

⁸ *Thuc.*, II, 15.6

иметь в виду понятие πόλις в теоретических воззрениях древних, то оно всегда выступает как несравненно более сложное. Тот же Фукидид (устаами Никия) утверждает, что полис — это прежде всего люди, мужи (ἄνδρες), а вовсе «не стены города и не корабли»⁹.

Даже это краткое высказывание дает возможность заключить, что — пусть в самой общей и в самой зачаточной форме — понятие полиса как некой гражданской общности (общины) было вовсе не чуждо политическому мышлению древних. Более того — возникновение подобной общности рассматривалось как первое, главное и необходимое условие существования полиса.

Но, конечно, это было не единственное условие. Полис — не только некая общность людей, но и сумма всех тех материальных и духовных ценностей, которые эту общность создают. Так, Платон отмечал, что возникновение полиса обусловлено необходимостью удовлетворять потребность в пропитании, жилище, одежде — потребность, которую человек не в состоянии удовлетворить единолично, но лишь в сообществе с другими людьми. Однако удовлетворением этой потребности отнюдь еще не исчерпываются цель и смысл общежития людей — полис призван воплотить в масштабах более обширных, чем это доступно отдельному человеку, идею справедливости (ἡ δικαιοσύνη). «Если мы рассмотрим, как зарождается полис, — говорит Платон, — то увидим там зачатки справедливости и несправедливости»¹⁰.

Связь между учением о справедливости и проблемой «идеального государства» в знаменитом трактате Платона настолько тесна и неразрывна, что еще в древности возник продолжающийся чуть ли не до нашего времени спор о том, что же следует считать главной темой диалога: идею государства или идею справедливости¹¹. Но как бы то ни было, Платона, безусловно, гораздо больше интере-

⁹ *Thuc.*, VII, 77.7. Тем более странно у современных исследователей встречать утверждение, что отсутствие стен, «негородской стиль» жизни и некоторые другие особенности не соответствуют «нашим представлениям» о полисе. См. *Andreev J. V. Sparta als Typ einer Polis.* — «Klio», Bd. 57, 1975, H. 1, S. 77.

¹⁰ *Plato. Resp.*, 368 e — 369 a.

¹¹ См. *Жебелев С. А.* Греческая политическая литература и «Политика» Аристотеля. — В кн.: *Политика Аристотеля.* М., 1911, с. 431.

сует вопрос о том, каким же должен быть полис, чем выяснение того, *что он есть* на самом деле, т. е. каков полис в его реальном воплощении. Поэтому лишь Аристотель, уделявший, как известно, большое внимание анализу реально существовавших государственных форм, дает наиболее развернутое определение понятий: «полис» и «гражданство».

Для Аристотеля полис — прежде всего некая общность (ἡ κοινωμία). Общность всегда возникает ради блага, но та общность, которая включает в себя все другие общности, может быть названа высшей, следовательно, она возникла ради стремления к наивысшему благу. Это и есть полис, или общность политическая, гражданская (ἡ κοινωμία ἡ πολιτική)¹².

Полис автаркичен, имеет вполне самодовлеющий характер; он возникает из потребностей жизни, но, возникнув, существует уже для достижения благой жизни (εὖ ζῆν)¹³. Отсюда — утверждение о том, что государство — продукт естественного развития, и знаменитая формулировка: человек есть существо политическое (τὸ πολιτικὸν ζῷον). Попутно Аристотель высказывает замечательное соображение о главном отличии человека от других существ: лишь человек наделен даром слова (ὁ λόγος), т. е. не только способностью производить голосом определенные звуки, подавать определенные сигналы, но и способностью речи¹⁴. Благодаря этому свойству человек — и только человек! — в состоянии воспринимать такие понятия, как добро и зло, справедливость и несправедливость. А на этих именно понятиях зиждутся и семья, и полис. Как целое всегда должно предшествовать части, так полис предшествует семье и каждому отдельному человеку (индивиду). Приведенное рассуждение о сущности полиса завершается мыслью о том, что справедливость — понятие, тесно связанное с самой природой полиса, поскольку право (ἡ δίκη), будучи критерием спра-

¹² Arist., Pol., I, 1.1 (1252 a 1—7).

¹³ Ibid., I, 1.8 (1253b 28 sqq.). Ср. с определением полиса в Псевдоаристотелевой «Экономике»: «полис есть совокупность семей, территории, имущества, способная сама обеспечить себе благую жизнь» ([Arist.], Оес., I, 1.2 1343a).

¹⁴ Это тонкое наблюдение в какой-то мере предвосхищает идущее от Ф. де Соссюра и общепринятое в современной лингвистике разделение понятий: язык (langue) и речь (parole).

ведливости, лежит в основе жизни гражданской общины и регулирует эту жизнь¹⁵.

Переходя к определению смысла понятия «гражданин» (ὁ πολίτης), Аристотель снова подчеркивает, что полис — не что иное, как некое множество (совокупность) граждан (ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθος ἐστίν)¹⁶. Однако определить, что такое «гражданин», не столь просто. Например, тот, кто в демократических полисах может считаться гражданином, уже не будет им в полисах олигархических. Следует, кроме того, исключить из рассмотрения таких граждан, которые получили гражданские права по решению народного собрания (κοινητοί, δημοποίητοι).

Не связано понятие «гражданин» и с местом проживания: метеки и рабы живут совместно с гражданами, но таковыми по этой причине не становятся. Наконец, говоря о понятии «гражданин», нельзя принимать в расчет юношей, еще не достигших совершеннолетия и потому не внесенных в списки граждан, равно как и старцев, перешагнувших предельный возраст¹⁷.

Наилучшее и вместе с тем в наиболее общей форме сформулированное определение гражданина таково: гражданином считается тот, кто причастен к отправлению суда и магистратур. Но и это еще не вполне точное определение, поскольку судьи, и в особенности члены (участники) народного собрания (ὁ δικάστης καὶ ἐκκλησιαστής), если говорить строго, отнюдь не магистраты, во всяком случае, не имеют соответствующего наименования. Поэтому Аристотель вносит в формулировку некоторое уточнение: гражданами можно и следует считать тех, кто участвует в суде и народном собрании¹⁸.

Всем сказанным, однако, для Аристотеля отнюдь не исчерпывается тщательный анализ понятия «гражданин». Это понятие ставится в зависимость от формы государственного устройства. Рассмотренное выше определение соответствует преимущественно демократическому строю; если же речь идет о других формах общественного устройства, в него должны быть внесены дополнительные уточ-

¹⁵ *Arist.*, *Pol.*, I, 1,8—12 (1252b — 1253a).

¹⁶ *Ibid.*, III, 1,2 (1274b 33—34).

¹⁷ *Ibid.*, III, 1,2—4 (1275a).

¹⁸ *Ibid.*, III, 1,4—5 (1275a).

нения и поправки¹⁹. Заметим, кстати, что под «другими формами» Аристотель понимает все же лишь формы полисного устройства: народное собрание — пусть созываемое нерегулярно и имеющее более ограниченную, чем в Афинах, компетенцию — тем не менее наличествует всюду. Теоретическое рассуждение о гражданстве снова завершается подчеркиванием самодовлеющего значения полиса²⁰.

Но Аристотель не ограничивается и этими дефинициями, т. е. его не удовлетворяет только теоретическое определение смысла понятия «гражданин». Он специально отмечает, что на практике гражданином считается тот, у кого родители, т. е. отец и мать, — оба граждане. Как известно, эта практика была узаконена в Афинах (в 451 г. до н. э.) Периклом, в результате чего, видимо, большое число афинских жителей оказалось лишено гражданских прав и как будто даже продано в рабство²¹. Аристотель упоминает и о том, что иногда требования, касающиеся вопроса о «чистоте» гражданства, идут значительно дальше — вплоть до того, чтобы предки гражданина во втором, третьем и т. д. поколениях тоже были гражданами. Но к подобным притязаниям он относится скорее скептически и отрицательно, указывая на многочисленные трудности, которые неизбежно возникают при попытках реализовать эти столь далеко идущие требования²².

Таково в основном понимание природы полиса у греческих мыслителей и теоретиков. Мы не должны, однако, ограничиваться мнением представителей греческого полиса «классической» эпохи и можем привлечь некоторые более поздние высказывания. Так, если иметь в виду политические учения Рима, то с наиболее развернутым определением гражданской общины (*civitas* = *πόλις*) мы сталкиваемся, несомненно, у Цицерона. Не касаясь сейчас его учения о государстве (именно так обычно, хотя и не совсем правильно, переводят термин «*res publica*» да и самое заглавие его трактата), остановимся лишь на том, как Цицерон определяет «*civitas*». Кстати сказать, в этом его определении снова подчеркивается не только общность людей, граждан, но и перечисляются те мате-

¹⁹ Ibid., III, 1.6—8 (1275a—b).

²⁰ Ibid., III, 1.8 (1275b 20—21).

²¹ *Plut.*, Pericl., 37; cp. *Arist.*, *Ath. pol.*, 26.3; 42.1.

²² *Arist.*, *Pol.*, III, 1.9—10 (1275b 21 sqq.).

риальные и духовные ценности, которые эту общность создают.

Много есть различных степеней общности, говорит Цицерон, например, людей объединяет общность языка и происхождения; но еще более тесной формой связи следует считать принадлежность к одной и той же гражданской общине (*civitas*). Ибо здесь очень многое оказывается совместным (общим) достоянием граждан: форум, святилища, портики, улицы, законы, права, суды, голосование, кроме того, обычаи и дружеские связи, а также всякие взаимные дела и расчеты²³. Все это создает такую связь между людьми, которая наиболее близка и дорога каждому, которая и превращает граждан в единый коллектив. «Ибо дороги родители, дороги дети, родственники и близкие друзья, но все привязанности всех людей вмещает в себя одно только отечество (*patria*), за которое какой добрый гражданин усомнится подвергнуться даже смерти, если она пойдет отечеству на пользу»²⁴.

В другом месте Цицерон подчеркивает, что государство и общины (*res publicae civitatesque*) основаны главным образом с той целью, чтобы каждый оставался владельцем и собственником того, что ему принадлежит. Если общежитие людей имело в свое время причиной природное влечение, то попытки найти защиту в городах объясняются надеждой на обеспеченность собственности²⁵. К этой мысли Цицерон возвращается неоднократно²⁶. Более того, нарушение прав собственности Цицерон считает поправлением прав человеческого общежития, условия которого предусматривают — о чем говорится со ссылкой на Платона — обязанности по отношению к отечеству, к друзьям, а также старание и труды для общего блага²⁷.

Попробуем теперь выяснить характер соотношения между теми определениями полиса (= *civitas*), которые мы встречаем у Платона и Аристотеля с одной стороны и у Цицерона — с другой. Нам представляется возможным установить следующее:

а) в обоих случаях речь идет, несомненно, о гражданской общности (общине);

²³ *Cic.*, De off., I, 53.

²⁴ *Ibid.*, I, 57.

²⁵ *Ibid.*, II, 73.

²⁶ *Ibid.*, II, 78.

²⁷ *Ibid.*, I, 21—22.

б) в обоих случаях в понятие полиса в принципе включается представление о материальных и духовных ценностях, которые эту общность создают;

в) в обоих случаях возникновение полиса обусловлено не только причиной, но и целью; цель эта для всех трех авторов едина, но каждый интерпретирует ее несколько по-своему: у Платона это — $\tau\acute{\eta}\delta\iota\kappa\alpha\iota\omicron\sigma\upsilon\nu\eta$, у Аристотеля — $\epsilon\upsilon\zeta\eta$, у Цицерона же стремление к справедливости и «благой жизни» находит выражение в требовании охраны и гарантии собственности (*ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis*);

г) в обоих случаях полис — единственно возможная (и мыслимая!) форма социальной организации.

Все сказанное подводит нас к вопросу, имеющему принципиальное значение. Вопрос этот заключается в следующем: дают ли приведенные высказывания самих древних и отмеченные в них общие черты достаточное основание для утверждения об универсальном характере полиса в реальной действительности, в частности, о том, что понятие «полис» приложимо в равной мере как к эллинскому, так и к римскому обществу?

Известно, что в научной литературе уже довольно давно и вплоть до настоящего времени высказываются сомнения по поводу правомерности понятия «римский полис». Известны даже утверждения, подчеркивающие явную противоположность греческой и римской «государственности» (на уровне: эллинский полис — римская республика)²⁸. Так ли это? Вопрос, действительно, имеет для нас первостепенное значение.

Подобное противопоставление лишено, на наш взгляд, серьезных оснований — оно базируется на слишком «ограничительном» или слишком поверхностном понимании природы полиса. Отнюдь не отрицая специфических черт как греческой, так и римской «государственности», мы, тем не менее, считаем, что известные нам основные, принципиальные «структурообразующие» элементы полиса одни и те же, независимо от того, идет ли речь о Греции или Риме. Эти элементы определяют самую суть полиса, они как бы условия его существования.

²⁸ См., например, *Meier Chr. Res publica amissa*. Wiesbaden, 1966, S. 5. Ср. с другим, более развернутым противопоставлением греческого полиса и поздней Римской республики (*ibid.*, S. 151).

К таким условиям (или «гарантиям») существования относится прежде всего специфическая материальная база полиса. Под этой базой мы подразумеваем земельную собственность в той ее противоречивой, двуединой форме, которая была впервые вскрыта и объяснена Марксом и которую мы, следуя за ним, определяем как античную форму собственности²⁹. «У античных народов,— писал Маркс,— (римляне как самый классический пример, ибо у них это проявляется в самой чистой, самой выпуклой форме) имеет место форма собственности, заключающая в себе противоположность государственной земельной собственности и частной земельной собственности, так что последняя опосредствуется первой, или сама государственная земельная собственность существует в этой двойной форме»³⁰.

Существуют различные попытки определить, какие формы и виды земельной собственности могут быть подведены под категорию государственной и какие под категорию частной собственности. Но суть противоречия, подчеркиваемого Марксом, заключается не в этом, а в том, что в античном обществе обязательной и безусловной предпосылкой права собственности на землю была принадлежность к гражданской общине (т. е. к полису, *civitas*). Только полноправный гражданин мог быть в принципе полноправным земельным собственником, и уже одно это обстоятельство передавало верховное право контроля и распоряжения землей самой гражданской общине. Таков противоречивый характер античной формы собственности и таково, говоря словами Маркса, «опосредование» частной земельной собственности собственностью государственной.

Отмеченное выше своеобразие земельной собственности наиболее ярко выступало, на наш взгляд, в Спарте, где как известно, господствующий и полноправный слой населения был в принципе полностью обеспечен неотчуждаемыми земельными наделами³¹. Но и в других грече-

²⁹ Об античной форме собственности и о других «гарантиях» существования полисной организации см. более подробно: *Утченко С. Л.* Кризис и падение Римской республики. М., 1965, с. 7—16.

³⁰ *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч., т. 46, ч. I, с. 471.

³¹ Хотя для античной традиции, для всех античных теоретиков Спарта — образец или даже идеал полиса, в научной литерату-

ских полисах, в частности в Афинах, земля могла принадлежать лишь полноправным гражданам. Не менее хорошо известно, что метеки не имели права приобретать земельную собственность, и только за какие-то особые заслуги им могла быть дарована эта привилегия³².

Аналогичное положение наблюдалось в Риме. Здесь правом так называемой квинритской собственности (*dominium ex iure Quiritium*) пользовались только римские граждане; что же касается peregrinorum, то они его, конечно, не имели. Земля могла быть собственностью лишь членов гражданского коллектива. Это находило свое выражение в римских условиях еще в существовании агег publicus, а также в том, что земли включались в городские территории. Известно, что даже во времена Империи значительная часть земель принадлежала городам и сдавалась гражданам в краткосрочную или долгосрочную аренду³³. Представление о городе (полисе) как о верховном собственнике земли было чрезвычайно живучим — отсюда естественно вытекал принцип неотчуждаемости земельных участков или наделов. И хотя эта неотчуждаемость все реже и реже сохранялась на практике (кстати, почти всегда, если речь идет об отношениях собственности, надо строго различать практику и сферу теоретико-юридическую), ни один из римских государственных деятелей и реформаторов, так или иначе касавшихся аграрной проблемы (от Гракхов до Цезаря), не рискнул открыто выступить против принципа неотчуждаемости³⁴.

Это — явление не случайное. Принцип неотчуждаемости как таковой был, несомненно, одним из краеугольных камней не только материальной, но и социальной основы полиса — обеспечение каждого гражданина определенным земельным наделом (начиная с полулегендарного надела в два югера, установленного якобы Ромулом!) было по существу обеспечением «прожиточного минимума», т. е. известной экономической независимости. Подобная «уста-

ре нашего времени не раз утверждалось, что ее по тем или иным причинам нельзя считать полисом. Об этом подробнее см. *Andreev I. V. Op. cit.*, S. 73—74.

³² Xen., *De vect.*, 2, 6; [Arist.], *Оес.*, 4; ср. CIA, II, 41; 70; 176; 413.

³³ Штаерман Е. М. Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М., 1957, с. 27.

³⁴ App., *В. с.*, I, 10, ср. III, 2. У Цезаря впервые не бессрочный запрет, а ограничение двадцатью годами.

новка», на наш взгляд, свидетельствует о том, что принцип неотчуждаемости — не только основной, но и, по всей видимости, один из древнейших элементов конституирования римской гражданской общины.

Следующей и не менее важной специфической чертой или «условием» существования полиса был самый институт гражданства. Этот институт — идейно-политическая, «духовная» основа полиса. Великое историческое значение понятий «гражданин», «гражданство» заключается в том, что они впервые в истории общества не только выдвинули, но и утвердили представление об определенных правах. Обладание правами и есть то, что делает гражданина гражданином и что отличает коллектив граждан от других, более ранних форм общности.

Институт гражданства, его стабильность, его замкнутость охранялись, как правило, мерами законодательного характера. Всякий полис знал различные градации прав, население всякого полиса неукоснительно и без исключений состояло из полноправных, неполноправных и бесправных. Более того, в среде самих полноправных граждан тоже существовали внутренние градации.

Согласно исторической традиции, равенство прав как будто наиболее полно осуществлялось в общине спартиатов, которая именно поэтому и получила название «общины равных». Но, во-первых, это равенство касалось лишь привилегированной верхушки населения, во-вторых, сами греческие историки относили осуществление этого принципа равенства к временам полулегендарным. На самом же деле и внутри «общины равных» существовали определенные градации, о чем свидетельствует наличие категорий граждан с урезанными правами (гипомейоны, неодамоды)³⁵.

Нам известно, что в Афинах полноправная часть населения ощутимо распадалась на две категории: граждане по рождению и граждане, ставшие таковыми в силу постановления народного собрания (*δημοποίητοι*)³⁶. Последние получали права за заслуги перед обществом. Процедура дарования прав была достаточно сложной. Народное собрание принимало сначала предварительное

³⁵ Хел., Нел., III, 3, 6.

³⁶ Аристотель, как мы видели (см. выше, стр. 24), даже не считает их в полном смысле слова гражданами.

решение и только на втором собрании тайным голосованием, при участии не менее шести тысяч граждан, вопрос решался окончательно. Но и против этого решения можно было применить жалобу на противозаконие (γραφὴ παρανόμων)³⁷.

Уже говорилось о законе Перикла, согласно которому афиняном считался лишь тот, у кого и отец, и мать были афинянами. Этот закон снова был подтвержден в IV в.³⁸ А на рубеже IV—III вв. была введена специальная проверка (δοκιμασία) перед судом из 501 члена для всех тех, кому решением народного собрания даровались гражданские права³⁹.

Римское гражданство тоже знало внутренние градации. Здесь, как и в Афинах, существовали «родившиеся гражданами» (*cives nati*) и «сделанные гражданами» (*cives facti*). К последним должны быть отнесены как отдельные лица, так и целые общины, получившие права гражданства либо в силу постановления народного собрания, либо через посредство римских магистратов (в более позднее время — императоров). К *cives facti* следует также относить отпущенников (в том случае, если отпуск на волю был произведен в соответствии с установленными правилами)⁴⁰.

Следующей характерной и неотъемлемой чертой каждого полиса следует считать особые формы самоуправления коллектива, и прежде всего — народное собрание, составлявшее важнейший элемент полисной демократии. Без народного собрания — с той или иной широтой его компетенции, с той или иной степенью его влияния на жизнь данной общины — полисная организация вообще немислима. А это в свою очередь свидетельствует о том, что элементы демократии заложены в самой основе полисного устройства, хотя степень демократизации каждого конкретно взятого полиса, как подтверждают мно-

³⁷ CIA, II, 51; 54.

³⁸ *Athen.*, XIII, 577 с.

³⁹ CIA, II, 223; 309.

⁴⁰ Кроме того, для римского гражданства известно еще деление на граждан полного права (*cives optimo iure*) и урезанного права (*minuto iure*). Под полным правом подразумевалось обладание политической и семейно-имущественной правоспособностью. Всем этим обладали, как правило, *cives nati*, а *cives facti* всегда в отношении своей правоспособности были в той или иной степени ограничены.

гочисленные примеры, может быть совершенно различной.

С народным собранием неразрывно связана военная организация полиса. Точнее говоря, на основании достаточно известных нам примеров можно утверждать, что народное собрание и народное ополчение — во всяком случае, пока полис остается полисом — по существу одно и то же. Эмансипация армии от народа — явление более позднее, возникающее уже в эпоху кризиса и разложения полиса.

В основе связи народного собрания с ополчением всегда лежала земельная собственность, причем в зависимости от величины земельного участка (или доходов с него) дифференцировались и политические права, и военные обязательства каждого члена гражданского коллектива. Наиболее разработанная система подобных связей и вместе с тем наиболее известные, «классические» примеры: для Афин — конституция Солона, для Рима — так называемая реформа Сервия Туллия (центуриатное устройство).

Уникальным явлением, всецело вытекавшим из существования и деятельности народного собрания, явлением, не находящим себе аналога во всей истории человеческого общества, следует признать ту возникшую в полисе форму руководства общественной жизнью, которую юристы называют «прямым народоправством». Античный мир не знал представительной системы, да в условиях полиса она и не была нужна. Конечно, и «прямое народоправство» могло быть осуществлено лишь в особой, своеобразной исторической обстановке и далеко не всегда оно оказывалось таковым в практике политической жизни и борьбы, но это не умаляет значения самого принципа.

Наряду с народным собранием необходимыми элементами полисного устройства и необходимым условием его существования было наличие выборных органов: совета и магистратур. Совет, как правило, был органом самостоятельным и независимым. Во многих греческих полисах члены совета облакались пожизненными полномочиями. Так, в Массилии существовал совет из 600 пожизненных членов; избрание в критскую и спартанскую герусии, как и в афинский ареопаг, также было пожизненным. Интересно, что в Афинах, даже в период наивысшего расцвета демократии, когда новый, выборный совет

(βουλή) оттеснил ареопаг на задний план, роль этого нового совета — хотя он, несомненно, в большей степени зависел от народного собрания, чем совет несменяемый, — все же была настолько велика, что постановления народного собрания облекались, как известно, в формулу: «совет и народ решили» (ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ), причем совет стоит всегда на первом месте. Такова же знаменитая формула римских постановлений — *senatus populusque Romanus*, что представляется более закономерным, если учесть огромное значение и авторитет сената в эпоху Республики. В формуле «сенат и народ» отражен «диархический аспект» воззрений самих римлян на характер верховной власти⁴¹.

Если коснуться роли магистратов, то в большинстве греческих полисов, за некоторыми исключениями (например, эфорат в Спарте), она была, как правило, второстепенной. Это нашло свое отражение и в политической теории. Так, Аристотель, говоря о трех основных факторах (μέρη), от различного соотношения которых зависит и самое различие политических форм, выдвигает на первое место коллегиальную «законосовещательную» власть и только затем называет магистратов и судебные органы. Из его определения компетенции магистратов с полной очевидностью вытекает их «функциональное» и ограниченное значение⁴².

Что касается положения магистратов в Риме, то здесь наблюдается некоторое своеобразие. Высшие республиканские магистраты унаследовали от царей (от этрусской династии) огромную власть — империй. Ему в греческой государственности нельзя найти какой-либо аналогии. В основе империя лежало представление о единстве и неделимости власти. Если субъектом этой власти в Риме была совокупность граждан, т. е. римская гражданская община, то ее носителем считался сначала царь (гех), а затем — два высших магистрата. Наиболее полное выражение власти высшего магистрата дается формулой *auspicium imperiumque*. Это значит, что его компетенция включает в себя как *res divinae* (*auspicium* магистрата), так и *res humanae* (*ergo imperium*)⁴³.

⁴¹ *Sall.*, Ep. II, 5; *Cat.*, 10; *Jug.*, 41; ср. *Liv.*, X, 7; XXI, 41.

⁴² *Arist.*, Pol., IV, 11—13 (1297b — 1301a).

⁴³ См. *Mommsen Th. Römisches Staatsrecht*, I^o, 1887, S. 76.

Наконец, еще одно условие («гарантия») существования полиса — размеры его территории и численность населения. Полисная организация могла нормально функционировать лишь в рамках сравнительно небольшой общины. Само собой разумеется, что такие специфические элементы этой организации, как обеспечение каждого гражданина земельным участком, система «прямого народоправства» и т. п., неукоснительно требовали стабильности гражданского коллектива, т. е. ограничения численности населения, одновременно не допуская и неограниченного расширения территории.

Не случайно подавляющее большинство греческих полисов было в действительности совсем невелико как по своей территории, так и по составу населения. Например, в Фокиде на площади в 1650 кв. км умещалось 22 полиса, на Эвбее площадь в 3770 кв. км занимали шесть полисов. Территория одного из наиболее крупных полисов — Аргоса — составляла 1400 кв. км, Аттики — около 2550 кв. км⁴⁴. Площадь Рима-полиса (т. е. в эпоху ранней Республики) была невелика, недаром существовала легенда, согласно которой еще предпоследний римский царь Сервий Туллий придал Риму такие размеры, что город не нуждался в расширении несколько сотен лет.

Вопрос о размерах полиса также нашел свое отражение в политических учениях. Платон говорит о том, что хороший правитель и законодатель вовсе не должен стремиться к тому, чтобы государство достигло как можно больших размеров⁴⁵. Широко известно его предложение о разделении всей территории на 5040 земельных участков⁴⁶. Аристотель, весьма обстоятельно разбирая вопрос о населении и территории, приходит к выводу, что как то, так и другое должно, во всяком случае, быть «легко обозримо»⁴⁷.

Конечно, теоретические выкладки о размерах территории и населения, как и чисто теоретический тезис автаркии, т. е. экономически самодовлеющего полиса, никогда

⁴⁴ См. Колобова К. М. Возникновение и развитие рабовладельческих полисов Греции. Л., 1956, с. 43—44.

⁴⁵ Plato. Legg., 742d.

⁴⁶ Ibid., 737c; 745c.

⁴⁷ Arist., Pol., VII, 5.2 (1327a 1—3).

не были реальным препятствием для экстенсивного развития ни греческих полисов, ни Рима. Но, с другой стороны, полис, значительно расширивший в результате своей экспансионистской политики территорию (и количество населения) и возглавивший в той или иной форме крупную державу, либо сравнительно недолго сохранял свое положение (как это доказывает двукратный распад Афинского морского союза), либо превращался из полиса в какое-то особое государственное образование (что подтверждает пример самого Рима). Едва ли можно сомневаться в том, что исход так называемой Союзнической войны, в частности распространение римских гражданских прав на все население Италии, знаменовал собой крушение Рима-полиса (и прежде всего превращение римского народного собрания в юридическую фикцию).

Таковы «структурообразующие» элементы, или «условия существования», полиса. Естественно, возникает вопрос о том, какова же была роль рабства в формировании и развитии полиса? Здесь чрезвычайно уместно вспомнить очень верное и глубокое наблюдение Маркса относительно того, что мелкое крестьянское хозяйство и независимое ремесленное производство «образуют экономическую основу классического общества в наиболее цветущую пору его существования», т. е. тогда, когда «рабство еще не успело овладеть производством в сколько-нибудь значительной степени»⁴⁸.

Весь материал источников показывает, что максимальное распространение рабства и полное развитие рабовладельческих отношений связаны уже с кризисом полисной организации.

Подведем некоторые итоги нашему рассуждению о «структурообразующих элементах» или, быть может, правильнее сказать, об основных параметрах полиса. Этим перечисленным выше параметрам мы придаем такое значение, что хотели бы сформулировать следующий вывод: любой полис всегда характеризуется указанными параметрами (их полным набором!), отсутствие их (полное или частичное) свидетельствует о том, что мы имеем дело с каким-то иным общественным образованием; с другой же стороны, любая структура, удовлетворяющая установ-

⁴⁸ Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 346.

ленным параметрам, может и должна быть признана полисом.

Более того, мы считаем, что рассмотрение основных параметров полиса позволяет сделать еще, по крайней мере, два существенных вывода. Во-первых, оно подтверждает высказанное раньше положение об универсальном характере такого явления, как полис, в греко-римском мире. Во-вторых, все изложенное выше дает возможность понять и оценить главное — историческое значение полиса.

Итак, полис — первая в истории человечества гражданская община⁴⁹. В этом и именно в этом его специфика. Потому-то, хоть и чрезвычайно важна, своеобразна, интересна его экономическая основа (например своеобразие формы собственности, о чем тоже говорилось выше) тем непреходящим историческим наследством, которое полис завещал грядущим поколениям, следует считать не эту материальную основу, поскольку она не пережила самого полиса и отошла в прошлое вместе с ним, но то, что резко выделило его из всех предшествующих форм человеческого общежития и оказало — да и продолжает оказывать! — определенное влияние на все последующие формы. Это — особая идейно-политическая сфера полиса.

Полис завещал человечеству, по крайней мере, три великие политические идеи. Это прежде всего гражданская идея. Осознание себя членом гражданского коллектива, сознание своих прав и обязанностей, чувство гражданского долга, ответственности, причастность к жизни всей общины и ее достоянию, наконец, огромное значение мнения или признания сограждан, зависимость от него — все это нашло себе в полисе наиболее полное, наиболее яркое выражение.

Очевидно, гражданин полиса не испытывал того, что мы называем теперь отчуждением, он не стремился противопоставить себя общине в целом и не ощущал ее противостоящей себе. Он не мыслил категориями «я» и «они», его взаимоотношения с общиной укладывались в более широкое и объединительное местоимение «мы».

⁴⁹ Точнее говоря, гражданская община, превращающаяся в ходе своего развития в государство (что и приводит, кстати, к кризису полиса). Этот процесс прекрасно прослеживается как на греческом, так и на римском материале.

Конечно, все это — лишь норма, идеал. На самом деле могли быть и, вероятно, не столь уже редко бывали случаи отклонения от нормы. Реальная, повседневная действительность полиса далеко не всегда соответствовала ощущению тесной связи и сопричастности. Но об этом речь пойдет ниже, в данном случае мы имеем в виду именно ощущение, отнюдь не реальность.

Само собой разумеется, что на протяжении веков понятие «гражданин» претерпело немаловажные изменения, модифицировалось и что современные наши представления о гражданстве и связанных с ним правах, обязанностях, привилегиях существенно отличаются от того, что под этим подразумевалось в античности. Однако сейчас, повторяем, мы говорим не о конкретных явлениях, но о принципах, идеях. А если так, то есть все основания считать, что сама идея гражданства как некая политическая, — точнее, морально-политическая категория (даже как некая общечеловеческая ценность!) передана последующим поколениям именно античным полисом.

Затем — идея демократии. Под этим мы понимаем возникшее в полисе — причем впервые в истории — представление о народоправстве, о его принципиальной возможности, о причастности каждого гражданина к управлению, об участии каждого в общественной жизни и деятельности. Недаром, как уже упоминалось⁵⁰, Аристотель определял самое понятие гражданина таким именно участием. В дальнейшем представление о демократии также претерпевает определенную эволюцию. Наиболее наглядный пример — вопрос о прямом народоправстве. Само собой разумеется, что вне условий и рамок полиса, т. е. в более крупных государственных образованиях, прямое народоправство немыслимо, но ведь и в представительных системах живет и сохраняется (в той или иной степени) самый принцип народоправства. (Мы снова имеем в виду именно принцип, а не какие-либо конкретные условия или исторические явления.)

Наконец идея республиканизма. В полисе — опять-таки впервые в истории — был осуществлен принцип выборности всех органов управления. Но дело не только в выборности. Три основных элемента политической структуры гражданской общины сплелись для последующих поко-

⁵⁰ См. стр. 24.

лений в единое представление, в идею республики: выборность, коллегиальность, краткосрочность магистратур. Это и есть та идея, тот принцип, который впоследствии всегда мог быть противопоставлен — и фактически противопоставлялся — принципам единовластия, монархии, деспотизма. Речь идет не только о сравнении с деспотическими формами правления в древности, что напрашивается само собой, но и о последующей жизни (Nachleben) или рецепции названных идей в системе духовных ценностей последующих эпох.

Потому идейно-политическое наследство, о котором мы говорим, — не только достояние прошлого. Оно принадлежит к тем непреходящим ценностям, чье богатство не истощается, значение не утрачивается и не тускнеет.

Говоря о великих политических идеях, заветных полисом человечеству, мы не претендуем на то, чтобы сообщить нечто особенно новое. В общих чертах все это достаточно известно, и ни у кого, очевидно, не вызовет ни сомнения, ни удивления тот факт, что, скажем, демократия как форма правления и как идея берет свое начало, восходит своими истоками к полису. Но есть другая сторона вопроса, которая, по всей вероятности, менее известна и ясна. Это то, что мы назвали бы парадоксом полиса.

Не следует забывать, что каждая историческая эпоха интерпретирует великие идеи по-своему и вносит в них что-то от себя. Справедливость требует отметить, что понятия «гражданин», «демократия», «республика» в той интерпретации, которую придает им наша современность, есть результат определенной эволюции и даже определенной «модернизации». Таким образом, мы имеем дело с идеями и принципами, фактически уже трансформированными, «очищенными». И хоть все эти понятия рождены полисом и коренятся, как уже неоднократно отмечалось, в его природе, тем не менее в свое время (фактически и в умах древних!) демократия или, скажем, гражданство — вовсе не то, что мы разумеем ныне под этими принципами.

В этом и заключается великий исторический парадокс полиса. Для того, чтобы схватить его суть — а это необходимо — нам придется вернуться к вопросу о природе античной гражданской общины. Но теперь мы подойдем к этому вопросу как бы с другой (оборотной!) стороны

и будем на сей раз иметь дело не столько с положениями политической теории, сколько с реалиями, с конкретно-историческими данными и выводами.

Начнем с кардинальной проблемы гражданства. Все, что нам известно об этом и что частично освещалось выше⁵¹, убеждает нас в крайне замкнутом и исключительном характере гражданства полиса. Не говоря уже о том общеизвестном факте, что не только рабы, но и свободные переселенцы (метеки, периеки, peregrini и т. п.) были лишены в полисе гражданских прав, мы знаем, что внутри самой гражданской общины, во-первых, существовали определенные градации обладания правами, а во-вторых, чрезвычайно жестко — вплоть до проверок происхождения чуть ли не в третьем поколении — соблюдалась замкнутость и «чистота» гражданства. Небезынтересно отметить, что замкнутость и исключительность гражданства в принципе сохранялись даже тогда, когда гражданские права фактически распространились на огромные массы населения и на огромную территорию. Например, некоторые исследователи считают, что замкнутость гражданства не была, строго говоря, ликвидирована даже эдиктом Каракаллы, поскольку сохранялся «персональный характер» дарования гражданских прав (в виде награды, *praedium*)⁵². Таким образом, уравнивание в правах всего населения Римской империи произошло не в форме создания некоего общеимперского права, а в принципе, как и прежде, в форме выборочного включения (тем более, что и по эдикту 212 г. оставались некоторые слои свободного населения, так и не получившие прав) отдельных лиц или групп лиц (иногда — целых народностей) в римское право.

Другой особенностью и своеобразной чертой античного гражданства следует считать то обстоятельство, что ему фактически совершенно чужда была идея полного равноправия. Гражданин полиса знал и ценил свои права, но отнюдь не стремился к равенству и одинаковости прав *для всех* и даже не считал подобное равенство справедливым. Не имея в виду рабов или «варваров», сама мысль о равноправии с которыми показалась бы рядовому греку или римлянину чистым безумием, мы прекрасно знаем,

⁵¹ См. стр. 24—25, 30—31.

⁵² *Sherwin-White A. H. The Roman Citizenship. Oxford, 1939, p. 130 ff.*

что и для граждан не признавалось ни равенства происхождения, ни равенства имущества, более того — самое понятие равенства считалось как бы извращенным, если только не учитывалась и не предполагалась определенная «градация по достоинству»⁵³.

Что касается идей демократии и республиканизма, то здесь положение тоже было достаточно своеобразным. Конечно, полис как таковой — в значительной мере детище демоса (плебса); становление полиса очень часто было связано с политической борьбой широких слоев населения. Как уже говорилось выше, элементы демократии заложены в основе полисного устройства. Но вместе с тем не следует забывать, что античная демократия — понятие весьма противоречивое. Это, безусловно, демократия лишь привилегированного меньшинства, элитарная демократия. Да и понятие «демос» далеко не однозначно, не идентично для различных полисов. В Афинах, например, в состав демоса включались весьма зажиточные торгово-ремесленные круги населения. Не следует забывать и об откровенно экспансионистской политике афинского демоса (ср. историю Афинского морского союза). Столь привычной для современного мышления связи между понятиями «демократия» и «свобода» (для всего населения), «демократия» и «равенство» — в античном полисе не существовало.

Участие каждого гражданина в делах всей общины, в делах управления было, конечно, в значительной степени иллюзорным. Степень участия рядового гражданина в управлении можно сравнить, если пользоваться современными аналогиями, со степенью участия в управлении большой акционерной компанией рядового, т. е. мелкого, держателя акций.

Наконец, несколько слов об отношении античных мыслителей к проблеме демократии. Как правило, оно было мало сочувственным. Демократия в политических учениях древности рассматривалась (наряду с монархией, аристократией, тиранией, олигархией и т. п.) как одна из форм правления. Еще Платон, противопоставляя своему идеальному устройству другие, несовершенные политические формы, ставил демократию ниже олигархии, считал ее

⁵³ *Cic., De rep.*, I, 43; ср. I, 49.

как бы выродившейся олигархией⁵⁴. У Аристотеля мы находим четко разработанное разделение форм правления на «правильные» и «извращенные», в зависимости от того, насколько эти формы способны обеспечить достижение общего блага. Но и для него демократия есть не что иное, как отклонение или извращение наиболее предпочтительной формы правления — «политии». Однако справедливость требует отметить, что полития в Аристотелевом толковании не столь уже противоположна демократической форме, поскольку представляет собой как бы некую «смешанную» форму правления, в которой сочетаются элементы олигархии и элементы демократии⁵⁵.

Но о так называемой «смешанной форме» правления более подробно речь пойдет ниже⁵⁶. Сейчас же задача заключается в том, чтобы подвести итог всему, что было сказано о полисе. Здесь мы, очевидно, можем прийти к следующим выводам.

Историческое значение полиса, его уникальность как исторического явления заключается прежде всего в том, что полис — первая в истории человеческого общества форма общежития, которую мы можем определить как гражданскую общину, гражданский коллектив со всеми присущими ему своеобразными чертами и особенностями, перечисленными выше. Благодаря именно этим своим особенностям полис сумел выработать и затем передать в наследство грядущим поколениям огромное духовное богатство: идеи гражданства, демократии, республиканизма. Но они, эти идеи, дошли до нас уже в трансформированном и «очищенном» виде. Парадокс полиса состоит в том, что античный полис как таковой не знал ни полного гражданского равноправия, ни подлинной демократии. Но как бы то ни было, это отнюдь не может поколебать или приуменьшить значение огромного многостороннего вклада, внесенного в историю общественной жизни, в историю политических форм и идей, а следовательно, в историю духовного развития человечества таким своеобразным историческим феноменом, как античный полис.

⁵⁴ *Plato. Resp.*, 555b—558 c.

⁵⁵ *Artst.*, *Pol.*, III, 5.1—4 (1279a 22—1279b 15).

⁵⁶ См. гл. VII.

II

ГЛАВА

РИМСКОЕ ОБЩЕСТВО III — I ВВ. ДО Н. Э. КРИЗИС ПОЛИСА

Прежде чем перейти к политическим учениям Рима, следует обрисовать, хотя бы в самых общих чертах, ту историческую обстановку, в которой они возникли. Это тем более необходимо, что мы имеем дело с чрезвычайно важной, переломной эпохой в истории Рима, эпохой, как ее обычно называют, кризиса Римской республики.

Справедливо ли это распространенное, даже общепринятое обозначение? Хотя самая постановка подобного вопроса способна вызвать недоумение, показаться странной и надуманной, тем не менее ответ едва ли может быть однозначным. Дело в том, что рассматриваемая эпоха заслуживает, с нашей точки зрения, более сложного, вернее — более «объемного», определения. Отнюдь не собираясь отрицать кризис республики, понимая огромное значение и исторический смысл данного явления, мы, тем не менее, не считаем возможным свести только к этому кризису всю сумму многообразных фактов, событий, процессов эпохи. Речь должна идти о более масштабном явлении, на фоне которого кризис республики рассматривается лишь как один из его аспектов. Речь, следовательно, должна идти о кризисе полиса.

Что дает нам основание говорить о более «масштабном» характере кризиса полиса? Каково соотношение понятий «кризис полиса» и «кризис республики»? Под кризисом полиса мы понимаем в первую очередь упадок и разложение тех экономических, социальных, политических институтов и отношений, которые были характерны для Рима, пока он еще существовал в качестве сравнительно небольшой и — в смысле строя жизни — патриархальной общины. Таким образом, понятие кризиса полиса включает в себя характеристику процессов в области

экономики и социальных отношений, но ни в чем, пожалуй, кризис полиса не выразился так ярко и так концентрированно, как в разложении политических форм, т. е. в явлении кризиса самой Римской республики. Говоря другими словами, кризис полиса обусловил кризис политических форм Римской республики.

Но оба эти процесса неравнозначны и в том смысле, что они не совпадают хронологически. Начало процесса, который мы определяем как кризис полиса, следует, очевидно, отнести (в согласии с самими римскими авторами) к тому времени, когда Рим, одержав полную победу над Карфагеном и покорив Балканский полуостров, превратился в крупнейшую средиземноморскую державу. (Однако как полис Рим перестает существовать, с нашей точки зрения, только после Союзнической войны, ибо распространение гражданских прав на все население Италии и формальная возможность для каждого участвовать в римском народном собрании лишили Рим и его непосредственных жителей прежнего исключительного положения: теперь Рим уже не единственный город, но лишь наиболее крупный и «ведущий» центр среди других итальянских общин и городов.) Что касается кризиса Римской республики, то его развитие наблюдается позднее (по крайней мере, с эпохи Гракхов) — хронологически он даже может рассматриваться как следствие кризиса полиса.

Наконец, говоря до сих пор о кризисе полиса и о кризисе Республики мы имели в виду в обоих случаях Рим. Но здесь необходимо некоторое уточнение. Дело в том, что когда говорится о кризисе республики, то всегда подразумеваются события и процессы именно римской истории, тогда как проблема кризиса полиса — проблема всей античной истории, причем не только тех стран, которые подпадали под власть Рима или вошли в сферу его влияния, но также тех стран и народов, чье историческое развитие «предшествовало» римскому. Таким образом, нетрудно убедиться в более масштабном и «объемном» характере понятия «кризис полиса».

Однако в данном случае речь идет все же о Риме, римском обществе. Каковы те исторические условия, в которых протекал — применительно к Риму — кризис полиса, а следовательно, и кризис республики? Каковы основные причины кризиса?

Если обратиться к римским деятелям и мыслителям

(Катон, Цицерон, Саллюстий и др.), то они вполне единодушны в определении этих причин. Все они на первое место выдвигают моральный упадок, разложение нравов. Постепенно эта точка зрения приобретает характер довольно тщательно разработанной теории — основательнее всего, пожалуй, у Саллюстия — теории упадка нравов¹. Современная же историография, считая подобное объяснение слишком наивным, чуть ли не со времен Монтескье основную причину кризиса римского государства усматривает в разрыве между сохранявшимися «общинными» формами социально-политического устройства и превращением Рима в мировую державу².

И действительно, превращение незначительной сельской общины на Тибре в огромное по своей территории и по своему значению средиземноморское государство стало поворотным моментом в истории всего античного мира. В результате почти непрерывных войн, сначала на самом Апеннинском полуострове, а затем (с III в. до н. э.) и вне его пределов, римские владения возникли в прибрежной полосе всех трех континентов, омываемых Средиземным морем. Таким образом, под властью Рима оказались обширные пространства, а его политическое влияние распространилось на ряд стран, формально от Рима еще независимых. Римское государство сделалось теперь не только крупнейшим и наиболее могущественным, не только безусловным гегемоном Средиземноморья, но — по географическим представлениям того времени — поистине мировой державой.

Но если римская держава возникла в результате длительных и непрерывных войн, то невольно напрашивается вопрос: каковы же характер и движущие силы этих бесконечных войн, этой римской экспансии? Ответ требует, очевидно, анализа некоторых внутренних причин и условий развития римского общества.

Первой причиной, действие которой может быть возведено еще к тому времени, когда Рим выступал в качестве небольшой крестьянской общины и не выходил ни в своих действиях, ни в своих «помыслах» за пределы Апеннинского полуострова, была борьба за расширение

¹ См. ниже, гл. VIII.

² См., например, *Meier Chr. Res publica amissa*. Wiesbaden, 1966, S. 3.

земельных владений, того земельного фонда, из которого и производилось наделение римских граждан их земельными участками. Например, нам известно, что после завоевания и разрушения этрусского города Вейи, находившегося на правом берегу Тибра, на бывшей территории этого города, как затем и на землях соседнего племени вольсков, были учреждены четыре новые сельские трибы³. Обычай и «правила» общежития полиса предполагали, как уже говорилось выше⁴, обеспечение каждого члена гражданской общины определенным земельным наделом. По мере роста населения Рима эта задача, несомненно, становилась все более трудной, но и все более актуальной.

Само собой разумеется, что борьба за землю в скором времени осложнилась политическими претензиями. Вначале это было стремление Рима к главенствующей роли в союзе латинских городов, затем оно переросло в стремление к политическому господству над всей Италией. Не случайно войны за подчинение Италии (в особенности войны второй половины IV в.) совпадают с наивысшим накалом борьбы между патрициями и плебеями и с решающими победами плебса в этой борьбе. И хотя, по первому впечатлению, главным вопросом здесь был вопрос о политическом равноправии, на самом деле в основе всей борьбы лежали более глубокие экономические причины — доступ к земле, к фонду *ager publicus*. Политические права в условиях римской общины были всегда неразрывно связаны с возможностью такого доступа, были как бы официальным «мандатом» на него. Другими словами, борьба за политические права представляла собой оборотную сторону борьбы за землю.

После покорения Италии начинается новый этап завоевательной политики Рима. Как и любая другая великая держава древнего мира, Рим неизбежно и закономерно начинает вести захватническую, «империалистическую» политику. Рождаются глобальные — по тем временам — претензии. Пунические войны⁵, а затем проникновение на Восток и войны за передел эллинистического мира — типичные образцы такой политики.

³ *Liv.*, VI, 4—6.

⁴ См. стр. 28—29.

⁵ См. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч., т. 34, с. 364.

В зарубежной историографии иногда ставится вопрос о том, всегда ли Рим вел войны агрессивного, экспансионистского характера или иногда войны, хотя бы и начатые по инициативе римлян, имели все же превентивное значение⁶. Сама постановка подобного вопроса выглядит, на наш взгляд, довольно беспредметной. Логика развития всякой агрессии, как в том убеждает многовековой опыт и не только древней истории, требует «превентивных» мер, вынуждает к ним. Растущая, расpirяющаяся экспансия и якобы «необходимые» превентивные войны неразрывно связаны друг с другом.

Итак, после покорения Италии Римом условия существенно изменились. Но и в этих новых условиях отнюдь не прекращается борьба за землю в самой Италии. Меняются лишь ее формы. Все острее становятся противоречия между мелкими землевладельцами и крупными собственниками⁷, все более широкие масштабы приобретает процесс обезземеления, пауперизации крестьянства. Аграрное движение, начатое реформами Гракхов, постепенно перерастает в общеталийское крестьянское восстание.

Это восстание известно в истории под именем Союзнической войны, поскольку формальным поводом к восстанию было нежелание римских правящих кругов распространить права римского гражданства и связанные с ними привилегии (в частности право доступа к фонду *ager publicus*) на «союзников» (*socii*), т. е. на население Италии.

Каков был характер этого восстания? На наш взгляд, есть все основания говорить об аграрном крестьянском движении, своеобразной крестьянской войне. Начавшись в среде самого римского крестьянства, движение ширилось и росло, достигнув ко времени Союзнической войны поистине общеталийского размаха. Это был взрыв, угрожавший существованию Рима-полиса, угрожавший староримской земельной знати. Говоря иными словами, это была борьба италийского крестьянства за землю и политические права — *mutatis mutandis* та же борьба, которую вели некогда римские плебеи против патрициев,

⁶ См., например, *Badian E. Roman Imperialism in the Late Republic. Oxford, 1968.*

⁷ *Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т. 28, с. 368.*

но теперь она повторялась уже на новой, расширенной основе, в общеталийском масштабе.

Каковы были итоги этого движения? Прежде всего, италийское крестьянство получило доступ к земле (*ager publicus*) на условиях, равных с римлянами. Затем, италийское население приобрело и другие права римских граждан, в том числе право участия в комициях. И наконец, «союзников» перестают использовать, как это делалось до сих пор, только во вспомогательных войсках, но включают в состав римских легионов.

Таковы наиболее ощутимые, «видимые» успехи движения. Его более глубокие результаты заключались в том, что оно действительно подорвало римскую полисную организацию, полисные институты, нанесло сокрушительный удар Риму-полису. Уже один тот факт, что теперь все население Италии превратилось в принципе в полноправных участников римского народного собрания, делал невозможным полный его сбор и действенное функционирование. Нарушался ряд «условий существования» полисной организации — принцип замкнутости гражданского коллектива, его стабильность, его «легко обозримые» размеры. Все это неизбежно влекло за собой в самом недалеком будущем нарушение и других обязательных «условий существования».

В таком общем и наиболее глубоком смысле дело революции принципиально было завершено Союзнической войной, почему и есть все основания считать ее высшим, кульминационным пунктом движения в целом. Что касается гражданских войн I в. до н. э., которые часто — особенно в буржуазной историографии — расцениваются как революция, то, с нашей точки зрения, это лишь последствия революции: теперь борьба идет — как нередко и бывает после революционного взрыва — за то, в чьих интересах, т. е. в интересах какой группировки или фракции господствующего класса, будут использованы, «приспособлены» завоевания революции.

Чем стал, что представлял собой Рим после Союзнической войны? Если после покорения Италии, но еще до этого общеталийского движения Рим был полисом в системе полисов (правда, в системе, находящейся под его главенством и им управляемой), то теперь, после войны, ситуация меняется самым решительным образом. Фактическая победа Италии над Римом приводит, как уже

сказано, к краху Рима-полиса. Но Рим не превращается и в столицу общеталийского государства, поскольку в характере взаимоотношений между Римом и италийскими городами (муниципиями) принципиальных изменений не происходит (хотя в дальнейшем наблюдается определенная унификация муниципальной системы), и потому на Апеннинском полуострове не возникает централизованного государства, «государства Италия». Рим как бы перешагивает эту — в данном случае промежуточную — ступень и, минуя ее, непосредственно вступает в стадию формирования огромной территориальной державы, средиземноморской империи (*imperium Romanum*).

Становление империи неразрывно связано с крупнейшими социально-экономическими и политическими сдвигами в жизни римского общества. В пределах нашей темы не имеем ни необходимости, ни возможности останавливаться на этом вопросе во всем его объеме, но некоторые наиболее существенные моменты, основные «показатели» все же должны быть упомянуты.

Одной из наиболее характерных черт развития социально-экономических отношений в Римском государстве следует считать образование торгово-денежного капитала. Он возникает как в результате римских завоеваний и хлынувших в Рим огромных богатств в виде военной добычи, контрибуций, прямых и косвенных налогов, взимаемых с провинций, так и в результате развития торговли (особенно внешней). Римляне устанавливают оживленные торговые связи не только с подвластными им странами, но и с рядом крупных эллинистических государств, пока еще сохраняющих свою независимость (например с птолемеевским Египтом). В Риме появляются крупные объединения торговцев, компании откупщиков (*societates publicanorum*), которые берут на откуп различные виды общественных работ в самой Италии, сбор налогов в провинциях, занимаются кредитно-ростовщическими операциями. Операциями последнего рода занимались также аргентарии.

Интересно, что импорт товаров в Италию всегда преобладал над экспортом, следовательно, торговый баланс был, как правило, пассивным. Кроме того, нам известно, что нужды римского населения в предметах ремесленного производства удовлетворялись внутри самой страны, в то время как сельскохозяйственные продукты (как и пред-

меты роскоши) ввозились либо из западных провинций, либо из стран эллинистического Востока. Эти любопытные показатели свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что общераспространенное мнение о древней Италии как о типично аграрной стране едва ли может быть принято без существенных оговорок.

Не менее характерной особенностью социально-экономических сдвигов интересующей нас эпохи можно считать урбанизацию Италии. В этот период многие старые города, часто этрусского или греческого происхождения, переживают новый подъем, различные местечки, деревни, торговые пункты не только получают статус городов, но и на самом деле превращаются в развивающиеся и преуспевающие городские центры⁴.

Меняется, конечно, и внешний облик самого Рима. Он теряет свой прежний, «деревенский» вид, в городе появляются многоэтажные здания (*insulae*), форум из крестьянского рынка, обнесенного стойлами для скота, превращается в городскую площадь, которую теперь окружают храмы и другие общественные здания.

Но урбанизация самого Рима проявилась не только в его внешнем виде. Существенно изменились численность и состав населения. Оно неуклонно растет и приобретает все более ярко выраженный космополитический характер. Уже во второй половине II в. до н. э. Рим становится по тем временам огромным городом, население которого достигает чуть ли не полумиллиона человек. Само собой разумеется, что это уже не только коренные римляне, но и жители итальянских сел и городов, а в дальнейшем провинциалы — главным образом греки, сирийцы, иудеи.

Рост города, изменение состава его населения, более тесные международные связи и общение — все это приводит к тому, что Рим, так и не сделавшись столицей Италии, становится теперь в полном смысле слова столицей средиземноморской державы, а население города по уровню и «стилю» жизни превращается в столичных жителей в отличие от «провинциалов», причем это наименование приобретает теперь совершенно новое и близкое к современному значение.

⁴ *Rostovtzeff M. Gesellschaft und Wirtschaft im römischen Kaiserreich*, Bd. I. Leipzig, 1929, S. 19.

Вместе с тем впервые возникает имеющая отныне жизненно важное для Рима значение проблема провинций, точнее — рационального освоения провинциальных владений. Под этим подразумевается превращение провинций из чего-то явно чужеродного, из «добычи римского народа» (*praedium populi Romani*), отдававшейся в первое время на бесконтрольную эксплуатацию римским наместникам, в органично включенные в империю ее неотъемлемые составные части (*membra imperii*).

Огромное принципиальное значение для дальнейшего развития социально-экономических отношений имело рабство. III—I вв. — период интенсивного роста рабовладения в Риме как в количественном, так и в качественном отношении. Прежде всего, почти непрерывные войны в бассейне Средиземноморья давали огромный приток рабов. Но это был вовсе не единственный — а в некоторые периоды даже и не главный — источник рабства. Велика была роль работорговли (очень тесно связанной с пиратством), долгового рабства (в провинциях), естественного воспроизводства рабов.

Говоря о численном росте рабов в Римском государстве, мы, конечно, не можем оперировать какими-то общими — т. е. в масштабе всего *imperium Romanum* — цифровыми данными. Но мы можем проследить динамику роста в отношении, например, пленных, обращаемых в рабство: так, если во время I Пунической войны взятие Агригента (262 г. до н. э.) дало римлянам 25 тыс. пленных, затем проданных в рабство, то в 167 г. до н. э. при разгроме Эмилием Павлом городов Эпира было продано в рабство уже 150 тыс. человек, а при взятии Карфагена (146 г. до н. э.) все жители этого огромного города, как известно, тоже были обращены в рабов. Что касается работорговли, то, если верить Страбону, существовали такие крупные оптовые центры торговли рабами, как, например, Делос, где иногда продавалось до 10 тыс. рабов в день⁹. Но всеми этими цифрами следует все же пользоваться крайне осторожно: слишком они фрагментарны, случайны и поэтому могут быть использованы лишь для сугубо ориентировочных выводов.

Если иметь в виду качественные изменения, связанные с развитием рабовладельческих отношений, то здесь

⁹ *Strabo*, XIV, 5.2.

прежде всего следует подчеркнуть факт проникновения рабского труда в основные сферы производства. Мы опять-таки не располагаем ни абсолютными, ни относительными цифровыми данными, но широкое использование труда рабов в наиболее распространенном типе сельскохозяйственного поместья — в римской вилле — не вызывает никаких сомнений. Кстати сказать, сельское хозяйство Италии переживает во II—I вв. определенный подъем и характеризуется высокой товарностью. Вероятно, в ремесленном производстве рабский труд использовался в то время не столь широко, но все же он, несомненно, проникал и туда.

С нашей точки зрения, широкое развитие рабства, его растущая роль в общественном производстве — достаточно характерный признак и показатель кризиса полиса. Быть может, история Рима и дает наилучший пример, наиболее наглядное подтверждение этого тезиса, ибо здесь оба процесса не только совпадают во времени, но и тесно переплетаются друг с другом по существу.

И, наконец, как следствие, как результат всех упомянутых социально-экономических сдвигов происходит усложнение классовой, точнее говоря — классово-сословной структуры римского общества. Она действительно была сложна, в корне отличаясь от несравненно более знакомой нам структуры обществ с «бессословными классами». Попытаемся охарактеризовать классы и сословия римского общества лишь в самых общих чертах и лишь в том аспекте, который необходим для дальнейшего развертывания нашей темы.

Господствующий класс Рима распадался, как известно, на два сословия (*ordines*): сенаторское и всадническое. Здесь важно подчеркнуть то обстоятельство, что обычная схема, в которой фигурируют сенаторы — крупные землевладельцы и всадники — финансисты, денежная знать, ныне не может считаться соответствующей действительности. Благодаря последним исследованиям становится ясно, что оба сословия различались не столько в социально-экономическом отношении — и сенаторы, и всадники были прежде всего крупными землевладельцами, — сколько в политическом и правовом¹⁰.

¹⁰ Nicolet C. *L'ordre équestre à l'époque républicaine* (312—43 av. J. C.). Paris, 1966, p. 25—26, 177, 253—255, 318, 517, 699 sqq.

Несомненно, к господствующему классу Рима следует отнести муниципальную знать, которая приобретает особый политический вес и значение главным образом после Союзнической войны. В I в. до н. э. уже нередки случаи, когда состав римского сената пополняется представителями этой знати (а в дальнейшем даже выходцами из знати провинциальной).

Наиболее многочисленный класс в Риме — класс мелких собственников, т. е. те, кого римляне объединяли общим понятием «плебс», определенным сословием в Риме не считался. Но фактически это был особый класс-сословие, правда распадавшийся на две различные как по своему составу, так и по своим общественным интересам и положению группы: *plebs rustica* и *plebs urbana*.

В свою очередь каждая из этих социальных групп претерпевала внутреннее расслоение. Для сельского плебса внутренняя дифференциация была связана с процессом пауперизации и обезземеления, причем этот же процесс поставлял люмпен-пролетарские слои населения, которые включались в и без того уже достаточно пестрый состав городского плебса. Следует отметить, что после Союзнической войны к уже существовавшим противоречиям между *plebs rustica* и *plebs urbana*, вытекавшим из различия их интересов, добавлялись еще довольно острые (особенно вначале) противоречия между «старыми» и «новыми» гражданами, т. е. между староримлянами и италиками, только что получившими гражданские права.

Что касается класса-сословия рабов, то во II—I вв. в нем тоже наблюдается определенная внутренняя дифференциация. Иногда даже имело место некоторое расхождение между классовыми и сословными признаками. Во всяком случае, рабы, занятые в сельском хозяйстве, рабы в ремесленном производстве, рабы (и отпущенники) на пекулии, рабы, используемые как домашняя прислуга, рабы редких или «интеллигентных» профессий, наконец рабы — «служащие» государственного аппарата — все это совершенно различные социальные группы и категории, различные уровни общественного положения.

Итак, когда мы имеем дело с такими явлениями в римском обществе II—I вв., как образование торгово-денежного капитала, урбанизация Италии, развитие рабства и усложнение сословно-классовой структуры Рима, то все это вместе взятое никак не укладывается в рамки «клас-

сического» полиса, т. е. закрытой самодовлеющей системы. Следовательно, становилась неизбежной и необходимой ломка этих слишком узких рамок, коренной пересмотр самих «условий существования».

Неизбежно должны были измениться формы замлевладения и землепользования. Старый «полисный» принцип обеспечения каждого члена гражданской общины определенным земельным наделом уже, конечно, не мог теперь соблюдаться. Тем самым была поколеблена, вернее — подорвана, неразрывная некогда связь между земельной собственностью и принадлежностью к общине, к полису.

Нагляднее всего разрыв этих связей проявляется, пожалуй, в том, что возникают такие формы собственности и владения землей, которые не только игнорируют старые полисные принципы и критерии, но явно противоречат им. Таково, например, ветеранское замлевладение, которое начинает развиваться в Италии со времени Мария. Его принципиальное отличие от прежних форм наделения землей заключается в том, что теперь земельным участком как неким *praedium* награждается за свою службу в армии солдат, а вовсе не член данного гражданского коллектива. Право на получение земли, земельного надела эмансипируется от гражданского статуса. Более того, часто ветеран получает землю, на которую он не имеет никакого права, даже если он сам — полноправный гражданин, ибо наделение проводится ныне не из фонда *ager publicus* (который к I в. до н. э. в Италии был почти полностью исчерпан), а в результате экспроприации (в лучшем случае — покупки) земельных участков у прежних, т. е. «законных», владельцев. Таким образом, понятие античной собственности, безусловно, модифицируется, простирают определенные признаки ее кризиса и разложения¹¹.

Не менее закономерным следствием превращения полиса в огромную территориальную державу следует считать нарушение другого кардинального «условия существования» — замкнутости и исключительности гражданства. Хотя этот процесс, как уже говорилось, протекал в Римском государстве в довольно своеобразных формах, тем не менее факт распространения римских гражданских

¹¹ Подробнее об этом см. Утченко С. Л. Кризис и падение Римской республики. М., 1965, с. 181—186.

прав сначала на все свободное население Италии, а в конечном итоге на все население (кроме так называемых дедитициев) империи говорит сам за себя.

Однако процесс широкого экстенсивного распространения гражданских прав был внутренне противоречив и даже парадоксален. Общеимперское право так и не возникло. И это, конечно, не случайно. Дело в том, что чем шире распространялись римские права, тем больше они теряли свое внутреннее, специфическое содержание, тем в меньшей степени носители этих прав оставались *гражданами* (в старом значении этого понятия), превращаясь все в большей степени в единообразных *подданных* единой империи.

Поэтому Римская империя не была, как иногда считают, системой самостоятельных полисов¹² или системой зависимых городов — она была в значительной мере, если только так можно выразиться, системой *бывших полисов* (со всей вытекающей отсюда спецификой). Мы не будем сейчас определять специфику складывающейся в эту эпоху Римской империи, ясно лишь одно — это государственное образование едва ли уже может быть сопоставлено с таким понятием, как «гражданская община».

Большое и принципиальное значение имел тот факт, что столь характерное для классического полиса совпадение понятий «народное собрание» и «народное ополчение» больше не наблюдается. Возникает совершенно новое социальное явление — профессиональная армия, т. е. некая своеобразная корпорация, уже в немалой степени от народа отличная и отделившаяся.

Все это достаточно хорошо известно. Но хотелось бы упомянуть и о той стороне вопроса, которая обычно остается в тени. Дело в том, что превращение римского народного ополчения в профессиональную армию тесно связано с проблемой ветеранского землевладения: именно в трансформированной армии возникает и развивается новое отношение к собственности, в корне отличающееся от того, которое было обусловлено принадлежностью к узкой, замкнутой гражданской общине. Быть может, это обстоятельство в принципе имеет не меньшее значение, чем самый факт эмансипации римской армии.

¹² Кудрявцев О. В. Эллинические провинции Балканского полуострова во втором веке нашей эры. М., 1954, с. 8—9.

Во всяком случае, римская армия после так называемой реформы Мария становится одним из наиболее действенных и наиболее наглядных «показателей» кризиса республики (и кризиса полиса). Недаром, еще Моммзен высказал мысль о том, что общество с постоянной армией и общество с гражданским ополчением — эти термины применительно к античности должны были бы соответственно заменить понятия «монархия» и «республика»¹³. Если это, как обычно у Моммзена, весьма авторитарно высказанное утверждение и не исчерпывает всех различий между республикой и монархией, то, несомненно, оно акцентирует один из наиболее специфических «показателей».

Наконец, переход от полиса к территориальной державе, от республики к империи неизбежно и закономерно требовал отступления от полисной демократии. Для ее преодоления к середине I в. до н. э., как известно, сложились и уже достаточно четко оформились два пути: а) сосредоточение ряда республиканских магистратур в одних руках, что фактически вело к диктатуре, к единовластию; б) опора в борьбе за власть на вооруженную силу, на армию. Первый путь был в свое время «нащупан» (возможно, не столько сознательно или «умышленно», сколько подсказанный самой логикой развития борьбы) еще Гракхами и затем не раз использовался другими политическими деятелями Рима, вплоть до Октавиана Августа. Второй путь, как мы знаем, впервые был использован Суллой, который во главе римской армии дважды брал с боем Рим и установил диктатуру, не ограниченную — наперекор всем старореспубликанским традициям — каким-либо сроком.

Итак, в результате перечисленных обстоятельств произошла фактически почти полная замена основных полисных институтов, или — что в данном случае совпадает — основных звеньев республиканского аппарата. Народное собрание, которое до сих пор выступало в двух ипостасях — собрание граждан и воинское ополчение, — было подорвано в самой своей основе: как собрание всех, кто обладает гражданскими правами, оно уже не могло функционировать, как ополчение оно фактически к середине I в. до н. э. было вытеснено постоянной и профессиональ-

¹³ *Mommsen Th. Das Militärsystem Caesars.* — «Historische Zeitschrift», Bd. 38, 1877, S. 1.

ной армией. На смену республиканским магистратам приходит диктатор, т. е. на смену выборным и краткосрочным органам власти приходит власть неограниченная и несменяемая. Быть может, лишь римский сенат, как учреждение наименее демократическое, сохраняет именно в силу этой особенности еще на сравнительно долгий срок свой авторитет и значение.

Так в общих чертах происходил процесс разложения органов полисной демократии. Они постепенно трансформировались в органы управления, оторванные от широких слоев населения, функционировавшие без какого-либо их участия. Таким образом создавались уже некоторые предпосылки для формирования фискально-бюрократического аппарата, который и стал государственным аппаратом Римской империи.

Остановимся в заключение еще на одном вопросе — на своеобразии политической жизни и борьбы в Риме. Этот вопрос имеет для нас особое значение и должен быть рассмотрен подробнее. Речь пойдет не столько о содержании, сколько о формах борьбы, ибо, рассматривая их, легче всего вскрыть особенности, специфику политических отношений. Причем следует сразу же отметить, что данный вопрос имеет свою историю.

Со времени появления в свет «Римской истории» Моммзена в западноевропейской историографии надолго утвердилась точка зрения, согласно которой политическая борьба в Риме обуславливалась наличием противостоящих друг другу политических группировок или партий: оптиматов и популяров. Причем оптиматы рассматривались как партия правящих верхов, партия аристократическая, а популяры — как партия демократическая и оппозиционная.

Считалось, что эти политические группировки или партии сложились примерно в эпоху Гракхов, и потому всю дальнейшую политическую борьбу в Риме сводили к борьбе между названными двумя партиями, к соперничеству их вождей. Борьба между Марием и Суллой рассматривалась как борьба популяров и оптиматов, т. е. партий демократической и аристократической, Катилина выступал как вождь последнего демократического движения (или, наоборот, как промотавшийся аристократ, стремившийся к диктатуре, к захвату единоличной власти), Цезарь — как глава партии популяров и т. п. Таким образом,

невольно напрашивался вывод о существовании в Риме — во всяком случае, во II—I вв. — своеобразной «двухпартийной системы».

Конечно, подобная концепция политической жизни и борьбы в Риме, идущая, как уже сказано, главным образом от Моммзена, была навеяна политическим развитием ряда европейских стран во второй половине XIX в. Она и продержалась, не вызывая особых возражений, до первых десятилетий нашего века. Впервые ее основательно поколебали исследования М. Гельпера, посвященные римскому нобилитету¹⁴. Уже в этой своей ранней работе Гельцер по существу выступил против модернизаторских представлений о политической борьбе в Риме и попытался вскрыть ее специфику, подчеркнув значение родовых и фамильных связей, а также значение клиентелы. В более поздних работах М. Гельцер продолжал отстаивать эти позиции и решительно полемизировал со сторонниками концепции «двухпартийной системы»¹⁵. Справедливость требует отметить, что в современной западной историографии взгляды, близкие к концепции Моммзена (например Эд. Мейера и т. п.), открыто и недвусмысленно трактуются как модернизаторские¹⁶.

К сожалению, представление о «двухпартийной системе» в Риме было в свое время некритически перенесено в советскую историографию. Даже автор специальной работы о римских партиях Н. А. Машкин, предостерегая, с одной стороны, от модернизаторского подхода, с другой — сам определял оптиматов как аристократическую партию¹⁷.

«Демодернизаторская» линия, намеченная Гельцером в его исследованиях, получила крайнее выражение в развитии просопографического направления. Изучение положения и истории отдельных знатных римских фамилий привело к тому, что политическая борьба в Риме стала полностью сводиться к борьбе за власть между этими от-

¹⁴ *Gelzer M. Die Nobilität der römischen Republik. Leipzig, Berlin, 1912, passim.*

¹⁵ См., например, *Gelzer M. Cicero. Wiesbaden, 1969, S. 13, 15, 22, 45, 63.*

¹⁶ *Bengtson H. Kleine Schriften zur alte Geschichte. Caesar. Sein Leben und seine Herrschaft. München, 1974, S. 424—425.*

¹⁷ *Машкин Н. А. Римские политические партии в конце II и в начале I вв. до н. э. — ВДИ, 1947, № 3, с. 126—139.*

дельными семьями. И действительно, в конце III и во II в. до н. э. высшая республиканская должность — должность консула — была фактически доступна лишь представителям самого узкого круга знатных семей. Так, известно, что один лишь род Корнелиев дал в это время Риму 23 консула, род Эмилиев — 11, Фульвийев — 10. Недаром некоторые исследователи говорят о «веке Эмилиев», «веке Метеллов» и т. п.¹⁸

Подобного рода наблюдения, конечно, чрезвычайно интересны, важны, но если они подменяют собой общую картину социально-политической борьбы в Риме, то это ведет к недопустимым искажениям. Абсолютизация просопографического анализа всегда имеет своим следствием раздробленность общей картины, ее мозаичность, а это в свою очередь очень часто препятствует цельности восприятия, ведет к опасности за отдельными деревьями не увидеть леса, за отдельными людьми или семьями не увидеть общества.

Но увлечение просопографическими исследованиями для нашего времени как будто уже пройденный этап. Для характеристики современных представлений о политической жизни Рима, распространенных в зарубежной историографии, пожалуй, наиболее типична книга Хр. Мейера, специально посвященная детальному анализу политического устройства или, как выражается сам автор: «политической грамматики» эпохи Поздней республики¹⁹.

Автор этой книги не признает существования в Риме политических партий, представляющих интересы аристократии или демократии. Это для современного исследователя не неожиданно; своеобразнее то обстоятельство, что Хр. Мейер выступает и против, как он сам подчеркивает, «общепринятого мнения, согласно которому политика в Риме велась знатными родами и их группировками»²⁰. С этими взглядами он полемизирует самым решительным образом, стремясь притом доказать, что вообще никаких котерий, никаких *factiones* правящих кругов не существо-

¹⁸ Syme R. *Roman Revolution*. Oxford, 1939, p. 11—12; Scullard H. H. *Roman Politics 250—150 B. C.* Oxford, 1951, p. 30; Rostovtzeff M. *Rome*. New York, 1970, p. 84.

¹⁹ Meier Chr. *Res publica amissa. Eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten Römischen Republik*. Wiesbaden, 1966, *passim*.

²⁰ Ibid., S. 174.

вало, что они были, как правило, и не нужны. Если в источнике, например, говорится о *factio*, то это, по Хр. Мейеру, лишь исключение, и если Саллюстий упоминает о *factiones* в сенате, то доверять его сведениям не следует²¹. Хр. Мейер прямо заявляет, что мнение о большой роли *factiones*, защищаемое такими авторитетами, как Сайм, Скаллард, Тейлор и Беджан, мало применимо к Поздней республике. Кроме того, подобное мнение якобы никак не подтверждается источниками. Ошибка названных исследователей заключается, на взгляд Хр. Мейера, не только в неправильном понимании характера политических группировок, но и в непонимании общей политической структуры Рима в целом²².

Таким образом, Хр. Мейер как будто претендует на то, чтобы занять особую и оригинальную позицию. В чем же, с его точки зрения, суть и в чем особенности политической жизни и борьбы в Риме?

В труде Хр. Мейера провозглашается безусловный приоритет в политической жизни римского общества того, что называется *necessitudines*, т. е. «обязательственных связей» («*Verpflichtungsverhältnisse*»). Причем, по мнению автора, эти именно связи — т. е. связи родственные, дружеские, клиентские, интересы своей трибы, региона и т. п. — не только были характерным, специфическим явлением политической жизни Рима, но полностью ее определяли и обуславливали.

Вот почему на выборах в Риме, утверждает Хр. Мейер, не существовало политических программ кандидатов, не было речи об общеполитических целях и лозунгах, обычай предвыборных выступлений также был неизвестен. Кандидаты на выборах выступали, как правило, «в одиночку»; что касается выборных объединений кандидатов, то они засвидетельствованы лишь после 70 г., но и тогда они большой роли не играли, тем более, что выборы все же были всегда чрезвычайным событием и отличались от обычной, повседневной политики²³.

Наряду с абсолютизацией обязательственных связей или отношений для позиции автора весьма характерно и другое проводимое через всю работу утверждение о том,

²¹ Ibid., S. 180—182.

²² Ibid., S. 182, 187.

²³ Ibid., S. 10—12, 178—180.

что политическая жизнь в Риме протекала как бы в двух независимых друг от друга плоскостях. Повседневная «текущая» политика вращалась в основном в плоскости частных интересов и связей и не касалась более крупных проблем, интересов государства в целом. Положение и нужды последнего составляли уже предмет «высокой» политики, в которой широкие массы населения никакого участия не принимали и не были в ней по существу даже заинтересованы. «Высокая» политика была привилегией, вернее — прерогативой, правящих кругов и только ими и осуществлялась²⁴.

Таковы основные выводы автора книги о «политической грамматике» позднереспубликанской эпохи. Однако едва ли их можно считать приемлемыми (за исключением некоторых частных). Оба принципиально важных для автора положения: абсолютное значение «обязательственных связей» и две фактически не пересекающиеся плоскости политической жизни — «повседневная» и «высокая» политика — эти оба положения при последовательном их применении приводят по существу к почти полному выхолащиванию политического содержания из политических отношений!

И действительно, если признать, что в римских комциях все определялось лишь этими «обязательственными связями», что не существовало ни политических программ, ни политических объединений и что, наконец, широкие слои населения не принимали участия и даже не проявляли ни малейшего интереса к «высокой» политике, то становится непонятным, в чем же тогда проявлялась политическая жизнь, политическая деятельность общества?

Дело, конечно, не только и не столько в книге Хр. Мейера как таковой, но в определенной распространенности тех взглядов, которые эта книга отражает. А раз так, то очевидно, что картина политической жизни Рима, создаваемая новейшей западной историографией, нуждается в довольно серьезных коррективах.

Само собой разумеется, что политических партий в современном значении этого понятия в Риме не существовало, да и не могло существовать. Тем более неправомерным следует считать отождествление с подобными партиями оптиматов и популяров. Но вместе с тем ска-

²⁴ Meier Chr. Op. cit., S. 9—13, ср. S. 162.

занное вовсе не означает, что исключается существование каких-то других форм политической борьбы или политических объединений другого типа.

Закономерно ли вообще деление политики на «повседневную» и «высокую», т. е. такую, в которой широкие слои населения якобы попросту не принимают участия? Кто и где может провести подобную грань? Не будет ли подобное разделение всегда в какой-то мере произвольным, лишенным твердых критериев? Разумеется, речь может идти — да и то далеко не безоговорочно — о делении на политику внутреннюю и внешнюю, тем более что внешняя политика и дипломатия по традиции входили в сферу компетенции сената, следовательно, подобные проблемы обсуждались и решались в сравнительно узком кругу. Но даже если так, то насколько допустимо все проблемы и все аспекты внутренней политики трактовать как «повседневность»?

К чему, например, следует отнести борьбу за решение кардинальной проблемы в жизни римского общества, т. е. аграрного вопроса, — к сфере «повседневной» или «высокой» политики? Эта борьба, кстати сказать, никогда в Риме не остававшаяся только экономической, разветвлялась, конечно, и на том, и на другом уровне — повседневные дела и заботы спонтанно, стихийно перерастали в события высокой политики. А так называемая хлебная проблема? Примеров в обоих случаях более чем достаточно — начиная от хлебных раздач и кончая широкими массовыми движениями. Еще во времена Гракхов, как рассказывает об этом Плутарх, широкие слои не только римского, но и италийского населения проявили такую активность при проведении в жизнь законопроектов Гая, от которого они ожидали продолжения политики брата, что сенат и консулы прибегли к принудительному выселению из города ²⁵.

Другой острейшей проблемой внутренней политики был союзнический вопрос. Борьба, развернувшаяся вокруг него, принимала самые различные формы и направления — это и голосование в комициях, и политические интриги, вплоть до убийств, и, наконец, вооруженное восстание италиков, известное под названием Союзнической войны. Возможно ли в данном случае тоже говорить о ка-

²⁵ *Plut., Gai., 24 (3); 33 (12).*

ком-то одном из двух уровней, т. е. лишь о «повседневной» или лишь о «высокой» политике?

На наш взгляд, эти приведенные примеры, как и многие другие, свидетельствуют о полной неприемлемости «распределения» политической борьбы по названным уровням, а что касается участия широких масс населения в этой борьбе, то оно зависело вовсе не от того, о каких вопросах шла речь — «повседневных» или более «высоких», — но от того, насколько эти вопросы были действительно близки самим массам и затрагивали их интересы.

Не менее спорен вопрос о политических объединениях типа котерий (*factiones*). Отрицать ли их значение и даже самое существование? Почему, например, нельзя верить Саллюстию, когда он, имея в виду современную ему обстановку, в которой он, кстати, неплохо ориентировался, говорит о существовании *factiones* в сенате²⁶, почему не принимать во внимание неоднократные упоминания Цицерона о «партии Помпея» (*pars Pompeiana*), «партии Клодия» (*pars Clodiana*) и т. п. Не следует, быть может, переоценивать организационную оформленность и стабильность подобных союзов или объединений, но было бы абсолютно неправильно вообще игнорировать их существование и их политическое значение.

Требует определенного уточнения и вопрос о политических программах, а также о формах предвыборной борьбы. Безусловно, трудно ожидать, чтобы в Риме разрабатывались политические или партийные программы, в которых, как принято в новое время, намечались бы конечные цели борьбы, достижение которых относится к отдаленному будущему, но программы, предусматривавшие какие-то конкретные мероприятия политического характера, были совсем не редкостью. Нам хорошо известно, что Катон во время своей цензуры осуществлял широко задуманную и разработанную им программу борьбы против растлевающих Рим чужеземных влияний, или, как он сам их именовал, «гнусных новшеств» (*nova flagitia*). Эта программа включала в себя и «теоретическую» часть (определение и перечень наиболее опасных пороков), и часть сугубо практическую (борьба с политическими противниками, например со Сципионами)²⁷.

²⁶ *Sall., Cat.*, 54; *Jug.*, 41.

²⁷ *Plut., Cato maior*, 3; 16—19; см. также ниже, с. 76 сл.

Известны и другие, не менее убедительные примеры. Цицерон и Саллюстий, подробно рассказывая о заговоре Катилины, сообщают такие сведения, которые позволяют судить о программе заговорщиков, тоже включавшей как принципиальные положения и лозунги (например пересмотр долговой проблемы), так и практические мероприятия для осуществления заговора (физическое уничтожение главных противников, поджоги в городе и т. д.). Наконец, для интересующего нас времени — для эпохи Поздней республики — известны случаи разработки более обширных и более «отвлеченных» программ. Таковы, например, проекты реформ Саллюстия или программа «нравственной регенерации» общества, намеченная Цицероном в его речи за Марцелла. Но к вопросу о характере и значении этих программ мы еще вернемся²⁸.

Что касается выборов и предвыборной борьбы, то помимо таких неблагоприятных приемов, как подкуп и торговля голосами, имели место и другие. Во-первых, нет оснований начисто отрицать обычай предвыборных речей. Нам известно, что такого рода речь, речь кандидата в консулы (*oratio in toga candida*), произнес в свое время Цицерон²⁹. Едва ли следует считать его единственным политическим деятелем Рима, который сумел использовать подобную возможность. Но дело не только в предвыборных речах. Известны несравненно более эффективные меры и способы предвыборной борьбы. Так, возникали и были довольно обычным явлением временные и, как правило, тайные предвыборные соглашения, союзы, которые в отдельных случаях могли играть решающую роль. Чем иным, как не подобного рода тайным соглашением был сначала так называемый первый триумвират, который сами римляне, кстати, именовали более определенно и точно «союзом силы»³⁰.

Таким образом, политическая жизнь римского общества II—I вв. выглядела несколько иначе, чем ее изображают Хр. Мейер и некоторые другие историки. Нельзя, увлекаясь анализом, «проникновением в глубь» специфики этой жизни и борьбы, выхолащивать самое содержание понятия.

²⁸ См. ниже, гл. VIII.

²⁹ *Ascon.*, In or. in tog. cand., 83; 86. См. также *Gelzer M. Cicero*, S. 67—68.

³⁰ *Vell. Pat.*, II, 44.

Но специфика, безусловно, существовала. Было бы непростительной ошибкой отрицать значение «обязательственных», т. е. родственных, клиентских, дружественных, связей. Они не могли, конечно, ни подменить, ни вытеснить интересы сословные, классовые, но вместе с тем они играли важную роль в политической борьбе, придавая ей особую, своеобразную окраску. Это своеобразие нельзя не учитывать.

Не следует также игнорировать существование и немалое значение различного рода политических союзов, объединений, котерий (*factiones*). Они возникали по разным поводам — иногда это были предвыборные соглашения, иногда сенатские группировки, создаваемые *ad hoc* по той или иной злободневной политической причине, а иногда это было более или менее постоянное окружение крупных политических фигур, их свита или их, так сказать, «персональная партия», о чем, как упоминалось выше, нам сообщает Цицерон (*pars Pompeiana*, *pars Clodiana* и т. п.). Большинство таких союзов носило, разумеется, временный и сугубо «утилитарный» характер, поэтому они действительно часто распадались и вновь возникали, хотя в ряде случаев была не исключена некая стабильность состава, определяемая опять-таки наличием «обязательственных» связей.

В заключение хотелось бы остановиться на наиболее общей, а быть может, и ближе всего определяющей специфике черте римской политической жизни, а именно на том, что следует, пожалуй, назвать «невыведенностью» политики из жизни вообще. Для Рима характерен был не отрыв политики (в частности высокой!) от других условий существования, но, напротив, взаимопроникновение жизни и политики. Нечто подобное вынужден признать и Хр. Мейер, когда он говорит о неотделимости частных интересов от «повседневной политики»³¹. С нашей же точки зрения, для римских условий как раз наиболее характерно то положение, что политика (и «высокая», и «повседневная»!), политическая жизнь не были специально выделенной областью, «профессиональной сферой». Это, конечно, пережиток полисных отношений, при господстве которых каждый полноправный гражданин сохранял ощущение или иллюзию (в данном случае это без-

³¹ *Meier Chr. Op. cit.*, S. 13.

различно!) своего участия (соучастия!) в управлении делами и жизнью всей общины.

Вот почему для римского гражданина политическая, государственная деятельность была не только почетной, желательной, искомой, но и единственно возможной формой самовыявления, самодеятельности. Если же так, то отсюда вытекает более синкретический характер всех связей и отношений.

Подобному взаимопроникновению «жизни» и «политики» содействовала, на наш взгляд, и та общая оро-акустическая ориентация античной культуры, о которой подробно говорилось выше³². Словесные баталии на форуме или даже в сенате, посредством которых решались важнейшие вопросы государственной жизни, в принципе почти ничем не отличались от обсуждения тех или иных животрепещущих вопросов в частном кругу любого уровня. Общественная жизнь казалась естественным продолжением жизни и деятельности частной. Во всяком случае, приемы, методы и средства коммуникации в обеих сферах — даже если их искусственно разделять — были вполне однородными.

Так, у римлян не существовало специальной политической терминологии, да в ней, пожалуй, и не было нужды. Дело в том, что для римского общественного сознания, качества политического деятеля, «политика», всегда сливались с общечеловеческими («моральными») и определялись через них. Таким образом, возникает уже связь (или опять-таки «невыделенность») морали и политики. Все моральные категории и понятия — «политизированы», а любая политическая акция, наоборот, требует моральной апробации всего коллектива, без чего она не может заслужить ни общественного признания, ни одобрения. Таково, например, содержание римского понятия *honos*, которое обычно передают словом «честь», хотя на самом деле *honos* — понятие гораздо более широкое и адекватный перевод должен был бы звучать так: «всеобщее публичное признание сограждан»³³.

Со всем этим связана еще одна частная, но весьма своеобразная черта римского политического мышления. Политический облик того или иного деятеля в принципе

³² См. Введение.

³³ Klose F. Altrömische Wertbegriffe (*honos* und *dignitas*). — «Neue Jahrbücher für Antike und Deutsche Bildung», 1938, Hft. 6, S. 268 ff.

неотделим от его общечеловеческих качеств. Антиномия: хороший (т. е. выдающийся) политик, но плохой человек — для римлянина, строго говоря, неприемлема. Вот почему всякий римлянин, выступающий против политического противника, никогда не гнушается «личными» нападениями, не гнушается чернить его как человека, беззастенчиво — с нашей современной точки зрения — вторгаясь в интимную жизнь, не разграничивая «частных» и «политических» обвинений. Вот почему Катилина, Клодий, Цезарь для их врагов не только потрясатели устоев, злоумышленники против *res publica*, но еще обязательно и развратники, кровосмесители, люди без стыда и совести.

Таковы некоторые особенности политической жизни и борьбы в римском обществе II—I вв. Наиболее своеобразной чертой, вероятно, следует считать то, что было нами названо «невыделенностью» политики из жизни. Но суть дела не только в специфике; не менее важен в историческом плане тот факт, что эта «невыделенность» может рассматриваться как некий пережиток полисных отношений, как реликт «соучастия» каждого гражданина в жизни общины в целом.

Поэтому, когда мы имеем в виду римское общество эпохи Поздней республики, то речь должна идти не о «низком уровне» или примитивности политических отношений, не об отсутствии той или иной политической организации, но об особой, своеобразной и достаточно сложной модели этого общества. Рим I в. до н. э. — уже, конечно, не полис, тем более классический, но вместе с тем в нем еще не полностью нарушена связь, не оборвана некая пуповина, тянущаяся к древнему, полумифическому, но все же якобы существовавшему единству, т. е. к единой общине, к единым предкам, к кровному родству.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС
II—I вв. ДО Н. Э.

Одним из важнейших факторов, без должного учета и понимания которого нельзя полностью вскрыть всю специфику общественной жизни Рима, был идеологический кризис II—I вв. В чем суть этого кризиса?

Если иметь в виду именно его суть, т.е. его внутреннее содержание, то речь прежде всего должна идти о кризисе полисной идеологии и морали, о кризисе староримской системы ценностей. Если же обращать внимание, как это чаще всего и делается, на внешнюю сторону процесса, то следует говорить о проникновении в Рим эллинистических влияний, быть может даже об «эллинизации» Рима.

Как правило, именно эта сторона дела служит предметом рассмотрения в современной историографии, причем оценки и выводы, вытекающие из такого рассмотрения, довольно единодушны. Обычно утверждается безусловное превосходство эллинской культуры в широком смысле слова над культурой римской, последняя же признается несамостоятельной и эклектичной, как бы бледным, а иногда просто искаженным отражением непревзойденных, «классических» образцов. «Римской цивилизации не было бы без греческой культуры»¹, или «римские истолкователи оригинальных греческих мыслителей столь же мало сохранили первоначальный смысл истинно древних мыслей и принципов, как и бледные римские копии греческих пластических оригиналов»² — с подобными выска-

¹ Kroll W. Die Kultur der ciceronischen Zeit, Bd. I. Leipzig, 1933, S. 117.

² Hanschke P. Der Einbruch des Orientalischen in das klassische römische Schrifttum. — «Neue Jahrbücher für Antike und Deutsche Bildung», 1938, Hft. 2—3, S. 119.

званиями приходится сталкиваться вплоть до последнего времени. Кроме того, процесс проникновения эллинистических влияний в Рим изображается обычно как мирное, «бескровное» завоевание римской культурной среды более высокой и более плодотворной греческой культурой, завоевание, не встретившее видимого сопротивления в широких слоях римского общества.

Существование подобных взглядов и представлений вполне объяснимо. Дело в том, что они впервые возникли еще в самом Риме. Приходится вспомнить знаменитые строки Горация, гипноз которых, очевидно, и ныне оказывает свое действие:

«Греция, взятая в плен, победителей диких пленила,
В Лаций суровый внесла искусства...»³

По существу говоря, в этой формуле уже заключено все то, о чем говорилось выше: и «дикость» римлян, и культуртрегерская роль эллинизма, и даже «мирная» победа «плененной» Греции над своим «суровым» победителем Римом. Но так ли все это на самом деле? Таков ли был истинный ход процесса? И может ли вообще идти речь о какой-то «победе» или «завоевании»?

Чтобы дать более или менее удовлетворительный ответ на эти вопросы, следует прежде всего выяснить и представить себе — хотя бы в самых общих чертах — ту идейную атмосферу которая царила в римском обществе времен ранней республики. Речь идет, следовательно, об определении некоторых идейных ценностей некоторых рудиментов полисной идеологии и морали.

Само собой разумеется, что точное и исчерпывающее определение идейных ценностей столь отдаленной эпохи едва ли возможно, тем более что Рим, как и всякий полис, представлял собой в известном смысле общество закрытое. Идейная среда, окружавшая римлянина в семье, роде, общине, несомненно противодействовала всяким внешним, в особенности чужеземным, влияниям. Столь характерное для римлян преклонение перед традицией, выражаемое обычно в форме безоговорочного признания и восхваления «нравов предков» (*mos maiorum*), определяло весьма устойчивые особенности ранней римской идеологии: консерватизм и враждебность ко всяким новшест-

³ *Hor., Ep., II, 1.156—157* (пер. Н. Гинцбурга).

вам. Следует, однако, сразу же оговориться: рассуждая о моральных критериях и идейных ценностях римского общества, мы пока имеем в виду — таков характер наших источников — лишь привилегированные слои общества, его аристократическую верхушку.

Моральные категории римской древности, как справедливо отмечалось некоторыми исследователями⁴, отнюдь не исчерпывались четырьмя основными добродетелями, господствовавшими в греческой «классической» философии, т. е. *справедливостью, мудростью, мужеством и умеренностью*. Напротив, римляне от каждого требовали бесконечного числа добродетелей (*virtutes*), причем человек и гражданин оценивался не по его отдельным качествам или достоинствам, но только по их совокупности: сумма всех требуемых качеств и есть римская доблесть, добродетель (*virtus*) в широком смысле слова — всеобъемлющее выражение достойного поведения каждого римлянина в рамках гражданской общины.

Не менее справедливо указание, когда речь идет о римских добродетелях, на параллель с ранней религиозной системой римлян, с ее бесконечным количеством богов⁵. Подобное наблюдение нетрудно конкретизировать. Вспомним лишь о том, что помимо бесчисленных божеств, ревниво и скрупулезно блюдущих жизнь человека и все его развитие с самого момента зачатия, в римском пантеоне существовали и такие более «абстрактные» боги, которые олицетворяли собой отдельные моральные нормы и категории, как, например, Согласие (*Concordia*), Верность (*Fides*), Дobleсть (*Virtus*), Честь (*Honos*), Кротость (*Clementia*) и т. п. В этих же понятиях и этих же терминах, как нам хорошо известно, воплощались основные критерии системы ценностей, выработанной и контролируемой самой гражданской общиной. Однако в подобном совпадении нет ничего неожиданного, ибо римская религия (культ) была как бы «государственным установлением», и сами римляне это вполне отчетливо сознавали⁶.

Исчерпывающий перечень древнеримских добродетелей едва ли возможен, да и вряд ли имеет какую-либо

⁴ Knoche U. Der Beginn des römischen Sittenverfalls.— «Neue Jahrbücher für Antike und Deutsche Bildung», 1938, Hft. 2—3, S. 105.

⁵ Ibidem.

⁶ См. Augustin., De civ. dei, VI, 4.

практическую целесообразность. Важнее другое — иерархия достоинств. О ней у нас есть довольно определенное представление: создатель литературного жанра сатиры, друг Сципиона Младшего — Гай Луцилий дает в своих стихах краткую, но вместе с тем точную схему этой иерархии. На первое место он ставит качества и деяния, направленные на благо отчизны, затем — на благо родных и только на последнее место — заботу о собственном благе⁷. Интересно отметить, что схема остается в принципе без изменений и во времена Цицерона⁸.

И действительно, высшая ценность, какую знает римлянин, — это его отечество (*patria*), его родной город. Рим — вечная и бессмертная величина, которая, безусловно, переживает каждую отдельную личность, а потому интересы такой отдельной личности всегда должны отступать на второй план по сравнению с интересами общины в целом. С другой стороны, только община может считаться высшей (и единственной!) инстанцией, способной проверить и засвидетельствовать достоинства того или иного своего сочлена, только она может даровать ему славу, честь, отличие. Потому-то доблесть (*virtus*) и не может существовать в отрыве от общественной жизни и деятельности, быть независимой от приговора сограждан. «Именно то украшает человека, — говорит опять-таки Цицерон, — что считается почестями: присужденные за доблесть награды, подвиги, одобренные суждением людей»⁹.

Все эти характерные моменты довольно четко прослеживаются на древнейшем римском эпиграфическом материале дошедших до нас надгробных надписей Сципионов.

В тех эпитафиях, которые относятся к членам рода, умершим в зрелом возрасте, обязательно перечисляются занимавшиеся ими почетные должности, а также деяния, совершенные на благо государства. Не менее ярко проступает в этих надписях и другая характерная черта: апробация достоинств отдельного члена общины совокупным мнением сограждан. Так, в надписи Луция Корнелия Сципиона, консула 259 г., говорится: «Большая часть

⁷ *Lucil.*, Fr., 1337, sqq.

⁸ См. *Cic.*, *De off.*, I, 57—58.

⁹ *Cic.*, *De orat.*, II, 347.

(граждан. — С. У.) согласна в том, что это был лучший муж из хороших»¹⁰.

Кстати, надгробные надписи Сципионов относятся ко времени, когда эллинистические влияния начинают во все возрастающем объеме проникать в определенные слои римского общества. В III в., особенно во второй его половине, в этих слоях распространяется греческий язык; знание его становится как бы признаком хорошего тона. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры. Еще в начале III в. до н. э. Квинт Огульний, глава посольства в Эпидавр, овладевает греческим языком. Ранние римские анналисты (конец III в.) Фабий Пиктор и Цинций Алимент пишут свои исторические труды — кстати сказать, пронизанные духом римского патриотизма — по-гречески. Во II в. до н. э. Луций Эмилий Павел из всей македонской добычи отобрал себе только библиотеку царя Персея. Он же стремился дать своим детям греческое образование. Сципион Эмилиан и, видимо, все члены его кружка бегло говорили по-гречески. Публий Красс (консул 131 г.) пытался даже изучать греческие диалекты. Полибий, писавший, конечно, на родном языке, т. е. по-гречески, вместе с тем весьма рассчитывал и на римских читателей своего труда. В I в. до н. э. все сенаторы владели греческим языком, во всяком случае, понимали его. Так, известно, что когда Молон, глава родосского посольства, держал в сенате речь, то слушавшим его сенаторам не требовался переводчик. Цицерон вполне свободно владел греческим, не менее хорошо знали его Помпей, Цезарь, Марк Антоний, Октавиан Август. Подавляющее большинство римских аристократов, бывая на Востоке, без всяких затруднений объяснялись по-гречески¹¹.

Вместе с языком в Рим проникает и эллинистическая образованность. Великих греческих писателей знали прекрасно. Первым произведением эпической поэзии на латинском языке считают перевод (сатурническим стихом) «Одиссеи», сделанный Ливием Андроником. Хотя перевод, видимо, был далек от совершенства, тем не менее долгие годы в римских школах учили «Одиссею» именно по этому переводу. Крупнейший римский комедиограф Плавт от-

¹⁰ *Remains of Old Latin Newly Edited and Translated* (E. H. Warington), IV. London, 1940, N 3—4 (=CIL, I, 2, 9).

¹¹ Более подробно об этом см. *Kroll W. Op. cit.*, Bd. I, S. 117—134.

крыто заимствовал сюжеты своих произведений из так называемой «новоаттической» бытовой комедии. Известно, что Сципион Эмилиан реагировал на известие о смерти Тиберия Гракха, процитировав Гомера. Последней фразой Помпея, обращенной за несколько минут до его трагической гибели к жене и сыну, была цитата из Софокла. Среди молодых римлян из богатых семей все больше распространяется обычай образовательных путешествий (Афины, Родос). Речь в данном случае идет уже не только об изучении языка, но, так сказать, о «высшем образовании», и в первую очередь — об изучении философии. С другой стороны, в самом Риме растет число греческих риторов и философов, да и среди римлян появляются люди, серьезно интересующиеся философией, примыкающие к той или иной философской школе. Таковы, например, Лукреций, последователь эпикуреизма, Катон Утический, пытавшийся не только в теории, но и на практике следовать заветам стоической школы, Нигидий Фигул, представитель только нарождавшегося в те времена неопифагорейства и т. п.¹²

Здесь нет необходимости касаться всех многочисленных фактов и сторон культурной жизни Рима, всех ее аспектов. Нас интересуют в первую очередь те явления, в которых наиболее ярко отразился переломный, кризисный характер эпохи. К ним, несомненно, может быть отнесено так называемое «филэллинство». Было бы ошибкой рассматривать его только как некую «моду» — на наш взгляд, есть все основания говорить о филэллинстве как об определенном идейно-политическом течении. В литературе даже предлагалось считать филэллинов особой политической группировкой, «партией», но это — явное преувеличение.

Для филэллинов характерно не просто преклонение перед греческой культурой и образованностью, но и довольно открыто выражаемое стремление отойти от древнеримской полисной морали, отвергнуть ее традиционные нормы и критерии. Так, знаменитый Тит Квинкий Фламинин, провозгласивший на Истмийских играх 196 г. свободу и независимость Греции, был, пожалуй, первым среди выдающихся римских деятелей, кто стремился добиться определенной репутации не только у своих соотечественников, но и у эллинов. Он с явным удовлетворением принимает греческие почетные звания и должности, направ-

¹² Kroll W. Op. cit., Bd. I, S. 117—134.

ляя посвященные дары в Дельфы; он именует себя не римлянином, но потомком Энея, ведет дипломатические переговоры с греками на их родном языке, без всякого иностранного акцента¹³, чем и очаровывает легковверных греков. Но все это, конечно, противоречило старинным римским обычаям и традициям.

Несколько позже живет Авл Постумий Альбин, человек менее знаменитый, консул 151 г. Полибий говорит о нем как о явном филэллине. Альбин написал исторический труд по-гречески и счел необходимым принести в предисловии извинения за возможные погрешности в языке. Еще дальше пошел по этому пути в следующем поколении Тит Альбуций, претор 104 г., который в Афинах вообще обратился в грека, в приверженца эпикурейского учения. И наконец, римский стоик Публий Рутилий Руф, консул 105 г., принял во время своего изгнания гражданство Смирны и отклонил в дальнейшем приглашение Суллы вернуться в Рим, что по древним римским понятиям граничило со святотатством. Все эти факты и примеры свидетельствуют о том, что в определенных кругах римского общества наблюдается явный отход от положений и норм полисной морали, а следовательно, кризис этой морали, т. е. всей системы ценностей древней римской общины¹⁴.

Обычно под только что упомянутыми кругами общества подразумевается римский нобилитет. Едва ли подобное ограничение вполне закономерно. На наш взгляд, имеются достаточные основания считать, что филэллинские настроения, распространение греческой культуры и образованности коснулись все же несколько более широких слоев общества, чем староримская аристократия. В Риме возникает, формируется определенная социальная прослойка, которую можно назвать своеобразной античной «интеллигенцией». Это были люди, занимавшиеся «культурной» или научной и педагогической деятельностью как своей основной, постоянной профессией: актеры, педагоги, риторы, грамматики, литераторы, врачи.

Интересно, что римская «интеллигенция» отличалась, по крайней мере, двумя весьма своеобразными чертами. Во-первых, она состояла, как правило, вовсе не из римлян

¹³ *Plut.*, Tit., 5; 12.

¹⁴ *Knoche U. Op. cit.*, S. 155—156.

по происхождению. Перечисленные выше специальности и профессии почти полностью монополизировали греки. Причем, если в Греции актеры были всегда свободными и уважаемыми людьми, то в Риме считалось бесчестьем и достаточным основанием для порицания цензоров, когда свободнорожденный выступал на сцене. Даже такая профессия, как врачебная, была тоже предоставлена иностранцам, а Катон вообще зачислял врачей в одну группу с отравителями. В такой связи становится понятнее и вторая характерная черта римской «интеллигенции»: она в значительной своей части — *рабская интеллигенция*. В I в. до н. э. образованные рабы были необходимой принадлежностью каждой знатной римской фамилии. Известно рабское происхождение знаменитых комедиографов Цецилия Стация и Теренция II в. до н. э., мимोगрафа I в. до н. э. Публилия Сира. Упоминаются, помимо уже названных профессий, также писцы, чтецы, библиотекари, стенографы, должности, занимаемые тоже почти всегда рабами. Слой рабской интеллигенции в Риме, особенно в эпоху Поздней республики, был многочислен, а вклад, внесенный ее представителями в создание римской культуры, весьма ощутим¹⁵.

Перечисленные факты и примеры можно считать бесспорным доказательством проникновения в Рим чужеземных, в первую очередь греческих, влияний. Но было бы совершенно неправильно говорить только об этих влияниях, только о «дыхании Эллады», — хотя бы уже потому, что речь идет об эпохе эллинизма, когда так называемая «классическая» греческая культура подверглась глубоким изменениям и была в немалой степени ориентализована. Поэтому в Рим, сначала через посредство греков, а затем и более прямым путем, проникают культурные влияния Востока.

В литературе отмечалось, что определенное распространение в Риме — и, видимо, сначала среди низших слоев населения — получили эсхатологические и сотериологические идеи, иногда эллинистического, иногда чисто восточного происхождения. Своими корнями эти идеи нередко уходили в весьма отдаленное прошлое некоторых стран древнего Востока, в первую очередь Египта. В странах

¹⁵ Штаерман Е. М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. М., 1964, с. 131 слл.

Передней Азии они имели, очевидно, самостоятельное развитие. Сотериологические символы приобрели большое значение в культе эллинистических монархов, они же оказали определенное влияние на программы массовых социальных движений эпохи эллинизма. Подобные идеи, распространяясь в ряде стран, теряли постепенно местный колорит и приобретали все более и более отвлеченный характер¹⁶.

С утверждением римлян в Малой Азии связан довольно бурный рост эсхатологических настроений, причем вера в близкую гибель всего мира причудливо переплеталась с мечтами о предстоящем золотом веке. Распространению подобных чаяний содействовало антиримское выступление Митридата, а его конечная неудача снова возродила пессимистические настроения и предсказания. Эти идеи постепенно проникают в Рим, где они сливаются с этрусской эсхатологией, имевшей, быть может, тоже восточное происхождение, и сотериологическими символами дионисийских культов. Подобные явления расцветают особенно пышным цветом в годы политических потрясений (например, в периоды гражданских войн), и это свидетельствует о том, что указанные мотивы отражали не только религиозные взгляды, но и определенные социальные требования¹⁷.

Таковы основные факты, свидетельствующие об активном проникновении в Рим эллинистических (в широком смысле слова) влияний. Значение этого факта настолько велико и бесспорно, что существует мнение, согласно которому Рим можно (и даже следует!) считать эллинистическим государством.

Так ли это? Пока мы едва ли можем дать точный ответ, поскольку до сих пор процесс проникновения в Рим чужеземных влияний рассматривался нами сугубо односторонне. Поэтому мы снова должны вернуться к вопросу, поставленному в самом начале, — к пресловутому «мирному завоеванию». Конечно, о нем не может быть и речи. Инфильтрацию чужеземных идей и влияний никак нельзя назвать ни мирной, ни безболезненной. Реакция правящих римских

¹⁶ Машкин Н. А. Эсхатология и мессианизм в последний период Римской республики. — «Известия АН СССР», СИФ, III, 1946, № 6, с. 441—448.

¹⁷ Там же, с. 459.

кругов, а иногда и всего общества (т. е. широких слоев населения) нередко бывала достаточно резкой и решительной, да и те формы, в которые облекались идущие с Востока влияния, подчас встречали активное противодействие. Достаточно вспомнить хотя бы знаменитый процесс о вакханалиях (186 г.), о котором рассказывает Тит Ливий¹⁸. Общины поклонников Вакха (Диониса) распространились во многих городах Италии и наконец появились в самом Риме, что внушило большой страх властям. Вопрос обсуждался и в сенате, и в народном собрании. Поклонники Вакха, как уверяет Ливий, не ограничивались сборищами и оргиями, но совершали различные преступные деяния, начиная с лжесвидетельства, подделки завещаний и кончая убийствами. Сенат вынес специальное постановление — участники культа были фактически приравнены к заговорщикам, представляющим опасность для государства, и большинству из них вынесены смертные приговоры. Тайные сборища были категорически запрещены, установлено особое наблюдение, и культ, занесенный с эллинистического Востока, прекратил свое существование.

Еще более ярким примером реакции римского общества на проникновение чужеземных влияний можно считать цензуру Катона (184 г.). Вся его деятельность на посту цензора была направлена на реализацию определенной политической программы — программы борьбы против «гнусных новшеств» (*nova flagitia*).

Политическая обстановка в Риме, обстоятельства, сопутствовавшие избранию Катона, заслуживают того, чтобы остановиться на них подробнее. Плутарх рассказывает, что избранию его цензором противились «почти все самые знатные и влиятельные сенаторы». Опасаясь его неподкупной строгости, они выставили против Катона семерых соискателей, которые не скупясь на всякие заманчивые обещания и всячески заискивали перед народом, тогда как Катон открыто, с ораторской трибуны громил тех, кто погряз в пороках, и требовал для города «великого очищения»¹⁹.

Но оказалось, что программа борьбы с «гнусными новшествами» созвучна настроениям широких слоев населения Рима. Именно Катон и его друг и единомышленник

¹⁸ Liv., 39, 8—19.

¹⁹ Plut., Cato maior., 16.

Луций Валерий Флакк были избраны цензорами. Катон сразу же приступил к реализации практической части своей программы. Ряд сенаторов был лишен званий и изгнан из сената. Среди изгнанных оказался, например, Луций Квинкий, брат знаменитого Тита Фламиния, «освободителя» Греции, одного из первых, как уже говорилось, «филэллинов». И хотя в основе подобных действий Катона явно лежали политические соображения, внешне все это выглядело как борьба за чистоту нравов. Так, претендента на консульство некоего Манилия Катон изгнал из сената только за то, что тот днем и в присутствии дочери поцеловал свою жену²⁰. Брат Сципиона Африканского, старого врага Катона был лишен государственного коня, что считалось в Риме бесчестьем. Последовал ряд других политических процессов. Но, как подчеркивает Плутарх, больше всего врагов доставила Катону борьба с роскошью: он ввел прогрессивные налоги, настоял на повышении цен на одежду, женские украшения, богатую домашнюю утварь, сократил плату за подряды и, наоборот, значительно повысил цену откупов²¹.

В этом заключалась, так сказать, практическая часть программы Катона. Но существовала и часть теоретическая. Катон имел определенный взгляд на иерархию «гнусных новшеств». На первое место он ставил именно роскошь богатей, или, точнее, страсть к роскоши, затем корыстолюбие. В так называемой «Поэме о нравах» он объявлял роскошь и корыстолюбие корнем всех зол. Не менее распространен, по Катону, и другой порок — тщеславие и, как правило, связанные с ним всякие предвыборные махинации. Из-за всего этого он и враждовал со Сципионом, в подобном же пороке он обвинял консула 189 г. Марка Фульвия Нобилиора. Выступавшего вместе с ним самим соискателем цензуры Луция Ветурия он упрекал в бесстыдстве и распутстве, а также в грубости. Против этих пороков он боролся и во время своей цензуры. В сохранившихся отрывках из его речей мы встречаем упоминания еще о таких пороках, как высокомерие, жестокость, необузданность, бездельность, лень и т. п.²²

Таким образом, Катон видел упадок древних нравов (*mores maiorum*) в том, что роскошь, корыстолюбие, над-

²⁰ Ibid., 17.

²¹ Ibid., 18.

²² Gell., N. A., V, 6; X, 3; XI, 2; 18.

менность, необузданность, леность и т. п. перешли всякие границы, распространились в римском обществе. Интересно, что в данном случае налицо такая же множественность пороков, как и упоминавшаяся уже множественность древнеримских добродетелей (*virtutes*). Но если бесчисленное множество добродетелей объединялось как бы общим стержнем, причем этим стержнем следовало считать благо государства, то и все те пороки, против которых выступал Катон, тоже имеют нечто общее. Это — стремление удовлетворить чисто личные интересы, даже в тех случаях, когда они противоречат требованиям общего блага. Частные, эгоистические побуждения преобладают над общественными, что и свидетельствует — наиболее наглядно и ярко — о потрясении древних нравственных устоев. В этих «теоретических» положениях программы Катона содержится как бы первый, черновой вариант учения об упадке нравов, учения, которое получило дальнейшее развитие в эпоху Саллюстия и Цицерона²³.

Такова была программа борьбы против «гнусных новшеств», проводившаяся в свое время Катонем. Стоит отметить, что тогда все названные пороки, все чужеземные влияния еще могли рассматриваться именно как *новшества*, как нечто, занесенное в Рим сравнительно недавно и потому не пустившее еще в римском обществе особенно глубоких корней.

Стоит отметить и то, что программа Катона пользовалась поддержкой и сочувствием широких кругов населения. Об этом сообщает Плутарх. Римляне, говорит он, воздвигнув Катону статую, не упомянули ни о его походах, ни о триумфе, но сделали следующую надпись: «За то, что, став цензором, он здравыми советами и разумными наставлениями снова вывел на правильный путь уже начавшее клониться к упадку Римское государство»²⁴.

Но было бы неверно считать, что сопротивление разлагающим чужеземным влияниям существовало только в среде римского плебса. Духом сопротивления были иногда затронуты и высшие слои римского общества, которые в наибольшей степени подвергались эллинистическим влияниям. Все зависело от того, каких устоев римской жизни, римского быта это касалось. Во многих случаях для римского

²³ См. ниже, гл. VIII.

²⁴ *Plut., Cato maior*, 19.

сенатора семейная и сословная мораль вполне заменяла эллинистическую этику. От этой последней отталкивало «чистое» теоретизирование, мало пригодное для целей общественной жизни и деятельности. А удаление от подобной деятельности ради отвлеченных теоретических штудий считалось у римлян вопиющим нарушением гражданского долга, и не только во времена Катона.

Если постановление сената о вакханалиях или высылка из Рима философов и риториков²⁵ могут быть отнесены к чисто административным мерам, то цензура Катона — это уже пример «смешанных» форм борьбы, т.е. объединения мероприятий административного характера с борьбой идеологической. Кстати, идеологические формы сопротивления были весьма своеобразны — например, есть все основания говорить о некотором «обратном воздействии» римской культурной среды. В частности, эллинистическая (и классическая греческая) философия по мере своего проникновения в Рим как-то приспосабливается к запросам римского общества, изменяя или, по крайней мере, смягчая некоторые из своих положений. Происходит своеобразная адаптация.

Наиболее наглядно эти процессы можно проследить на примере так называемой Римской Стои и кружка Сципиона.

О политических воззрениях представителей Римской (или Средней) Стои будет еще сказано более подробно²⁶, сейчас же ограничимся лишь указанием на то, что именно римские стоики, и прежде всего Панетий, модифицировали образ стоического мудреца, приспособив его к римским условиям. В этом, несомненно, заключалось «обратное воздействие» римской культурной среды. Данный пример убеждает в том, как эллинистическая идеология, проникавшая в Рим, и, с другой стороны, эта римская среда, встречаясь, сталкиваясь друг с другом, испытывали определенное взаимодействие, как бы даже шли на «взаимные уступки».

Панетий, один из наиболее крупных представителей Средней Стои, входил в состав кружка Сципиона Эмилиана. Вопрос об этом кружке представляет определенный интерес, хотя ни общий характер группы, объединившей-

²⁵ *Gell.*, N. A., XV, 11, 1; ср. *Plut.*, *Cato maior*, 22.

²⁶ См. ниже, гл. IV.

ся вокруг Сципиона, ни ее состав не могут считаться точно и окончательно выясненными.

Что касается состава Сципионова кружка, то в современной зарубежной историографии существует явная тенденция трактовать этот вопрос чересчур расширительно²⁷. Однако, на наш взгляд, для такой трактовки все же нет достаточно твердых данных. Разумнее поэтому проявить осторожность, следуя уже устоявшейся традиции.

Помимо самого Сципиона Эмилиана в состав кружка, насколько нам известно, входили: консул 140 г., философ и писатель Гай Лелий, известный комедиограф (и, кстати сказать, вольноотпущенник) Теренций, родственники Сципиона, знаменитые в дальнейшем деятели братья Гракхи. Как уже говорилось, членом кружка был Панетий и, безусловно, близкий Сципиону, тоже в дальнейшем знаменитый человек — историк Полибий. Наши сведения об этих членах кружка можно считать довольно точными.

Как известно, место действия диалога Цицерона «De re publica» — загородная усадьба Сципиона Эмилиана, время действия — дни *feriae Latinae* 129 г. (в консульство Г. Семпрония Тудитана и Мания Аквилия). Кроме главного действующего лица диалога, самого Сципиона, в диалоге принимают участие еще восемь человек — друзья и родственники гостеприимного хозяина усадьбы. С определенной долей вероятия — хотя и не безоговорочно! — мы можем считать лиц, участвующих в диалоге, членами интересующего нас «кружка» (во всяком случае, людьми из близкого окружения Сципиона!).

Кто же они, участники диалога? Это уже упоминавшийся Гай Лелий, личный друг Сципиона; затем — Луций Фурий Фил, консул 136 г., оратор; Маний Манилий, консул 149 г., юрист; Спурий Муммий, представитель знатного плебейского рода, последователь стоицизма, оратор; Квинт Элий Туберон, племянник Сципиона, претор 123 г., противник Гракхов; Публий Рутилий Руф, консул 105 г., филэллин, окончивший свою жизнь в изгнании, в Смирне; Квинт Муций Сцевола, консул 117 г., юрист, стоик, ученик Панетия; Гай Фанний, консул 122 г., также стоик и ученик Панетия. Среди отсутствовавших в тот момент, но,

²⁷ См., например, *Gruen E. S. Roman Politics and the Criminal Courts* 149—78 B. C., Cambridge, 1968, p. 23—25.

видимо, близких друзей и членов кружка упоминаются и Панетий («наш Панетий»!), и Полибий²⁸.

Интересно выяснить общественное положение членов кружка. Учитывая участие Теренция, а также Панетия и Полибия, можно, как будто, сделать довольно твердый вывод о том, что в состав кружка входили как представители римской аристократии, так и интеллигенции, как политические деятели, так и деятели культуры, как коренные, потомственные римляне, так и иностранцы (греки и др.).

Каков же характер кружка? Что это было — политическое или только «культурное» объединение? На этот вопрос ответить не так просто. Скорее всего, кружок Сципиона не возник, не создавался с какой-то определенной, тем более с политической, целью. Исходя из родственных и дружеских связей его участников, можно считать, что это было обычное окружение («свита») знатного и выдающегося римлянина, которое в зависимости от обстоятельств могло быть политически нейтральным или, наоборот, выступать в качестве активной *factio*, быть может, даже в качестве личной, персональной «партии» (*pars Scipionis*).

Что касается политических симпатий членов кружка, то они гораздо более ясны. За исключением, пожалуй, Гракхов, всех (или почти всех) остальных членов кружка можно назвать весьма умеренными реформаторами. Такова же была, как известно, и политическая ориентация самого Сципиона Эмилиана.

Не случайно, когда Гай Лелий, выступив с проектом аграрного закона, натолкнулся на сопротивление нобилитета, он сам взял его обратно, за что и получил, по словам Плутарха, прозвище Мудрого²⁹. Отсюда же характерная для членов кружка пропаганда идеала древнего римлянина, сурового, но справедливого, врага роскоши и изнеженности, т. е. по существу пропаганда Катонова идеала. Отсюда же, наконец, и резко отрицательное отношение Сципиона к дальнейшей деятельности Гракхов и уже упоминавшаяся цитата из Гомера, которой он реагировал на смерть Тиберия: так да погибнет каждый, кто дерзнет на подобное дело³⁰.

²⁸ *Cic.*, *De rep.*, I, 15; 34.

²⁹ *Plut.*, *Tib.*, 8 (ср., однако, *Cic.*, *De amic.*, 6—7).

³⁰ *Plut.*, *Tib.*, 21.

Недаром, характеризуя политическую деятельность Сципиона и его единомышленников, историки иногда говорят о них как о «просвещенных консерваторах». И действительно, участники кружка были горячими поклонниками греческой образованности, знатоками классической литературы и философии, но только пока дело не касалось политики. Здесь они выступали как истинные представители римского нобилитета, сторонники существующего строя, власти и авторитета сената, как горячие заступники «нравов и обычаев предков». Ни о каком переустройстве общества, кроме нравственной реформы, они и не помышляли. Может быть, стоит вспомнить, что именно в Сципионовом кружке возникло стремление, осуществленное Полибием, истолковать римский государственный строй в качестве идеала и образца так называемой «смешанной формы» правления.

Таковы наиболее яркие примеры проникновения в Рим эллинистических влияний и вызванной ими «защитной реакции» римского общества. Теперь, очевидно, следует подвести некоторые общие итоги.

Итак, имея в виду интересующий нас процесс в целом, мы должны, с одной стороны, признать бесспорный рост и распространение «гнусных новшеств», которые постепенно перестают быть чем-то новым, необычным, но становятся все более и более неотъемлемыми чертами повседневной римской жизни. С другой стороны, никак нельзя игнорировать серьезное, порой даже ожесточенное сопротивление, которое замедляло, осложняло и модифицировало весь процесс. Как же совместить эти две противоположные тенденции? На наш взгляд, их и не следует совмещать или «примирять», поскольку процесс развивался в значительной степени как параллельный, идущий в разных плоскостях. Во-первых, следует иметь в виду различные социальные среды: эллинистические влияния охотно и не встречая противодействия принимались определенными кругами нобилитета (однако не нобилитетом в целом!) и римской интеллигенцией, но наталкивались на серьезное сопротивление, когда речь шла о «властях» или когда дело доходило до широких слоев населения, до римского плебса.

Во-вторых, когда говорится об эллинистических влияниях, необходимо различать определенные аспекты (сферы) этих влияний. Если иметь в виду сферу культуры в

прямом и потому более узком значении слова (язык и литература, изобразительное искусство, театр и т. п.), то здесь можно и даже следует говорить о приятии эллинизма, об его освоении, часто творческом и самобытном. Но если затронуть иную, причем важнейшую, область — сферу идейно-политическую, то именно здесь проникающие в Рим влияния наталкивались на самое решительное сопротивление, на стену «нравов и обычаев предков» и бывали в ходе напряженной борьбы либо вовсе отвергнуты, либо значительно приспособлены, адаптированы. Таким образом, ни о каком мирном завоевании, ни о какой «бескровной победе» не могло быть и речи. Но можно ли вообще говорить о какой-то победе?

Несомненно, что рассматриваемый нами период римской истории, т. е. II—I вв., — эпоха кризиса. Это прежде всего кризис полиса. Но кризис полиса, как мы уже знаем, понятие достаточно сложное и многообразное: в области социально-экономической он проявляется в изменении форм собственности и новой расстановке классовых сил, в сфере политической — в разложении республиканских институтов, вырождении полисной демократии, наконец, в сфере идеологической — в пересмотре всей полисной системы ценностей. Нас интересует сейчас последний аспект кризиса.

Исходя из того, что сказано выше, следует, очевидно, признать, что в духовной жизни римского общества во II—I вв. происходит глубокий перелом. Это и есть обусловленный кризисом полиса пересмотр системы ценностей. Он, несомненно, связан с проникновением в Рим эллинистических влияний, но, конечно, не эти влияния были его причиной. Более того — можно говорить о проникновении эллинистических идей, но нельзя и не следует говорить об идейной победе эллинизма. Если же это так, то не существует никаких серьезных оснований считать Рим, как иногда утверждают, эллинистическим государством.

Этот вопрос тем интереснее, что именно в рассматриваемую эпоху у самих римлян, т. е. в римском политическом мышлении, впервые более или менее четко оформляется понятие государства. Об этом свидетельствует волюция такого широко применявшегося римлянами понятия, как *res publica*. Специальные исследования показали, что этот термин, который в буквальном переводе звучит

как «общее дело», первоначально вовсе не был термином для обозначения именно государственной общности³¹.

В значении «общее достояние», «общая собственность» интересующее нас словосочетание встречается еще у Плавта. Что касается термина *publicus*, то его возникновение связано с потребностью обозначить то, что может считаться собственностью народа (*populus*), в особенности когда это следует отграничить от другой области, например от сферы частной, т. е. сферы отдельного лица (*privatus*)³².

Эти представления уже близки и как бы подготавливают знаменитое определение Цицерона: «Государство есть достояние народа» (*res publica — res populi*)³³, хотя, строго говоря, подобное определение вовсе еще не однозначно и подстановка вместо слов *res publica* нашего слова «государство» довольно схематична и условна. Для Цицерона же понятие «достояние народа» (видимо, точнее — «достояние граждан») включало в себя не только собственность, имущество, но и сферу общих интересов, сферу «обязательственных» и политических связей.

Но *res publica* — конечно, и не форма правления. Это скорее некий принцип³⁴, даже определенное мировоззрение, т. е. модель мира. Если для греческих мыслителей почти всегда на первом месте вопрос о том или ином идеале государственного устройства, т. е. о той или иной форме правления, то для римлянина дело обстоит несколько иначе. На первом месте для него — отечество, родной город, как та сфера общественной жизни и деятельности, которая и именуется *res publica* и которая может существовать при самых различных формах правления, вплоть, как уверяет Цицерон, до царской власти³⁵. В основе подобных взглядов лежит, конечно, представление о Риме как вечной, непреходящей, бессмертной величине³⁶.

В заключение несколько слов о соотношении понятий *res publica* и *civitas*. Уже из предшествующего из-

³¹ Stark R. *Res publica*. Diss. Göttingen, 1937, S. 5.

³² Ibid., S. 18—19.

³³ Cic., *De rep.*, I, 39.

³⁴ Büchner K. *Die römische Republik im römischen Staatsdenken*. Freiburg in Breisgau, 1947, S. 5.

³⁵ Cic., *De rep.*, I, 42.

³⁶ О понятии «республика» (*res publica*) у Тацита см. Stark R. *Op. cit.*, S. 43 ff.

ложения явствует, что греческое слово (и понятие) πόλις должно передаваться на латинском языке термином *civitas*, но не *res publica*. Подобное словоупотребление, конечно, нельзя считать случайным. Известно, что слово *civitas* имело, по крайней мере, три значения. Это прежде всего свойство, возможность быть гражданином, затем — определение вытекающих отсюда прав гражданина и, наконец, обозначение совокупности граждан, откуда и возникает понятие самой гражданской общины.

В ранний период истории республики те общины, с которыми Рим вступал в различного рода отношения (вплоть до инкорпорации), назывались обычно *civitates* (*foederatae* и т. д.). Как показывает словоупотребление Плавта³⁷, понятие *civitas* используется применительно к греческому полису. Иногда термин πόλις передается и двумя словами: *urbs* и *civitas*, но, как правило, можно говорить об идентичности понятий πόλις = *civitas*.

Что касается понятия *res publica*, то оно соответствует другому греческому термину. С тех пор как римляне вступили в более тесные отношения с греками, возникла нужда во взаимном переводе греческих и латинских государственно-правовых терминов. Причем требовался именно терминологический, т. е. «твердо фиксированный», перевод. И для понятия *res publica* был найден греческий эквивалент. Однако, как нетрудно убедиться, им оказался не термин πόλις, а существовавшее уже к этому времени в эллинистической идеологии абстрактное понятие государства, которое определялось как τὰ δημόσια πράγματα. Это и был греческий эквивалент термина *res publica*³⁸.

Нам кажется, что данный краткий экскурс объясняет не только соотношение терминов *res publica* — *civitas*, не только связь этих терминов с их греческими эквивалентами, но, пожалуй, и нечто большее — возникновение знаменитой формулы Цицерона: *est igitur res publica res populi*.

³⁷ *Plaut.*, *Merc.*, 645; 833.

³⁸ *Stark R. Op. cit.*, S. 41.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РИМСКОЙ СТОИ

Выше уже говорилось, что Римская (или Средняя) Стоя — один из наиболее ярких и наглядных примеров «обратного воздействия» римской культурной среды на проникающие в Рим эллинистические влияния, своеобразной адаптации подобных влияний и идей. Остановимся на этом вопросе подробнее, тем более что если иметь в виду проблему кризиса полиса в целом, то стоическое учение приобретает, несомненно, весьма широкое значение. И хотя некоторые своеобразные черты стоического учения, как, например, «синтез индивидуализма и универсализма», достаточно давно и хорошо известны, антиполисная направленность этого учения (т. е. стоицизм как отражение кризиса античного полиса в сфере идеологии) и ныне не рассматривается в литературе (кстати говоря, огромной, почти необозримой) с достаточной определенностью. Это представляется нам серьезным упущением, ибо в «кризисном характере» самой стоической доктрины заложены предпосылки, обусловившие ее принятие римской общественной и культурной средой, а также же сравнительную легкость ее адаптации.

Эти восходящие еще к старостоическому учению предпосылки заключались хотя бы в том, что стоицизм в своих основных, принципиальных, общефилософских установках опирался не на отвлеченные умозрительные спекуляции, но на явно практическую цель. При обычном членении философских исследований на физику, логику и этику центр тяжести стоического учения был перенесен именно на этику. Задача философии заключалась в том, чтобы научить добродетели (ἡ ἀρετή) или — что то же самое — искусству правильно жить, т. е. жить в соответствии с природой, согласно ее требованиям — ἀμολογοῦμένως τῇ

φύσει ζῆν. Но жить в соответствии с природой означало для стоика жить в соответствии с разумом, и потому стоическая этика нуждалась все же для своего обоснования в физике и логике, но эти разделы философии всегда имели для стоицизма как бы служебное, вспомогательное значение.

В свою очередь центральным понятием стоической этики был идеал мудреца. Мудрец — существо совершенное, он абсолютно свободен от влияния окружающей среды. Поэтому нормой его поведения следует считать полное равнодушие, «апатию» (ἡ ἀπάθεια), т. е. отказ и воздержание от каких бы то ни было влечений, переходящих в аффекты (τὸ πάθος)¹. Мудрец, несомненно, испытывает естественные влечения, но не дает им возможности превратиться в аффекты вследствие того, что не считает предмет влечения ни злом, ни благом.

Единственное благо — сама добродетель: μόνον τὸ καλὸν ἀγαθόν. Но добродетель мудреца есть не что иное, как разум (ὁ λόγος), который для стоиков тождествен природе (ἡ φύσις). Отсюда и вытекает определение названных выше норм поведения, тем более безусловных для мудреца: ὁμολογουμένως τῇ φύσει ζῆν. Но если все это так, если разум тождествен природе, то мудрец, следуя велениям разума, действует в согласии с общим законом природы, повинуетя некоему мировому закону².

Единство и совершенство — наиболее существенные признаки понятия добродетели, а также идеала мудреца. Отсюда следовал вывод, что этот идеал либо достигается вполне, либо вовсе не достигается. Этические ценности, с точки зрения стоиков, не могут иметь степеней и градаций³, поэтому нельзя быть добродетельным или порочным отчасти, но можно быть или воплощением добродетели (мудрец), или воплощением порока (глупец, безумный)⁴. Следовательно, только добродетель и соответствующие ей действия (τὰ κατ'ἀρετὰ) — единственное благо, только порок и соответствующие ему действия

¹ Arnim H. von. Stoicorum veterum fragmenta, 3 vol. Leipzig, 1903—1905; 1924, v. I, № 205; 209; v. III, № 228; 377, 380; 393; 401; 414; 443.

² Ibid., v. I, № 179; 552; 554; v. III, № 2, 4 sq. 11; 13—16; 18; 29; 34; 75—78; 93; 197 sq.

³ Ibid., v. I № 586; v. III № 221; 524—540.

⁴ Ibid., v. I № 216; v. III № 657; 661—664.

(τὰ ἀσπείριστα) — единственное зло, все же остальное, что лежит между ними, — безразлично (ἀδιάφορα).

Однако подобный ригоризм на практике был весьма рискован (например, «безразличное» отношение к внешним формам поведения, даже к самой жизни, что приводило к оправданию самоубийства, к которому, согласно традиции, прибегнул и сам основатель стоической школы). Поэтому еще, видимо, в недрах Старой Стои возникает тенденция к некоторому смягчению этого крайнего ригоризма. Тем более что старостойский идеал мудреца, несомненно, выходил за рамки чисто этических воззрений стоиков и приобретал особый политический смысл и звучание.

Стойский идеал мудреца — человека, отгороженного от влияния внешней среды, вовсе не означал, как может показаться на первый взгляд, стремления оторваться от общества, от жизни в обществе. Изменилось лишь самое понятие общества. Теперь уже «общество» мыслится не в масштабе полиса, а в масштабе всего человечества (имеется в виду «разумное общение» всех людей). Стойский идеал мудреца знаменует рождение новой тенденции — тенденции антиполисной, индивидуалистической. На место самодовлеющего коллектива граждан (т. е. полиса) ставится теперь самодовлеющая личность (образ мудреца). Вместе с тем эта индивидуалистическая тенденция сочетается с другой: идея подчинения мировому закону предполагает наличие некоей общности между всеми разумными существами. Потому стремление человека к совместной жизни с себе подобными, т. е. к жизни в обществе, может считаться вполне естественным, κατὰ φύσιν.

Но и это еще не все. Влечение людей к совместной жизни, к общению стойки понимали как форму дружественных связей между мудрецами или, еще шире, как форму разумного общения *всех* людей (включая и варваров!). Это неизбежно вело к выработке представления о «глобальных», космополитических связях. Все иные формы общественных связей, в том числе полис, племя, народ, рассматриваются как ἀδιάφορον, чему мудрец или вообще разумный человек подчиняется как неизбежности, навязанной ему извне, но что закономерно оставляет его безразличным. Действительно, племенные и государственные различия должны же рано или поздно исчезнуть перед разумом, который всем дает единый закон

и право⁵. Именно таким образом индивидуалистическая тенденция стоического учения объединяется с универсализмом (космополитизмом). Политическим credo стоического мудреца становится лозунг, который (правда, значительно позже) был сформулирован Сенекой в следующих словах: *omnem locum sapienti viro patriam esse*⁶.

Таковы основные положения социальной этики Старой Стои. Их интерес и значение заключаются, на наш взгляд, в следующем:

а) в принципиальной общефилософской установке, переклюкавшей философское исследование из области «самодовлеющих» умозрительных спекуляций в практическую сферу житейской мудрости;

б) в кризисном характере учения: крушение полисно-автаркистского идеала, замена его идеалом, сочетающим в себе тенденции индивидуализма (образ мудреца) с космополитизмом (мировой закон, всемирное «братство» разумных существ);

в) в «перспективности», т. е. в открытом характере, этого столь типичного для эпохи эллинизма учения, допускающего, таким образом, разнообразные возможности его «приспособления», адаптации.

Все это вместе взятое, очевидно, позволяет понять, почему именно стоицизм, точнее — социальная этика стоиков, оказался наиболее близким по духу учением, наиболее приспособленным к нуждам и запросам римского общества в ту эпоху, когда формировалась и крепла римская мировая держава. Но, конечно, Старая Стоя с ее слишком риторичным представлением о благе и пороке, с ее слишком сублимированным идеалом мудреца никак не могла быть органически включенной в идейно-политическую сферу Рима. Для того чтобы «прижиться» в римском обществе, пустить в нем более глубокие и прочные корни, стоическое учение должно было претерпеть определенные внутренние изменения, должно было именно «приспособиться», адаптироваться. Эту задачу адаптации и взяли на себя представители Средней (или Римской) Стои.

К наиболее видным представителям этого направления относят обычно философов Панетия, Посидония и, с неко-

⁵ *Arnim H. von.* Op. cit., v. III, № 49—51; 54; 295; 305—307; 336; 548; 567; 582; 671—674; 677.

⁶ *Sen., Ad Helv.*, 9.7

ториями оговорками, историка Полибия. Включение Полибия в число римских стоиков нам представляется вполне оправданным и закономерным. Полибий, быть может, в большей степени, чем кто-либо из античных историков, был склонен к теоретическому, философскому осмыслению исторического материала. Но если говорить об этой стороне дела, то, как свидетельствует его теория органического развития общества в соответствии с «порядком природы», он находился под бесспорным и достаточно определенным воздействием стоической доктрины. Если же иметь в виду влияние Аристотеля и вообще перипатетической школы, которое тоже отрицать не приходится, то следует сказать, что и все остальные представители Римской Стои были в большей или меньшей степени эклектиками, а про Посидония прямо говорят, что он пытался синкретически объединить основные элементы Платона, Аристотелева и стоического учений.

Посидоний нас в данном случае не интересует. Он, как известно, был не только философом, но и историком и, по всей вероятности, одним из родоначальников знаменитой теории упадка нравов. Однако об этом речь впереди. Сейчас же мы остановимся на воззрениях Панетия и Полибия, которые привлекают нас, с одной стороны, как образец адаптации старостойческих идеалов, с другой — как пример антиполисных идей и настроений.

К сожалению, говоря об этических воззрениях стоиков, и прежде всего Панетия, мы вынуждены ограничиться лишь самыми общими соображениями. Произведения Панетия, и прежде всего самое важное для нас *Περὶ τοῦ καθ' ἑαυτοῦ*, не сохранились, за исключением ничтожных фрагментов. Частично на основании этих фрагментов, частично по первым двум книгам трактата Цицерона «De officiis», где автор, по его собственному признанию, близко следует Панетию⁷, мы все-таки можем составить некоторое представление о социальной этике этого философа. Очевидно, основной его задачей было стремление отойти от ригоризма Старой Стои⁸, смягчить ригористический образ мудреца, приблизив и приспособив его к нормам прикладной морали, более свойственной римлянам. Есть все основания полагать, что в интересующем

⁷ Cic., Ad Att., XVI, 11.4.

⁸ См., например, Kroll W. Die Kultur der ciceronischen Zeit, Bd. I, S. 120.

нас труде Панеттия, как на то недвусмысленно указывает его название, особое развитие получило идущее из недр Старой Стои учение о «средних действиях» (μέσα), в частности о тех, которые еще сам Зенон определял как καθήκοντα.

Смягчение ригоризма старостойического идеала мудреца сказалось в том, что теперь между совершенным человеком (мудрец) и глупцом (или безумным) ставится фигура человека стремящегося, совершенствующегося (προκόπτων), а между добродетельными и порочными действиями — надлежащий поступок или «должное» (τὸ καθήκον). «Должное», как уже сказано, относится к категории «средних действий», которые — хоть они в нравственном отношении совершенно индифферентны — будучи, однако, действиями κατὰ φύσιν, все же имеют некоторую относительную ценность.

Учение о προκόπτων и καθήκοντα, несомненно, уже давало возможность отойти от философски сублимированного идеала мудреца, в частности выработать гораздо более реальный в римских условиях образ идеального гражданина (vir bonus), что и было сделано Цицероном в «De officiis» на основе трансформированной Панеттием старостойической этики.

Кроме того, как указывал Диоген Лаэртский, Панеттий говорил, что существуют две доблести: умозрительная и деятельная (Παναίτιος... δύο φησὶν ἀρετάς, θεωρητικὴν καὶ πρακτικὴν)⁹, что тоже было чрезвычайно важно для выработки политического идеала vir bonus, тем более что и сам Панеттий, насколько мы можем судить, уже подчеркивал предпочтение, оказываемое им деятельности (πρακτικός βίος) перед умозрением (θεωρητικός). Для римлян же, в частности для Цицерона, само собой разумелось, что vir bonus не должен ради умозрительного «исследования истины» отвлекаться от практических дел и обязанностей¹⁰, и потому правильнее всего теоретическим занятиям посвящать «досуг» (otium), т. е. время, свободное от общественно-политической деятельности. Так трансформированный образ стоического мудреца ложится в основу уже чисто римской концепции vir bonus.

Собственно говоря, этим и ограничиваются наши сведения о социальной этике римских стоиков. Но нас ин-

⁹ Diog. Laert., VII, 92.

¹⁰ Cic., De off., I, 19.

тересует более широкая постановка вопроса. И если выше отмечалось, что стоическое учение в своем развитии являет некий синтез «индивидуализма и универсализма», то развитие индивидуалистического элемента приводит к трансформации известного нам образа мудреца в образ *vir bonus*, а развитие элемента универсалистского (космополитического) — к трансформации идеи «всемирного братства» разумных существ в представление о римской мировой державе как идеальной государственной форме.

Подобная постановка вопроса, естественно, подводит нас уже к политическим концепциям римских стоиков, т. е. прежде всего к историко-философским воззрениям Полибия, к его учению о государственных формах. Остановимся здесь лишь на одном вопросе, который, как нам представляется, наиболее ярко вскрывает «антиполисную» направленность этого учения, — на знаменитой теории «смешанного» государственного устройства.

Однако мы пока не будем рассматривать эту теорию в целом, как не будем и останавливаться на истории возникновения и развития взглядов на смешанное государственное устройство до Полибия. Укажем лишь на то, что теория смешанного устройства в «классическую» эпоху получила наиболее отчетливое выражение у Аристотеля. Последователем же Аристотеля¹¹, впервые приложившим учение о смешанном государственном устройстве к римской конституции, считается обычно Полибий.

Это верно и неверно. Полибий, несомненно, отправлялся в этом вопросе от Аристотеля и его предшественников, но было бы ошибочно представлять себе его интерпретацию теории смешанного устройства лишь как некое дальнейшее развитие и детализацию соответствующих высказываний Аристотеля. Напротив, между воззрениями Аристотеля и Полибия существует принципиальное различие. Если у Аристотеля (и его предшественников) теория смешанного государственного устройства не содержит в себе критики полисных форм и не направлена против полиса как такового, то в интерпретации Полибия она уже приобретает подобную направленность.

Таким образом, учение Полибия о смешанной форме правления есть новый и принципиально отличный от

¹¹ Вопрос о последователях Аристотеля до Полибия, в частности вопрос о Дикеархе, будет рассмотрен ниже (см. с. 144).

предыдущих этап развития этой политической теории, отражающий в сфере идеологии уже исторически данный факт кризиса полиса. Чтобы убедиться в этом, мы, не касаясь теории в целом, рассмотрим лишь два ее своеобразных момента.

Учение Полибия выросло из восторженного преклонения перед могущественной римской державой, которая возникала и утверждалась на его глазах и которая, с точки зрения грека из аркадского полиса, представляла собой неслыханное, небывалое и совершенно отличное от всех известных ему форм государственное образование. Это обстоятельство отмечается самим Полибием, буквально, в первых же строках его рассуждения о государственном строе Рима. Считая, что именно благодаря своим государственным утвреждения римляне покорили весь обитаемый мир и создали величайшую державу, Полибий подчеркивает: «раньше ведь не было [известно] ничего подобного» (*ἡ πρότερον οὐκ εὐρίσκειται γέγονός*)¹².

Поэтому Полибиево учение о смешанном государственном устройстве в значительной мере определяется двумя имеющими для нас особое значение чертами: во-первых, отказом от каких-либо отвлеченных и умозрительных схем — идеальное государственное устройство рассматривается им как исторически данное, воплощенное в римской конституции; во-вторых, критикой других типов государственных устройств (Афины, Фивы, проект идеального государства Платона), вплоть до тех, которые некогда считались образцами смешанного устройства (Крит, Карфаген и даже Лакедемон). Причем именно эта критика представляет для нас наибольший интерес, поскольку она по своему содержанию и направлению, имеет четко выраженный антиполисный характер.

Полибий противопоставляет Римское государство с его сложным устройством (*διὰ τὴν ποικίλειαν τῆς πολιτείας*) всем эллинским государственным образованиям (*τῶν ... Ἑλληνικῶν πολιτευμάτων*), которые «то возвышаются, то испытывают полный упадок»¹³. Уже подобное противопоставление, несомненно, свидетельствует об определенной тенденции автора, хотя истинный ее характер пока еще остается недостаточно ясным.

Затем следует рассуждение о правильных и извра-

¹² *Polyb.*, VI, 2(1).3.

¹³ *Ibid.*, 3.1—3.

щенных формах¹⁴ и о круговороте государственных форм (ἡ ἀνακύκλισις)¹⁵. Мы в данном случае не будем на этом останавливаться, для нас несравненно больший интерес представляет анализ Ликургова законодательства, которое трактуется как сознательно и обдуманно созданный образец смешанного устройства, объединившего в себе преимущества всех простых и лучших форм¹⁶.

Вслед за этим идет знаменитое описание римского государственного устройства, в котором Полибий находит сочетание монархических, аристократических и демократических элементов¹⁷. Мы еще остановимся на этом более подробно, но и из изложенного выше натрашивается вывод, что в качестве идеальных образцов Полибий имел, собственно говоря, два эталона: Лакедемон и Рим. Но вполне ли равноценными представлялись ему оба этих эталона?

Чтобы дать ответ на такой вопрос, необходимо обратить внимание на перечисление и анализ реально существующих государственных форм, на сравнение их с римским устройством, т. е. на тот критический обзор, которому Полибий посвящает заключительную часть VI книги.

Если обратиться к самому обзору, то оказывается, что фиванский и афинский государственный строй и учреждения даже не заслуживают серьезного разбора. Причиной краткого возвышения, «минутного блеска» обоих государств следует считать отнюдь не их государственные учреждения, но деятельность отдельных выдающихся личностей: Эпаминонда и Пелопида в Фивах, Фемистокла — в Афинах. Попутно высказывается явно отрицательное отношение к демократическому образу правления, а афинское государство вообще сравнивается с судном без кормчего¹⁸.

Остроумной критике подвергается также государство Платона, как чисто умозрительное построение (идеальный полис!), никем и никогда еще не испытанное на практике. По этой причине Полибий считает совершенно неправомерным сопоставление Платонова идеального государства с реально существующими — это столь же неправильно, даже нелепо, как попытка сопоставления не-

¹⁴ *Polyb.*, VI, 5—9.

¹⁵ *Ibidem.*

¹⁶ *Ibid.*, 10.6.

¹⁷ *Ibid.*, 11—18.

¹⁸ *Ibid.*, 43—44.

одушевленной статуи, как бы великолепно она ни была выполнена, с живыми людьми!¹⁹

Но Полибий подвергает критическому рассмотрению строй не только тех государств, где он не соответствует смешанной форме правления, но и тех, которые многими древними авторами считались образцами смешанного устройства. Так, анализируя государственный строй критян, который Эфор, Ксенофонт, Каллисфен и Платон считали близким или даже тождественным лакедемонскому, а потому достойным хвалы и подражания, Полибий заявляет о своем несогласии со всеми названными авторами по обоим пунктам.

Что касается сопоставления государственного строя Крита и Лакедемона, то Полибий говорит, что ему совершенно непонятно, о каком сходстве может идти в данном случае речь, если по всем своим основным «показателям» эти государства прямо противоположны. Так, в Спарте, как известно, граждане должны иметь равные доли владения общественной землей, деньги не играют почти никакой роли, что же касается организации управления, то члены герусии пользуются пожизненной, а цари — и наследственной властью. На Крите же все наоборот: «Там каждый может расширять свои земельные владения чуть ли не до бесконечности, деньги играют огромную роль, процветает корыстолюбие, алчность и, наконец, все государственные должности ограничены годичным сроком, что весьма сближает государственный строй Крита с демократией. Таким образом, критское и лакедемонское государства построены на совершенно противоположных началах (*παρὰ δὲ Κρηταίων πάντα τοῖς τοῖς ὑπάρχει τὰναντία*), хотя, например, Эфор описывает их настолько сходно и настолько в одинаковых выражениях, что лишь по именам собственным можно понять, о котором из двух идет речь²⁰.

Установив эти принципиальные различия в строе обоих государств, Полибий поясняет, почему с его точки зрения критский строй не заслуживает ни одобрения, ни подражания. Дело в том, что критские обычаи и законы не вносят благонравие и умеренность в частную жизнь граждан, не водворяют кротость и справедливость в государстве в целом. Закljučая это рассуждение, Полибий к тому же подчеркивает, что нет ни одного другого на-

¹⁹ Ibid., 47.7—10.

²⁰ Ibid., 45—46.

рода столь же коварного и в частной, и в общественной жизни, как критяне²¹.

Наиболее близким к римскому и лакедемонскому государственному устройству оказывается, по мнению Полибия, карфагенское. Поэтому он подвергает его тщательно и детальному рассмотрению, причем высказывает ряд интересных наблюдений.

Государственный строй Карфагена некогда был превосходным, ибо в нем сочетались все необходимые элементы смешанной формы правления. Но как всякий организм (тут Полибий высказывает свои основные идеи, основные положения своей теории «органического развития» общества), так и любое государство согласно природе (*κατὰ φύσιν!*) переживает периоды возникновения и роста, затем расцвета и, наконец, упадка. Что касается карфагенского государства, то оно возникло и окрепло гораздо раньше римского, и потому к моменту Ганнибаловой войны Карфаген уже отцветал, его государственные учреждения начали уже разлагаться, принцип взаимоотношения властей был нарушен, причем самым опасным образом — в пользу демоса, толпы. У римлян же их органы власти находились в цветущем состоянии и действовали в полную силу: руководящая роль принадлежала сенату, важнейшие государственные решения принимались не по прихоти толпы, но по разумению лучших граждан. Этим и объясняются конечные результаты войны: тот факт, что, несмотря на сокрушительные поражения в самом начале, римляне все же выиграли войну и торжествовали свою победу над карфагенянами²².

Чрезвычайно интересны (и, пожалуй, наиболее «современны») некоторые частные выводы и наблюдения Полибия. Во-первых, он совершенно трезво, со знанием дела сопоставляет, взвешивает военные силы Рима и Карфагена, приходя к правильному выводу о перевесе первых в сухопутных сражениях и вторых в морском деле. Но еще замечательнее вывод о том, что истинное и решающее превосходство римлян заключалось в том, что римская армия представляла собой гражданское ополчение, тогда как карфагеняне использовали наемные войска. Они вынуждены были поэтому связывать все свои надежды на сохранение свободы и независимости с чуже-

²¹ *Polyb.*, VI, 47.1—6.

²² *Ibid.*, VI, 51.

земцами-наемниками, тогда как римляне рассчитывали на доблесть собственных граждан и на помощь союзников. Вот почему если римляне и терпят неудачи, они способны полностью восстанавливать свои силы, а карфагеняне сделать это не в состоянии²³.

Итак, по существу остается лишь один исторически данный образец смешанного устройства, который до сих пор выступал наряду с римским в качестве эталона, — лакедемонское государство, Ликургово законодательство. Тем большее значение по этой причине имеет для нас критика Ликурговой конституции, развиваемая Полибием и вскрывающая при более внимательном рассмотрении политическую сущность всей его концепции смешанного государственного устройства.

Начиная рассуждать о Ликурговом законодательстве, Полибий отмечает, что оно, безусловно, обеспечивало единодушие и свободу граждан, внутреннюю прочность государства²⁴. Равенство земельных владений, простота образа жизни, всеобщая умеренность и благоразумие самым положительным образом влияли на частную жизнь граждан, на их взаимоотношения и предохраняли государство в целом от всяких междоусобиц. В этом плане законодательство Ликурга представляется не столько делом рук человеческих, сколько творением богов²⁵.

И хотя таким путем Ликург действительно обеспечил безопасность Лаконики и длительную свободу всем ее гражданам, тем не менее в его государственном устройстве есть один серьезнейший недостаток: Ликург, видимо, совершенно не подумал, не позаботился о том, чтобы подготовить лакедемонское государство к господству над другими. У него ведь все построено на воздержности, простоте и автаркии частной жизни граждан (... δι' ἧς ὥσπερ καὶ περὶ τοὺς κατ' ἰδίαν βίους αὐτάρχεις αὐτοὺς παρεσχεύαζε καὶ λιτούς), но в таком случае и общим принципом всего государства неизбежно должен быть тот же самый принцип автаркии и разумной умеренности (οὕτω καὶ τὸ κοινὸν εἶδος τῆς πόλεως αὐτάρχεις ἐμελλε γίνεσθαι καὶ σῶφρον)²⁶.

Однако опыт истории показал, что спартанцы, чрезвычайно умеренные и благоразумные, пока дело касалось

²³ Ibid., 52.1—9.

²⁴ Ibid., 48.1—2.

²⁵ Ibid., 48.3.

²⁶ Ibid., 48.5—7.

их собственного полиса, оказались преисполнены корыстолюбия и жажды власти по отношению ко всем остальным эллинам. Так, известно, что они чуть ли не самыми первыми покусились на землю своих соседей и начали войну против мессенцев, стремясь поработить их. Не менее известно и то, что, желая владычествовать над всеми эллинами, они пошли на фактическое подчинение исконным врагам Эллады — персам и предательски уступили им малоазийские эллинские города по Анталкидову миру. Но их сил и возможностей более или менее хватало, пока речь шла о господстве над ближайшими соседями или, в крайнем случае, над одними пелопоннесцами, но отнюдь не над всем эллинским миром²⁷.

Поэтому вполне закономерен основной и решающий вывод Полибия относительно того, что Ликургово законодательство, т. е. лакедемонское государственное устройство, пригодно лишь для процветания замкнутой, самодовлеющей общины (... ὅτι πρὸς μὲν τὸ τὰ σφέτερα βεβαίως διαφυλάττειν καὶ πρὸς τὸ τὴν ἐλευθερίαν τηρεῖν αὐτάρχης ἐστὶν ἢ τοῦ Λυκούργου νομοθεσία); если же народ или государство стремится властвовать над другими и осуществлять гегемонию, то следует признать, что лакедемонское государство явно к этому не приспособлено и, безусловно, уступает римскому. Это, кстати, подтверждено всем ходом и опытом истории²⁸.

Таков главный вывод Полибия, и нетрудно убедиться, что он имеет достаточно четко выраженную антиполисную направленность, ибо, как это с полной очевидностью вытекает из всего сказанного, в частности из бесспорного факта восторженного преклонения Полибия перед римской державой, его уже не удовлетворяет и не может удовлетворить государство типа замкнутой самодовлеющей общины. Напротив, сохранение подобной замкнутости расценивается им как основной порок Ликургова устройства, и именно за это он подвергает его критике. Следовательно, учение Полибия о смешанной форме государственного устройства зиждется, с одной стороны, на критике старого полисно-автаркистского идеала, а с другой — на пропаганде трансформированной идеи «всемирного» братства, т. е. новой государственной формы, исторически воплотившейся в римской державе.

²⁷ *Polyb.*, VI, 49.

²⁸ *Ibid.*, 50.1—4.

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РИМСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Процесс проникновения эллинистических влияний в Рим, как уже говорилось, нельзя рассматривать как мирное и идиллическое их приятие, как эпитонство и подражательность. Это был процесс борьбы, освоения, переработки, сплавления, взаимных «уступок». Пока эллинистические влияния оставались чужеземным продуктом, они наталкивались и не могли не наталкиваться на стойкое, иногда даже ожесточенное сопротивление. Эллинистическая культура, собственно говоря, лишь тогда и оказалась принятой обществом, когда она, наконец, была преодолена как нечто чуждое, когда она вступила в плодотворный контакт с римскими самобытными силами.

О всех этих процессах до сих пор речь шла в общем виде. Целесообразно проследить их развитие в какой-нибудь отдельной области римской культуры. Нам представляется, что это можно сделать на материале римской историографии, рассмотрев некоторые ее основные черты и тенденции развития.

Обычно римскую историографию изучают в тесной связи с историографией эллинистической и даже на ее фоне. Это закономерно — подобного рода сопоставления, реминисценции, отсылки неизбежны; но нам хотелось бы сразу подчеркнуть, что мы не собираемся злоупотреблять этим «фоном». Наоборот, мы попытаемся подойти к интересующему нас вопросу, так сказать, с «римской стороны».

Высказанное намерение, очевидно, прежде всего обязывает стремиться не к тому, чтобы выяснить отдельные, особые черты тех или иных римских историков (в отношении анналистики это вообще едва ли возможно), но к тому, чтобы попытаться нащупать то общее, что их объ-

единяет, что характерно для большинства и что в конечном счете отличает, отделяет их от историков эллинистических.

Таким образом, речь пойдет о некоторых общих тенденциях, о некоторых принципиальных установках римских историков или римского «историописания».

Еще одна необходимая оговорка. Если иметь в виду развитие римской историографии от III в. до н. э. до последних десятилетий Республики, то римская историография второй половины I в. до н. э. считается обычно «зрелой» историографией. Причем нередко можно столкнуться с противопоставлением этой «зрелой» историографии более ранним историческим трудам, исторической литературе, которую принято именовать римской анналистикой. Однако, на наш взгляд, подобное противопоставление едва ли правомерно.

Оно неправомерно в первую очередь потому, что неточно: понятие «анналистика» никак не покрывает собой всей ранней римской историографии, даже в чисто жанровом отношении. Задолго до второй половины I в. до н. э. римская историческая литература была представлена не только такими трудами, которые назывались *Annales* (или *Historiae*) и которые по существу могли быть отнесены к анналистическому жанру, но и такими, которые уже следовало причислить или к жанру исторической монографии (например, сочинение Целия Антипатра о II Пунической войне), или к жанру мемуаров и автобиографий (например, сочинения Эмилия Скавра, Катутла, Рутилия Руфа, Суллы).

Противопоставление «зрелой» историографии анналистике (или вообще всей ранней историографии) неправомерно еще и потому, что едва ли возможно обнаружить какое-то принципиальное, качественное различие между этой ранней и «зрелой» историографией. С нашей точки зрения, последняя представляет собой не только дальнейшее развитие возникших в более ранние времена исторических жанров и направлений, но и развитие основных принципов, норм, теоретических положений, известных еще самим анналистам. Даже те положения, которые как будто новы, на самом деле — пусть недостаточно осознанно или без достаточно точных формулировок — присутствуют в «скрытом виде» в трудах более ранних авторов. (Сказанное нельзя, конечно, понимать в том смысле, что

мы вообще не признаем никаких различий между аналитикой и более поздней римской историографией.)

Один из наиболее наглядных примеров «преемственности идей» — вопрос о месте истории в системе духовных ценностей римского общества. Хотя некоторые конкретные высказывания по этому поводу должны быть приурочены к сравнительно позднему времени, есть все основания утверждать, что отношение образованного римлянина к занятиям историей (или философией, или литературой и т. п.) едва ли претерпело сколько-нибудь существенные изменения за те полтора-два (примерно) лет, что отделяют Фабия Пиктора и его эпоху от эпохи Цицерона — Саллюстия.

Это отношение хорошо известно. Во-первых, отнюдь не случайно приведенное сопоставление истории с литературой (и философией). В отличие от развития права и связанного с ним ораторского искусства история весьма медленно достигала зрелости и издавна считалась как бы особой ветвью литературы¹. Даже в эпоху Империи (например у Квинтилиана) можно встретить утверждение о близости истории к поэзии. С другой стороны, Цицерон, возражая в свое время против подобного сближения, рассматривал историю как некий раздел ораторского искусства, только еще недостаточно у римлян развитый².

Не могло быть и речи о какой-либо сопоставимости по значению между занятиями историей (литературой, философией и т. п.) и государственной деятельностью. Изучение подобных дисциплин или занятие ими входило в лучшем случае в качестве существенного элемента в подготовку к деятельности на поприще *res publica* либо — но это уже в худшем случае — было занятием в период досуга (часто вынужденного, как, например, у Цицерона) от государственных дел и обязанностей. Историей, конечно, мог заняться и римский сенатор, т. е. государственный деятель, но, как правило, к концу политической карьеры, к старости, да и то с вполне определенной целью, связанной опять-таки с интересами и благом государства. Именно так поступали в свое время самые ранние римские историки Фабий Пиктор и Катон: первый в целях пропа-

¹ Syme R. Sallust. Berkeley and Los Angeles, 1964, p. 46.

² Cic., De leg., I, 5; cp. De orat., II, 51; 55; 62.

ганды римского могущества за рубежом, второй — для продолжения борьбы с политическими противниками³.

В эпоху Цицерона — Саллюстия положение почти не изменилось. Исторические или философские штудии по-прежнему рассматривались лишь как слабый заменитель политической деятельности. Если по тем или иным причинам форум и курия оказывались недоступны, оставалось волей-неволей «заниматься наукой» и хотя бы этим служить государству⁴. Мы знаем, что Цицерон допускал занятия философией лишь как *otium* и оправдывал их вынужденной политической бездеятельностью⁵. В полном соответствии с изложенными выше установками он рекомендовал своему сыну изучать философию, но жизнь строить все же по римским образцам и традициям⁶.

Что касается истории, то Цицерон, считая ее, как уже отмечалось, отраслью ораторского искусства, вместе с тем подчеркивал, что, в отличие от греков, в Риме никто не мыслит, да и в его время не мыслит о применении красноречия в какой-либо иной области, кроме судебной или политической. У греков же, напротив, самые красноречивые люди, удаляясь от судебных дел, охотно посвящали себя иным и не менее достойным занятиям, в особенности занятиям историей⁷.

Да и для Саллюстия обращение к теоретическим занятиям, к истории было лишь горькой необходимостью. Оно обуславливалось его неудачами на политическом поприще, его разочарованием, его отходом от «политики». Но, несмотря на все это, он отчетливо сознавал и подчеркивал, что далеко не равная слава окружает того, кто пишет историю, и того, кто ее творит⁸.

Если занятия историей признавались в Риме заслуживающими внимания и уважения всего лишь постольку, поскольку они могли быть обращены на благо государства, то очевидно, что каждый римский историк писал, имея перед собой вполне определенную задачу. Как в свое время таблицы понтификов служили сугубо практическим и

³ Latte K. Sallust. — «Neue Wege zur Antike», II. Reihe, 1935, H. 4, Leipzig — Berlin, S. 50—51.

⁴ Latte K. Op. cit., S. 54.

⁵ Cic., Ad fam., IX, 2. 5.

⁶ Cic., De off., I, 1; cp. De fin., I, 1; De nat. deor., I, 6.

⁷ Cic., De orat., II, 55.

⁸ Sall., Cat., 3.

даже «злободневным» целям, так и римские историки, начиная со старших анналистов и кончая (для интересующего нас времени) Саллюстием и Цицероном, писали свои труды не столько ради прошлого, сколько ради настоящего и даже будущего, стремясь именно таким путем активно содействовать — в соответствии, конечно, со своими политическими взглядами и симпатиями — благу *res publica*.

В результате этих устремлений возникают некоторые общие почти для всех без исключения римских историков политические «установки». Это прежде всего обращенность к современности, сознательная и определенная на нее нацеленность. Подобную сторону дела следует подчеркнуть, тем более что она не всегда оценивается должным образом. Напротив, существует взгляд, согласно которому характерной чертой римской историографии вплоть до Тацита следует считать традицию изложения событий «с самого начала», т. е. *ab urbe condita*. По сравнению с этой традицией (или манерой) все остальные «формы» римской историографии объявляются даже «вторичными»⁹.

Однако с такой точкой зрения едва ли можно согласиться. Не говоря уже о трудах «зрелой» историографии, где изложение событий *ab urbe condita* лишь пережиточно и рудиментарно сохраняется в виде более или менее пространных исторических экскурсов, мы и в произведениях самих анналистов можем констатировать определенную нацеленность на современность. В ряде случаев нам известно, что внутреннее построение трудов анналистического жанра было неравномерным: события более далекого прошлого излагались, как правило, сравнительно бегло, и чем ближе подходил анналист к своему времени, тем обстоятельнее становились и изложение, и освещение материала. Таковы, во всяком случае, наши сведения о трудах даже самых ранних анналистов, начиная с Фабия Пиктора¹⁰.

Следующая, быть может, прямо не высказанная и четко не сформулированная, но вместе с тем достаточно ти-

⁹ Knoche U. Das historische Geschehen in der Auffassung der älteren römischen Geschichtsschreiber. — «Neue Jahrbücher für Antike und deutsche Bildung», 1939, H. 7, S. 291.

¹⁰ Dionys., I, 62.

пичная и уже не раз отмечавшаяся¹¹ установка римской историографии состоит в том, что, по существу, излагается лишь история Рима. Вниманием и интересами каждого римского историка безраздельно владеет история его родного города, его государства. Если по ходу дела он вынужден коснуться какой-то другой страны или народа, то подобного рода материал имеет всегда вспомогательное значение — как правило, это сравнительно краткие экскурсы, вводимые лишь для того, чтобы лучше уяснить основной сюжет, т. е. опять-таки некий аспект или некий раздел римской истории.

Эта установка римских историков, безусловно, ограничивала их собственный кругозор, сужала используемый ими материал, не позволяла им подойти к освещению и оценке событий с всемирно-исторической точки зрения.

В какой-то мере это был шаг назад для античной историографии в целом. Не говоря уже о философских концепциях эпохи эллинизма и всемирно-историческом аспекте труда Полибия, следует отметить, что подобный принцип ограничения материала был совершенно чужд и более ранним греческим историкам, в том числе Геродоту¹². Еще в древности «отца истории» восхваляли за то, что он «решился написать о делах не одного государства, и не одного народа, но соединил в своем изложении многочисленные и разнообразные рассказы, европейские и азиатские»¹³. Это писал Дионисий Галикарнасский, который, кстати сказать, ставил Геродота выше Фукидида. За те же самые качества Плутарх, напротив, порицал Геродота, обвинял его в том, что он в целом ряде случаев обеляет варваров, перелагая вину на греков, и даже называл его φιλοβάρβαρος¹⁴.

Итак, римские историки занимались римской историей в самом тесном смысле слова. Более того, они интересовались главным образом, если не исключительно, политической историей Рима. Не говоря уже о трудах анналистов, где этот принцип господствовал почти без исключения (таковым можно, пожалуй, считать лишь «Origines» Катона), мы должны признать, что именно так построено даже

¹¹ Knoche U. Op. cit., S. 289—290.

¹² Ibidem.

¹³ Dionys., De Thucyd., p. 820.

¹⁴ Plut., De malign. Herodoti, 12.

такое сравнительно позднее и своеобразное историческое произведение, как монография Саллюстия о войне с Югуртой. Конечно, в данном случае сам сюжет обязывал автора уделить определенное внимание африканским делам, но тем не менее Африке как таковой посвящался лишь краткий гео- и этнографический экскурс¹⁵, а «неримский» материал вообще вводился, что подчеркивалось Саллюстием, в том минимальном объеме, который оказывался необходимым для уяснения общей картины. Общая же картина была для него именно картиной внешне- и внутриполитической борьбы в римском государстве¹⁶. К. Латте, который детально анализировал композицию книг Саллюстия, в том числе и «Югуртинской войны», показал, что в последней главе этого сочинения Саллюстий дает суммарный обзор положения Рима вовсе не случайно: он хочет таким путем более органично включить описываемые им события в Африке в общий ход римской истории, ибо его, конечно, заботит и волнует не столько судьба Югурты, сколько судьба римского народа, римского государства¹⁷.

Принципиально важным для римской историографии был еще один вопрос, сформулированный — правда, в несколько иной связи — Цицероном: кто есть (или кем должен быть) историк — только ли *narrator* (повествователь о событиях) или же *exornator rerum* (красноречивый рассказчик о них)?

По существу, в данной формулировке Цицерона присутствует в скрытом виде другой, весьма актуальный для определенного — и более раннего — периода развития римской историографии вопрос: что важнее для исторического повествования — точность, правдивость или эффект, сила воздействия? Ответом на этот вопрос может служить младшая анналистика, со всеми ее особенностями и целеустановкой.

Если труды старших анналистов содержали добросовестное изложение событий в их чисто внешней последовательности, изложение традиции, правда, без критической ее оценки, но и без сознательно вводимых «улучшений», то в эпоху младшей анналистики, как хорошо

¹⁵ *Sall.*, Jug., 17—19.

¹⁶ *Ibid.*, 5.

¹⁷ *Latte K. Op. cit.*, S. 34.

известно, историография открыто участвует в борьбе политических групп, причем представители младшей анналистики, как правило, отождествляют интересы своей группировки с интересами государства в целом. Не менее характерен, конечно, и такой прием: проецирование современной им политической борьбы в прошлое, а следовательно, и изображение этого прошлого под углом зрения общественно-политических взаимоотношений современности.

Кроме того, и это тоже широко известно, младшая анналистика всегда находилась под сильным воздействием эллинистической риторики. Одним из первых представителей этого жанра обычно считают Целлия Антипатра, который и утверждал, что в историческом повествовании главное значение имеет сила воздействия, эффект, производимый на читателя. Дальнейшее развитие подобные «установки» получили в исторических трудах Клавдия Квадригария, Валерия Анциата, Лициния Макра и др. У некоторых из них мы наблюдаем попытки возрождения «летописного» жанра, но прежде всего их произведение характеризуются такими типичными для младшей анналистики особенностями, как риторические отступления, вычурность языка, приукрашивание излюбленных героев.

Младшая анналистика в целом — стройное на вид построение, без изъянов, пробелов и противоречий; на самом же деле — построение в значительной мере искусственное, где исторические факты тесно переплетаются с легендами и вымыслом и где нередко можно столкнуться с прямой фальсификацией исторического материала в интересах той или иной политической группировки (удвоение событий, перенесение позднейших событий в более раннюю эпоху, заимствование фактов из греческой истории, искажения, умолчания и т. п.).

В этой связи и был весьма актуален сформулированный Цицероном вопрос об *exornatores* и *narratores*. Сам Цицерон отдавал, конечно, предпочтение тем, кого можно было назвать *exornatores*, о чем свидетельствует его довольно пренебрежительный в данном контексте отзыв о Фабии Пикторе, Писоне и даже Катоне¹⁸, которого во всех остальных отношениях он ставил весьма высоко. Что касается понимания Цицероном термина *exornator*, то он,

¹⁸ *Cic., De orat., II, 53—54.*

видимо, как и полагается оратору, имел в виду «украшение» стиля, яркое и красноречивое описание событий. Недаром слово *exornatio* было довольно распространенным *terminus technicus* в учебных пособиях по риторике¹⁹. Во всяком случае, в своих принципиальных рассуждениях о задачах историка Цицерон не допускал приукрашивания (а следовательно, извращения) фактов и событий. Об этом свидетельствует его «минимальное» требование к историку — не быть лжецом (*non esse mendacem*)²⁰, а также знаменитая формулировка основных «законов истории»: «кто же не знает, что первый закон истории — не отваживаться ни на какую ложь, затем — не страшиться никакой правды; писать так, чтобы не дать себя заподозрить ни в сочувствии, ни во враждебности»²¹.

Конечно, надо иметь в виду (и вносить соответственно существенную поправку), что это — наставления, даваемые другим; сам Цицерон едва ли придерживался столь строго провозглашаемых им правил и «законов», в особенности когда речь шла о личных интересах или симпатиях. Например, трудно предположить, что в поэме — правда, не сохранившейся, — «О своем консульстве» (60 г.) он вполне объективно излагал историю своей борьбы с Катилиной; в письмах же к Аттику он, как мы знаем, довольно откровенно и цинично признавался в разных риторических измышлениях²². Но все это, так сказать, на деле, на словах же он всегда выступал за приверженность к истине.

Собственно говоря, такой же точки зрения на обязанности и задачи историка придерживался и Саллюстий, когда, с одной стороны, говорил, что слава о деяниях отдельных лиц или целых народов зависит от блеска красноречия тех, кто эти деяния описывает²³, а с другой стороны, требовал от историка правдивости и беспристрастия²⁴. По-видимому, такого рода декларативные заявления можно рассматривать как *locus communis* во всех тех

¹⁹ *Rhet. ad Her.*, IV 11; 24; 32 sqq.

²⁰ *Cic.*, *De orat.*, II, 51.

²¹ *Cic.*, *De orat.*, II, 62; «...quis nescit, primam esse historiae legem, ne quid falsi dicere audeat; deinde ne quid veri non audeat; ne quae suspicio gratiae sit in scribendo; ne quae simultatis?»

²² См., например, *Cic.*, *Ad Att.*, I, 14.3—4.

²³ *Sall.*, *Cat.*, 8.

²⁴ *Ibid.*, 4.2—3.

случаях, когда римские историки вообще принимались рассуждать на подобные темы.

Таковы, пожалуй, наиболее типичные — сформулированные и несформулированные — принципиальные установки римской историографии. Если кратко резюмировать все изложенное выше, то следует признать, что эти установки были в первую очередь обусловлены тем значением, тем местом, которое занимала история в системе духовных ценностей римского общества. Затем, как мы уже могли убедиться, анналисты и более поздние историки писали всегда с четко определенной политической целью, чтобы их труд послужил благу *res publica*. Отсюда — обращенность к современности, преимущественный интерес к событиям, свидетелем или даже участником которых был сам автор.

С этим связана такая, упоминавшаяся уже специфическая черта римской историографии, как романоцентризм. Внимание анналистов и историков привлекала лишь история римского государства как такового, лишь римский народ представлялся им субъектом мирового исторического процесса. Что же касается проблемы *exornatio*, то, отдавая ей должное, римские историки — быть может, за исключением лишь младших анналистов — всегда заверяли в своем стремлении к точности и правдивости, всегда говорили о необходимости вести историческое повествование беспристрастно — *sine ira et studio*.

Хотелось бы подчеркнуть еще один существенный момент. В политических тенденциях, берущих свое начало в старшей анналистике, уже дает о себе знать определенное направление, которое своим основным лозунгом делает лозунг борьбы за общегражданские, общепатриотические интересы. Пусть чрезвычайно слабо, но все же этот лозунг уже отражен в романоцентристских установках ранних анналистов.

С другой стороны, в политических тенденциях, заложенных в младшей анналистике, обнаруживается иное, враждебное первому направлению, которое в качестве своего кредо провозглашает лозунг борьбы за групповые, «партийные» интересы определенных кругов римского общества. Этот лозунг — пусть тоже еще в зачаточном состоянии — выражается в младшей римской анналистике, недаром она возникает в эпоху Гракхов: в особенностях жанра, в ее зависимости от эллинистических влияний

(причем эти влияния, несомненно, были более глубокими, чем те, под воздействием которых находились не только старшие анналисты, но, как правило, и более поздние римские историки).

Все эти установки, имеющие определенное теоретическое и принципиальное значение, пожалуй, можно отнести к римской историографии в целом (если иметь в виду ее развитие от времен старших анналистов до второй половины I в. до н. э.). Поэтому целесообразно бы познакомиться с воззрениями на историю (точнее — на историографию, т. е. на «историописание») двух наиболее видных представителей интеллектуальной жизни Рима конца Республики — Цицерона и Саллюстия. Речь идет в данном случае не об их общих историко-философских воззрениях, но именно об их взглядах на историю как таковую, на ее значение, а также на те «правила», принципы, установки, которыми должен, с их точки зрения, руководствоваться каждый, кто собирается изучать историю.

Каково отношение к этому вопросу Цицерона? Оно вытекает из основной для него посылки: может ли оратор писать историю? Ответ, конечно, звучал положительно, более того — в трактате «Об ораторе» наряду с кратким, но выразительным панегириком истории подчеркивалось, что именно голосом оратора история приобщается к бессмертию²⁵. В том же диалоге (несколько ниже) обширный экскурс, посвященный развитию римской историографии и сравнению римских анналистов с греческими авторами, построен был по существу как ответ на такой же вопрос. Однако сам вопрос формулировался не так, как ранее (т. е. может ли оратор «писать историю»), а по-иному: можно ли вообще заниматься историей, не будучи оратором, не обладая соответствующими данными и подготовкой?²⁶

Все последующее изложение и должно было доказать, что история (т. е. «историописание») развивается и совершенствуется в зависимости от развития риторики, красноречия. Если римские анналисты по сравнению с греческими авторами примитивны, неумелы и даже скучны, то это лишь потому, что они еще не овладели искусст-

²⁵ *Cic.*, *De orat.*, II, 36.

²⁶ *Ibid.*, II, 51.

вом речи. Но ведь и греки находились некогда на таком же низком уровне ²⁷.

Когда после развернутой оценки Фукидида и его последователей Цицерон в своем трактате возвращается к вопросу об истории, то дальнейшее рассуждение строится им применительно к задачам и возможностям опять-таки оратора ²⁸. И наконец, в диалоге «О законах» снова сказано, что занятия историей — труд, наиболее подходящий для оратора; более того, участники диалога признают этот труд долгом и почетной обязанностью самого Цицерона ²⁹.

О несопоставимости для Цицерона занятий историей с государственной деятельностью уже говорилось. Но если иметь в виду *otium* и приличествующие ему научные штудии, то история может занять свое вполне почетное место. Недаром тому же Цицерону принадлежат знаменитые слова: «История поистине свидетель времени, свет истины, жизнь памяти, наставница жизни, вестница прошлого» (*historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis*) ³⁰.

В одном из своих более поздних произведений, в диалоге «Оратор», Цицерон высказывает мнение, что человек, не интересующийся прошлым, обречен как бы на вечное детство. Что есть жизнь человека, если не связывать память о прошлом с недавними событиями? Воспоминания древности, авторитетность ее примеров — неисчерпаемый клад мудрости, достоинства, образцов для подражания ³¹.

Историю никоим образом нельзя сблизить с поэзией, поскольку главная задача поэзии — доставлять людям удовольствие, в историческом же повествовании все должно быть направлено на то, чтобы сообщить им правду. Поэтому в этих двух различных сферах действуют совершенно различные законы ³². Какими именно законами должен руководствоваться историк, Цицерон, как мы могли убедиться выше, блестяще сформулировал в трактате «Об ораторе», когда он призывал историка иметь мужество отстаивать в любых условиях правду.

²⁷ *Cic.*, *De orat.*, II, 51—55.

²⁸ *Ibid.*, II, 62.

²⁹ *Cic.*, *De leg.*, I, 5.

³⁰ *Cic.*, *De orat.*, II, 38.

³¹ *Cic.*, *Orat.*, 120.

³² *Cic.*, *De leg.*, I, 5.

Говоря об этом как о важнейших *leges historiae*, Цицерон давал затем ряд принципиально важных наставлений историку и оратору. Материалом для них обоих всегда служат факты и слова. Изложение фактов требует прежде всего точной временной локализации, описания места действия. Кроме того, когда речь идет о значительных и важных событиях, то читатель (или слушатель) хочет выяснить сначала намерения, затем — действия и, наконец, следствия, и потому историк (оратор) обязан удовлетворять возникающий интерес в определенной последовательности. Он должен начинать с изложения своей точки зрения на намерения действующих лиц; говоря же о действиях, он обязан осветить не только то, что было сделано или сказано, но и как было сделано, а переходя к следствиям, необходимо вскрыть и все причины — как случайные и безотчетные, так и предусмотренные разумом. Нельзя также удовлетвориться рассказом только о деяниях выдающихся личностей; этого совершенно недостаточно — следует еще обрисовать их жизнь и их характер.

Что касается самой манеры изложения, т. е. уже не «фактов», но «слов», то она должна быть спокойной и непринужденной, поток красноречия — плавным, без суровости судебного разбирательства и без непоколебимости судебного приговора. К сожалению, об этом нигде, ни в каких пособиях для ораторов ничего не говорится, так же как и по поводу многих других обязанностей оратора, например умения убеждать, утешать, наставлять, предупреждать³³.

Эти «наставления» Цицерона, думается, чрезвычайно важны и интересны хотя бы уже потому, что позволяют взять под сомнение тот весьма распространенный взгляд, согласно которому римским историкам был чужд так называемый «прагматический» подход Полибия. Их будто бы занимало и интересовало лишь освещение фактической истории событий, анализу внутренних связей и причин римская историография не уделяла якобы почти никакого внимания³⁴. В виде исключения упоминают обычно лишь Семпрония Азеллиона. Но если иметь в виду приведенные высказывания Цицерона, то фигура Азеллиона уже не кажется столь исключительной и одинокой,

³³ *Cic.*, *De orat.*, II, 63—64.

³⁴ *Knoche U. Op. cit.*, S. 291.

а его заявление в предисловии к своему труду: «Недостаточно изложить только то, что было сделано, но еще следует показать, с какой целью и по какой причине это было совершено»³⁵ — близко перекликается с основными мыслями, развитыми в «наставлениях» Цицерона.

Каковы воззрения на историю другого выдающегося представителя интеллектуальной жизни Рима позднереспубликанской эпохи — Саллюстия? В отличие от Цицерона для него история отнюдь не представляется лишь каким-то разделом риторики, но имеет вполне самостоятельное существование и значение, хотя Саллюстий тоже весьма высоко ценит красноречие, силу словесного выражения³⁶. В этом подходе ощущаются, пожалуй, некоторые зачатки «профессионализма». Если Цицерон — оратор, который в определенных условиях может заняться историей (и считает это для *otium* вполне достойным занятием), то Саллюстий волею обстоятельств — историк, но историк, понимающий все значение ораторского искусства. Между этими двумя позициями существует все же некое довольно существенное различие.

Уже говорилось о том, что обращение Саллюстия к занятиям историей было обусловлено его неудачами, его разочарованием в политической деятельности. Он сам это подчеркивал неоднократно³⁷. Что касается его принципиального отношения к истории, то, хотя у него и не встретить таких пышных восхвалений истории, как у Цицерона, по существу он относится к занятиям историей, быть может, более серьезно и опять-таки более «профессионально», считая, что «из прочих занятий человеческого ума особенно полезно увековечение памяти о событиях» (*ex aliis negotiis, quae ingenio exercentur, in primis magno usui est memoria rerum gestarum*), хотя, конечно, и для него это по значению не сопоставимо с государственной деятельностью³⁸.

Говоря о специфических трудностях, стоящих перед каждым историком, Саллюстий отмечает прежде всего значение словесного выражения, которое должно соответствовать величию описываемых событий. Но трудность

³⁵ *Gell.*, V, 18.8—9.

³⁶ *Sall.*, *Cat.*, 3.2; 8.3—4.

³⁷ *Ibid.*, 3.3—5; *Jug.*, 3—4.

³⁸ *Sall.*, *Jug.*, 4.1—3.

работы историка заключается еще и в том, что, когда он порицает дурные поступки, это приписывают обычно его зависти и злонамеренности, если же он говорит о славе и подвигах доблестных людей, всякий верит лишь тому, на что способен сам, а прочее считает вымыслом³⁹. Интересно, что данное рассуждение Саллюстия оказывается реминисценцией из Фукидида (речь Перикла при погребении павших воинов), причем местами почти в дословном пересказе⁴⁰.

К общим воззрениям Саллюстия на историю можно отнести и вопрос о выборе жанра. Саллюстий не раз⁴¹ высказывает свое предпочтение жанру исторической монографии, сообщая, что будет описывать деяния римского народа по отдельным эпохам или крупнейшим событиям (он называет это *scriptum perscribere*). Кстати сказать, подобная склонность обнаруживается и у Цицерона, когда при обмене мнениями участников диалога «О законах» по вопросу о том, как следует писать исторический труд — по образцу ли анналов, т. е. начиная «от Ромула», или сразу приступать к изложению современных событий, берет верх именно вторая (т. е. «монографическая») точка зрения⁴².

Об отношении Саллюстия к проблеме *exornatio* уже говорилось. Небезынтересно, пожалуй, отметить лишь один нюанс. У Саллюстия получается так, что «отход от политики», который он, как мы знаем, переживал весьма болезненно, тем не менее есть наилучшая предпосылка для правдивого и беспристрастного освещения событий. Во всяком случае, он сам подчеркивает, что, освободившись от надежд, страхов и «партийной» борьбы, связанной с государственными делами и карьерой (*quod mihi a spe, metu, partibus reipublicae animus liber erat*), он именно поэтому и получил возможность наиболее правдиво (*verissime*) рассказать о заговоре Катилины⁴³. Вместе с тем, по его мнению, благодаря таланту историка и яркости изложения значение событий и деяний исторических лиц может оказаться весьма преувеличенным. Поэтому как уже указывалось, очень многое, если не все, в историческом повествовании зависит от мастерства изображе-

³⁹ *Sall., Cat.*, 3.2.

⁴⁰ См. *Thuc.*, II, 35.2.

⁴¹ *Sall., Cat.*, 4.2; *Jug.* 5.1.

⁴² *Cic., De Leg.*, I, 8.

⁴³ *Sall., Cat.*, 4.2—3.

ния⁴⁴. В высказываниях подобного рода содержится, пусть в зачаточном состоянии, определенное сомнение в познаваемости исторического факта как такового.

Существенное значение в теоретических воззрениях Саллюстия имеет его представление о роли личности в истории. Этот вопрос, поскольку он относится к выяснению историко-философской концепции Саллюстия, в свое время был разобран нами достаточно подробно⁴⁵. Поэтому ограничимся лишь указанием на то, что вера в решающую историческую роль выдающейся личности может быть признана характерной чертой всей античной, в частности римской, историографии. У Саллюстия она проступает необычайно ярко, быть может, даже ярче, чем у ряда других историков. Недаром он уверяет, что после долгих размышлений пришел к выводу о том, что всеми своими достижениями и блестящими подвигами римский народ и римское государство обязаны доблести лишь нескольких выдающихся мужей⁴⁶. Кстати сказать, в этом состоит принципиальное расхождение Саллюстия с Цицероном. Последний, присоединяясь к взглядам Катона, настоятельно подчеркивал, что величие и прочность римского государства, в отличие от иных, не есть результат деятельности отдельных лиц, но итог постепенного и длительного общественного развития⁴⁷.

Правда, утверждения самого Саллюстия о выдающейся роли личности в значительной мере ослабляются его собственными неоднократными высказываниями относительно всеобщего случая, фортуны⁴⁸. Но это уже другой вопрос, и он также уже рассматривался нами⁴⁹.

В заключение — самые краткие выводы. Общий обзор римской историографии III — I вв. до н. э. позволил выявить некоторые ее характерные черты. В основном в данном обзоре мы обращали внимание на те особенности, которые имеют «чисто римское» происхождение, специфичны для развития именно римской историографии (в

⁴⁴ *Sall., Cat.*, 8,2—4.

⁴⁵ *Утченко С. Л.* Историко-философские воззрения Саллюстия. — «*Studi clasice*», III. București, 1961, с. 271—279.

⁴⁶ *Sall., Cat.*, 53,2—4.

⁴⁷ *Cic., De rep.*, II, 2.

⁴⁸ *Sall., Ep.*, II, 1; 13; *Cat.*, 8,1; 10,1; *Jug.*, 1.

⁴⁹ *Утченко С. Л.* Историко-философские воззрения Саллюстия, с. 277—278.

отличие от эллинистической). Таким путем были определены общие политические цели и установки римских историков.

Следует сделать и некоторые более частные выводы. Так, если сравнить концепции Цицерона и Саллюстия, то бросается в глаза близость теоретических посылок обоих авторов. Во всяком случае, ни о каком антагонистическом противополжении двух концепций не может быть и речи, существуют лишь незначительные расхождения.

Интересно и другое. Есть, на наш взгляд, все основания говорить об отсутствии принципиальных различий или противоречий между исторической концепцией Цицерона — Саллюстия, с одной стороны, и общими тенденциями более ранней римской историографии, с другой. Почти все отмеченные нами теоретические положения как Цицерона, так и Саллюстия о значении истории или о задачах и обязанностях историка выдвигались уже анналистами. Все дело в том, что они не всегда были достаточно четко сформулированы.

Наконец, перечисленные выше особенности и характерные черты римской историографии позволяют, как нам кажется, прийти к определенному выводу относительно ее необычайной «цельности», скорее даже, — ограниченности и консервативности. Это становится особенно наглядным, если иметь в виду использование римскими историками определенных и уже «устоявшихся» приемов, принципов и тенденций «историописания». Кстати сказать, перспективный взгляд на дальнейшее развитие историографии в Риме (что, конечно, далеко выходит за пределы нашей темы), может лишь подтвердить все изложенное выше на целом ряде новых и достаточно убедительных примеров. Говоря иными словами, мы склонны утверждать, что некая сумма принципов и теоретических «установок» римских историков остается стабильной (и даже почти неизменной) вплоть до конца существования древнеримской историографии.

Казалось бы, на этом можно завершить наше рассуждение о некоторых тенденциях развития римской историографии. Но возникает закономерный вопрос: каково соотношение между отмеченными тенденциями и политическими учениями? Быть может, такие явления, как обращенность историков к современности, их романоцентризм, не говоря уже о высказываниях, касающихся

роли личности в истории, есть основания рассматривать как своеобразные политические теории?

Едва ли это так. Скорее всего, мы здесь имеем дело не с какими-то разработанными и «стройными» теориями, но с определенными политическими воззрениями, «установками», которые в дальнейшем своем развитии приводят к формированию подобных учений, содействуют их зарождению. Так, без романоцентристских установок было бы невозможно применение учения о наилучшем государственном устройстве к римской действительности, без определенного представления о роли личности в истории невозможно возникновение учения об идеальном гражданине и идеальном правителе. Таким образом, между тенденциями развития римской историографии и формированием политических учений Рима существует прямая, непосредственная связь.

УЧЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Говоря об античных теориях происхождения государства и права, мы должны во избежание недоразумений сразу же оговориться, что, имея дело с древними авторами, мы не можем приписывать им понятие «государство» в современной его трактовке. Фактически при изложении мыслей этих авторов слово «государство» условно подставляется — в силу укоренившейся традиции — на место античных терминов ἡ πόλις, civitas и т. п.

С учетом этой существенной оговорки мы получаем право сказать, что проблема различных форм человеческого общежития, проблема возникновения государства занимала эллинскую политическую мысль с древнейших времен. Причем возникновение государства всегда связывалось в той или иной степени с возникновением права. Мы уже могли убедиться в существовании теснейшей неразрывной связи понятий «государство» (ἡ πόλις) и «справедливость» (ἡ δικαιοσύνη) для Платона; чем-то само собой разумеющимся эта связь была и для Аристотеля. Он писал: «Понятие справедливости связано с представлением о государстве, ибо право, которое служит критерием справедливости, выступает как регулирующая норма политического общения»¹.

В развитии античных представлений о происхождении государства и права четко прослеживаются, на наш взгляд, две принципиально различные традиции: а) мифопоэтическая и б) историко-философская (т. е. «научная»). Что же знаменуют собой эти традиции? Идет ли в данном случае речь о двух различных моделях мира, двух различных мировосприятиях, которые возникают и

¹ *Arist., Pol.*, I, 1.12 (1253 a 37 sq.).

развиваются параллельно, не перекрещиваясь друг с другом, или эти две линии где-то встречаются и одна из них закономерно переходит в другую? Подобный вопрос заставляет нас обратиться к гораздо более широкой и общей проблеме. Она формулируется так: каково взаимоотношение философского и дофилософского сознания, т. е. образа и понятия, мифа и логоса, субъективной веры и объективного (научного!) знания². Известны точки зрения, выводящие греческую философию из мифа и религии, но известно также, что, например, К. Леви-Стросс считал переход от мифологии к философии всего лишь исторической случайностью³. Поэтому нам представляется, что развитие античных воззрений на происхождение государства и права может послужить не только примером, но в известной мере ответом на сформулированную выше проблему.

Мифо-поэтическая традиция, как и следовало ожидать, древнее традиции философско-исторической — она восходит к Гесиоду. Мы имеем в виду знаменитую концепцию «пяти веков», пяти этапов развития человечества: золотой, серебряный, медный века, век героев и, наконец, железный век⁴. Каждый из пяти веков и соответствующее ему поколение людей — творение богов; смена этих веков и развитие форм человеческого общежития также происходит при их непосредственном участии, причем, строго говоря, ни для одного из пяти этапов развития Гесиод не дает четкого определения общественных форм и отношений (если не считать более определенного, но крайне пессимистического изображения картины железного века).

Следует, пожалуй, сразу же подчеркнуть то любопытное обстоятельство, что ни у кого из последующих эллинских поэтов, ораторов или философов мы не встречаем такой систематически изложенной концепции развития человеческого общества. Упоминания о «золотом веке» неоднократны, иногда речь идет о его более или менее точной временной локализации (как правило, в весьма отдаленном прошлом), но развернутой цельной концепции, подобной Гесиодовой, мы больше не знаем.

² Кессиди Ф. Х. От мифа к логосу. М., 1972, с. 102 слл.

³ Lévi-Strauss C. La pensée sauvage. Paris, 1962, p. 155 sqq., 349.

⁴ Hes., Erg., 109—201.

И тем не менее подобное представление продолжало жить. Доказательством того, что оно пережило века, служит, во всяком случае, в сфере поэзии, возрождение Гесиодовой схемы в «Метаморфозах» Овидия. Правда, еще до них яркую картину золотого века изобразил в своей четвертой эклоге Вергилий. Но детальной характеристики этапов развития человеческого общества это произведение, как известно, не дает. Мы не будем на нем останавливаться, отметим лишь, что самое замечательное в трактовке темы золотого века Вергилием заключается, пожалуй, в том, что подлинный золотой век автор видит не в прошлом, а в будущем. Это, несомненно, явное нарушение стойкой мифологической традиции.

Развернутую систематику истории человечества после Гесиода мы, действительно, находим только в «Метаморфозах». Внешнее отличие от первоначальной схемы заключается в том, что Овидий говорит только о четырех веках — век героев исключен из общей эволюции. Золотой век, как и у Гесиода, создан еще Кроносом (Сатурном), все остальное — властителем мира Зевсом-Юпитером. Описание каждого из четырех веков в общем близко к Гесиодову, но, пожалуй, можно отметить более конкретные «приметы» того или иного этапа: для золотого века подчеркивается отсутствие законов (права), мирная и счастливая жизнь, для серебряного — появление жилищ, возникновение земледелия, для медного — жестокие войны. Как и у Гесиода, железный век изображается в весьма мрачных красках: стыд, правда, верность заменены обманом, насилием, коварством, возникла и развилась «проклятая страсть к обладанию», появились мореплавание, торговля, собственность на землю, люди проникли в земные недра — начали добывать железо и золото. Все это привело и приводит к войнам, грабежам, развитию алчности, распаду дружеских и даже родственных связей — не стало больше в этом мире справедливости⁵. Как известно, в «Метаморфозах» вслед за описанием четырех веков идет рассказ о потопе, а затем о Девкалионе и Пирре⁶.

Но все это — чисто внешние особенности. Более глубокие и более принципиальные отличия заключаются в

⁵ *Ovid.*, *Met.*, I, 89—150.

⁶ *Ibid.*, I, 260—415.

том, что изменилась сама функция мифа. Если миф о смене веков в «Трудах и днях» отражает пусть наивное, но субъективно подлинное восприятие мира, то у Вергилия и Овидия он, несомненно, использован уже в качестве определенного приема. Для Вергилия описание золотого века — способ прославить правление Августа, даровавшее столь желанный мир после стольких лет изнурительной гражданской войны, и потому он так смело и решительно нарушает существующую традицию и переносит золотой век в будущее.

Для Овидия, который считал, что боги, как и мифы о них, созданы с целью устрашения толпы¹, рассказ о смене веков — всего лишь литературный сюжет с менее четко выраженной, хотя и не совпадающей с Вергилиевой, политической направленностью. Если же иметь в виду мировоззренческую основу «Метаморфоз», то речь может идти о довольно поверхностных умозрительных построениях неописифагорейского толка в красочной оболочке мифа. Таким образом, на примере развития Гесиодовой концепции нетрудно убедиться в том, как миф из мироощущения превращается фактически в литературный прием, что и свидетельствует о вырождении мифа, о переходе от мифа к логосу, от образа (поэтического) к понятию (научному).

Сходный процесс можно проследить на примере другого мифологического сюжета. Мы имеем в виду знаменитую концепцию истории человечества, изложенную софистом Протагором (если только считать, что она адекватно передана Платоном!). В интересующем нас плане весьма симптоматично вводное замечание самого Протагора, который говорит о возможности изложить свою концепцию либо в форме рассуждения («логоса»), либо в форме мифа.

Предпочтя эту вторую форму, он излагает миф о Прометее и Эпиметее. После того как Прометей даровал человеку огонь, человек стал причастен божественному уделу, стал признавать богов и воздвигать им алтари, овладел искусством речи, научился строить жилища, шить одежду и обувь, добывать из земли пропитание. Однако люди жили разбросанно, не имели городов, были слабее зверей и

¹ *Ovid., Ars am., I, 637 sq.*

часто погибали от них. Они еще не владели искусством жить в обществе, поэтому все попытки собираться вместе и спастись от зверей, строя города, оканчивались неудачей. Люди непрестанно враждовали друг с другом, поэтому вновь вынуждены были расселяться и вновь неизбежно гибли.

Тогда Зевс, опасаясь за существование рода человеческого, послал Гермеса к людям, чтобы он ввел у них стыд и правду, «дабы они стали украшением городов и узами дружбы». Причем стыд и правда должны распределяться между всеми людьми, все должны быть им причастны, того же, кто не способен их принять, следует «убивать, как язву общества»^{*}.

В этом построении содержится ряд характерных моментов. Во-первых, первоначальное, естественное состояние людей изображается как разрозненность, взаимная вражда, т. е. как *bellum omnium contra omnes*. Таким образом, естественное состояние — отнюдь не золотой век (что противоречит концепции Гесиода — Овидия). Затем подчеркивается, что общество и государство создаются особым, «политическим» искусством, которое опирается на «стыд» и «правду». Оно не дано от природы, но ему можно и должно научиться. Собственно говоря, весь приводимый Протагором миф и служит доказательством этого тезиса. Но развитие подобных мыслей логически ведет к возникновению в дальнейшем так называемой «договорной теории» происхождения государства. И наконец, если рассматривать миф о Прометее и Эпиметее в целом, то его введение в диалог выступает тоже в качестве определенного литературного приема, что, кстати, оговорено и подчеркнуто самим Протагором.

Что касается последующего развития воззрений на государство и право, то оно протекает главным образом в аспекте историко-философского осмысления. Этот принципиальный поворот прослеживается достаточно рано, в рамках самой софистики (насколько, конечно, об этом мы в состоянии судить на основании крайне фрагментарного материала). Именно софисты (хотя и не Протагор) выдвинули чрезвычайно плодотворную для развития учения о государстве и праве антитезу: *physis* и *nomos*.

^{*} *Plato. Protag.*, 320 c — 322 d.

Нам известны высказывания на эту тему софиста Гиппия. Если в «Гиппии большем» говорится, что законы устанавливаются ради пользы, но, будучи плохо установленными, приносят лишь вред⁹, то в «Протагоре» устами Гиппия подчеркивается, что люди — родственники, свойственники и сограждане по природе, а не по закону, закон же, «будучи тираном над людьми, принуждает их ко многому, что противно природе»¹⁰.

Из этих общих положений Гиппий извлекает далеко идущие выводы. Нельзя, по его мнению, придавать серьезное значение законам и повиновению им, если сами творцы законов часто их переделывают или вовсе отменяют. Истинным законом, очевидно, может считаться лишь тот, который как бы выходит за пределы отдельных государств, одинаков для всех людей и установлен самой природой или богами¹¹. По всей вероятности, естественное право Гиппий и понимал как эти неписанные, дарованные людям богами законы.

К еще более крайним выводам приходили поздние софисты. В «Государстве» Платона достаточно четко сформулированы представления софистов о происхождении права. Поскольку обычно считается, что творить несправедливость хорошо, а терпеть ее — плохо, причем плохого в последнем случае всегда бывает больше, чем хорошего в первом, то люди решили договориться друг с другом относительно того, чтобы не творить несправедливости и не терпеть ее. Так возникают законодательство и взаимный договор. Таково же и происхождение справедливости, которая занимает «среднее место», не есть подлинное благо и по существу весьма условна¹².

В том же диалоге софист Тразимах окончательно развенчивает понятие справедливости: по его утверждению, справедливо то, что угодно сильнейшему, правителю, существующей власти. В конечном счете Тразимах даже приходит к выводу, что «несправедливость достаточно обширная сильнее справедливости», в ней больше власти, свободы, естественности, поскольку справедливость угод-

⁹ Plato. Hipp. mai., 284 d.

¹⁰ Plato. Protag., 337 d.

¹¹ Xen., Mem., IV, 4.14—20.

¹² Plato. Resp., 358 e — 359 a — b.

на сильнейшему, а «несправедливость целесообразна и пригодна сама по себе»¹³.

В «Горгии» софист Калликл (персонаж, возможно, вымышленный), исходя из все той же антитезы *φύσις* — *νόμος*, утверждает, что законы устанавливаются слабыми людьми ради собственной выгоды, людьми, которые считают, что быть выше остальных постыдно и несправедливо, и потому проповедуют равенство. «Но сама природа, я думаю, провозглашает, что это справедливо, когда лучший выше худшего и сильный выше слабого»¹⁴. Отсюда — вывод самого Калликла, а затем и таких более реальных представителей софистики, как Трасимах и Критий, о «сильном человеке», о «праве сильного».

Историко-философский аспект дальнейшего развития представлений о происхождении государства и права становится все более очевидным. Правда, мы почти ничего определенного не можем сказать о взглядах на этот вопрос Сократа. Можно лишь с большой долей вероятности утверждать, что он явно расходился с софистами в одном весьма существенном пункте: признавая, как и софисты, естественное право высшим основанием справедливости, он вместе с тем не противопоставлял *φύσις* и *νόμος* и отождествлял законное со справедливым¹⁵. Сократ был и одним из первых провозвестников лозунга *πάτριος πολιτεία*, хотя его точка зрения на происхождение этого государственного устройства, которое он традиционно относил к отдаленному прошлому, остается нам неизвестной. Что касается мнения Сократа о различных формах правления, то речь об этом пойдет ниже.

Переходя к Платону, следует, очевидно, сразу же отметить, что в споре двух традиций — мифологической и исторической — он представляет собой последнюю фигуру, которая аккумулирует как бы оба эти направления. Он знает и ценит миф, он великолепно использует его¹⁶, в частности неоднократно ссылается на Гесиода¹⁷, однако миф для него уже не мироощущение, но лишь иносказание, т. е. в такой же степени прием, как и для софистов

¹³ Ibid., 338 c; 344 a — c.

¹⁴ Plato. Gorg., 483 b — e.

¹⁵ Xen., Mem., IV, 4, 12; ср. Plato. Apol., 32 b — d.

¹⁶ Plato. Resp., 414 c — 415 c.

¹⁷ Ibid., 377 d — e; 546 d — e.

(кстати, стоит вспомнить, что миф о Прометее и Эпиметее вложен в уста Протагору именно Платоном!). Отношение к мифам достаточно определенно выражено в «Государстве»: «Это, вообще говоря, ложь, хотя есть в них и истина». Значение мифа в основном воспитательное, но и тут не всякий миф пригоден, напротив, большинство рассказываемых ныне мифов следует отбросить¹⁸.

Во всяком случае, в «Государстве», излагая свои соображения о возникновении полиса, Платон не считает нужным прибегать к помощи мифа. Свой тезис о том, что государство создают человеческие потребности, он обосновывает, опираясь на логику и «реалии», т. е. в чисто «научном» плане¹⁹. Еще более явно подобная тенденция проступает в «Законах». В этом произведении довольно подробно и развернуто характеризуются этапы развития человечества от потопа до возникновения государства и права. Справедливость требует отметить, что в том же самом диалоге, хотя и в несколько иной связи, Платон приводит предание о существовании при Кроносе, т. е. в глубочайшей древности, идеального общественного строя и блаженной жизни людей, которым «все в изобилии и само собой доставалось». Царями и правителями в ту эпоху были якобы даже не люди, но некие добрые демоны (οἱ δαίμονες). Они, не затрудняя людей, заботились о них и обеспечивали им мир, изобилие, справедливость. Это была такая счастливая эпоха, которой «лучшее нынешнее государственное устройство» может лишь подражать²⁰.

Однако рассказ об основных этапах развития человечества у Платона фактически никак не связан с названным мифом и разворачивается в конкретно-историческом аспекте. В этом своем рассказе Платон устанавливает три этапа (или «цикла») общественного и культурного развития и дает определенную характеристику каждому из них.

Первый цикл — это «династия» (ἡ δυναστεία), т. е. такая форма общественного бытия, когда люди жили мирно, довольствуясь необходимым, когда не было ни бедных, ни богатых и когда поэтому царили добрые нравы. Писаных законов не существовало, да в них и не было

¹⁸ Plato. Resp., 377 a — 378 e.

¹⁹ Ibid., 369 a — 374 d.

²⁰ Plato. Legg., 713 b — e.

нужды; власть же принадлежала старейшинам родов и была по существу как бы царской²¹.

Второй цикл — это аристократия (ἡ ἀριστοκρατία) или царство (ἡ βασιλεία), т. е. эпоха, когда возникает земледелие, создаются большие поселения, зарождаются законодательство и выборная власть. Очевидно, именно в эту эпоху и складывается государство как таковое²².

Но Платон знает и третий цикл. Государственную форму, характерную для этого периода, он не называет, говоря лишь, что в ней «сливаются все виды и состояния государственных правлений», и ссылаясь на пример основания Илиона²³.

Нас в данный момент интересует не анализ перечисляемых Платоном государственных форм, а сугубо реалистическая и конкретно-историческая ориентация рассуждения о трех циклах развития. Эта направленность ощущалась и была отмечена еще в самой древности. Страбон, упоминая о схеме Платона, считает, что она основана, так сказать, на топографическом принципе. Поскольку три цикла возникают и развиваются у Платона после потопа, то люди, испытывая страх перед наводнениями, первоначально селились на вершинах гор (первый цикл), затем — по склонам гор (второй цикл) и, только окончательно осмелев, — на равнинах (третий цикл). Обоснование, как видим, вполне реалистическое и «научное» (в противоположность мифу!)²⁴.

Окончательно разрывает с мифологической традицией Аристотель. Даже самая его манера изложения материала, его Kathederstil, противопоставлены мифу. Не случаен, видимо, и отказ от формы диалога. «Политика» Аристотеля — научный трактат в современном значении этого понятия.

С самого начала Аристотель подчеркивает естественный характер возникновения государства. Вполне естествен и даже необходим (в целях воспроизведения человеческого рода) союз между мужчиной и женщиной; не менее закономерен для взаимного самосохранения союз между теми, кого сама природа предназначила к господ-

²¹ Ibid., 678 a — 680 e.

²² Ibid., 680 e — 681 d.

²³ Ibid., 681 d — 682 e.

²⁴ Strabo. XIII, 1.25.

ству и к подчинению, т. е. между господином и рабом. Из обоих этих типов объединения возникает первая и основная форма общественного бытия — семья (ἡ οἰκία). Объединение нескольких семей, имеющее прочный, долговременный характер, приводит к возникновению более высокой формы общежития — селения или общины (ἡ κοινότης). Это, по выражению Аристотеля, как бы «колония семьи».

И наконец, объединение ряда селений есть уже объединение вполне завершенное, т. е. высшая форма общественного бытия — государство (ἡ πόλις). Причем государство возникает ради удовлетворения человеческих потребностей (это, так сказать, причина возникновения государства), но существует оно ради достижения благой жизни (это, так сказать, цель существования государства). Аристотель подчеркивает, что государство — продукт естественного развития и человек по природе своей — существо политическое²⁵. Эти положения Аристотеля достаточно хорошо известны, и мы лишь хотим отметить, что выводы о становлении и роли государства привели его к серьезной критике теории государства Платона²⁶.

Кроме того, для нас представляют особый интерес два момента: а) по мнению Аристотеля, государство (полис), будучи по существу такой же формой общественного бытия, как селение (община) или семья, отличается от них степенью развития — только полис представляет собою вполне завершенный и самодовлеющий организм; б) поскольку человек по природе своей есть существо политическое, то люди, даже не нуждаясь во взаимопомощи, инстинктивно стремятся к общению и к упорядоченному сожительству. Для Аристотеля не возникает поэтому противоречия между φύσις и νόμος, и писаное право как регулятор общественной жизни не только не противоречит праву естественному, но есть, как уже упоминалось, «критерий справедливости».

Однако Аристотель расходится с софистами не только в этом пункте. Его ярко выраженное и им самим подчеркнутое представление о естественном характере происхож-

²⁵ *Arist.*, *Pol.*, I, 1,4—9 (1252 a — 1253 a).

²⁶ *Arist.*, *Pol.*, II, 1—3 (1260 b — 1266 a); IV, 3, 12—14 (1291 a — 10 sqq.).

дения государства по существу противоречит столь пространной среди софистов «договорной теории». В целом же его учение о происхождении государства, да и вся его теория государства как таковая, базируется на научной (историко-философской) основе.

Кратким изложением взглядов Аристотеля можно завершить обзор древнегреческих концепций происхождения государства и права и перейти к Риму. Здесь прежде всего придется снова обратиться к Средней (Римской) Стое и ее представителям.

Мы не останавливаемся на воззрениях старых стоиков. Да это и едва ли возможно: сохранившиеся фрагменты настолько малочисленны и лапидарны, что взгляды, скажем, Зенона и его ближайших последователей на происхождение государства, строго говоря, почти неизвестны. Поэтому возможны лишь некоторые априорные заключения. Поскольку для старых стоиков такие формы общественного бытия, как полис, народ, племя, были безразличны (*ἀδιάφορα*) и рассматривались ими как неизбежность, навязанная извне, истинной же формой общения они считали разумное общение в ойкуменическом масштабе, то естественно предположить, что проблеме происхождения безразличных для них форм они уделяли не столь уже много внимания.

Несколько иным было отношение к этим проблемам представителей Средней Стои. Общая задача этого философского направления, заключавшаяся в «приспособлении» старостойческой этики (и «политики») к запросам римской средиземноморской державы, была уже рассмотрена выше²⁷. Если же иметь в виду взгляды отдельных представителей Римской Стои, то следует, очевидно, обратиться в первую очередь к Полибию. Что касается Панетия и Посидония, то о них можно высказать лишь самые общие соображения. Отправляясь от основного положения Старой Стои о родстве и общности людей в силу разума (что, кстати, роднит людей с богами), Панетий и Посидоний вместе с тем отнюдь не отрицали государства. Более того, они интересовались проблемой его происхождения. Очевидно, под влиянием Аристотеля (а возможно, и Дикеарха) они считали, что государство возни-

²⁷ См. гл. IV.

кает не на основе договора, а вырастает естественным образом. Причина возникновения — объединительно действующая сила разума. Цель любого государства — осуществление добродетельной жизни, т. е. блага людей на основе справедливости.

Под воздействием тех же перипатетиков, и прежде всего самого Аристотеля, Панетий и Посидоний проявляли, насколько мы в состоянии судить, большой интерес к реально существовавшим государственным формам, к их смене, к проблеме наилучшей формы правления. Можно и следует говорить о близости их рассуждений и взглядов Полибия, причем в целом ряде случаев неясно, кто у кого заимствовал то или иное положение. Впрочем, этот специальный вопрос в данном случае не имеет существенного значения.

Переходя к римским интерпретациям вопроса о происхождении государства и права (к ним мы относим и интерпретацию Полибия), сразу же подчеркнем то обстоятельство, что в Риме мы не наблюдаем какой-то единой, господствующей, общепризнанной теории. Вместе с тем можно отметить бесспорную (и окончательную) победу «научного» подхода, историко-философской тенденции. Не случайно поэтому три наиболее яркие картины, три наиболее полно разработанных в Риме варианта становления государства несут на себе печать основных философских направлений: стоицизма (Полибий), эпикуреизма (Лукреций) и эклектизма (Цицерон), если только эклектизм позволительно считать каким-то особым направлением.

Все три варианта, как и три представляющих их автора, дают сугубо рационалистическую и «антимифологическую» трактовку проблемы. Это свидетельствует не только о новом этапе развития теории государства и права, но и о новом, принципиальном повороте вообще в античном мировоззрении в эпоху эллинизма и становления римской мировой державы. Знакомство с тремя названными «вариантами» неизбежно предполагает описательное в значительной мере изложение материала, причем при этом изложении наиболее подробно мы — по причинам, которые будут указаны ниже — остановимся на концепции Цицерона.

Начинать, однако, следует с Полибия. Он строит свое рассуждение о возникновении организованного общества

и государства, опираясь, как и Платон в «Законах», на представление о потопе или каком-то ином стихийном бедствии, погубившем род человеческий. С этого момента наступает как бы новый период или цикл развития. Немногие уцелевшие по воле случая люди неизбежно и закономерно, в силу того что каждый в отдельности слишком слаб и беззащитен, начинают опять, как и до потопа, собираться вместе, объединяться, искать взаимной поддержки. То же самое наблюдается у животных и вообще у всех живых существ. Как у животных, так и у людей вожаком всегда становится сильнейший. Это — закон самой природы. Сначала единовластие покоится исключительно на силе, но постепенно среди людей распространяются дружеские связи и отношения, основанные уже на разуме, на добровольности, и именно с этого времени возникают царская власть и правление, а также первые этические критерии²⁸.

Этические критерии развиваются на основе житейской практики: отношение детей к родителям, взаимопомощь в беде, чувство благодарности. В зависимости от того, как складываются подобного рода взаимоотношения, у людей постепенно формируются представления о добре и зле, о том, чем одно отличается от другого, наконец, о том, что приносит общую пользу или, наоборот, общий вред.

То, что приносит общую пользу, должно всячески поддерживаться, вызывать между людьми соревнование; приносящее же вред — изгоняться, вызывать презрение. Так зарождаются право и суд, который, естественно, должен быть предоставлен правителю. Последний же должен действовать разумно и справедливо; собственно говоря, именно таким путем единоличный правитель превращается в царя, и «царство рассудка сменяет господство отваги и силы»²⁹. Так изображает Полибий становление государства; вслед за этим рассуждением идет подробное описание вырождения и круговорота государственных форм.

Сказанного достаточно, чтобы получить представление о происхождении государства и права в интерпретации

²⁸ *Polyb.*, VI, 5.

²⁹ *Ibid.*, VI, 6.

Полибия. Что же касается его источников, то в данном случае речь должна идти о стоиках и Платоне.

Влияние стоических воззрений наиболее заметным образом сказывается на представлении Полибия о естественном характере возникновения государства (в силу природного стремления людей к взаимной поддержке и защите). Возникновение государства не в результате договора, а спонтанно, естественным путем — одна из наиболее характерных черт стоической теории (во всяком случае, Средней Стои).

Что касается влияния Платона, то оно отражается на общей схеме рассуждения (потоп, гибель предшествующих поколений и т. п.), а быть может, и на подчеркнутом расчленении понятий «единоличный правитель» и «царь». Вполне вероятно, что таким именно образом Полибий интерпретирует устанавливаемое Платоном различие между теми циклами развития, которые у него именуются «династией» и царской властью.

Перейдем теперь к другой тщательно разработанной картине зарождения жизни на земле и постепенного развития человеческого общества. Она принадлежит Лукрецию и отличается рядом своеобразных черт. По мнению Лукреция, земля справедливо считается всеобщей матерью. Она породила сначала травы и растения, затем различных животных и птиц и, наконец, человека. Людской род был зачат в некотором подобии утроб полурастительного происхождения, поскольку корни их углублялись в землю. В этих утробах происходило созревание плода, а затем новорожденным земля давала пищу, трава служила подстилкой, теплый климат позволял обходиться без одежды. Но постепенно мощное плодородие земли, как это бывает с годами и у женщин, иссякло, и она, перестав производить то, что давала раньше, стала порождать уже нечто другое³⁰.

Небезынтересно, что, повествуя о развитии жизни на земле, Лукреций по сути высказывает мысль о своеобразном «естественном отборе»: он считает, что земля пыталась создавать и различные неудачные, неполноценные формы человеческих существ, различных «уродов», но они не смогли ни приспособиться, ни выжить, и потому природа «положила запрет» на их существование. То же

³⁰ *Lucr.*, V, 780—836.

относится и к различным видам животных — сохранились и выжили лишь те из них, кто отличался силой, ловкостью или находил себе защиту у человека. Попутно Лукреций обрушивается на совершенно несуразные и вздорные, с его точки зрения, рассказы о существовании некогда живых тварей со «смешанным естеством»: кентавров, скилл и т. п., несмотря на то, что они так ярко изображаются в различных преданиях³¹.

Конечно, говоря об идее естественного отбора у Лукреция, мы учитываем, что эта идея по существу имела мало общего с современным пониманием проблемы. В специальной литературе не раз отмечалось, что Лукреций не признавал борьбы за существование в качестве постоянно действующего фактора, вымирание неполноценных форм и организмов («уродов») объяснял неудачным сочетанием первоначал и, наконец, утверждал, в соответствии со своей концепцией, что виды «от века неизменны»³².

Что касается изображения жизни первобытного человека, то картина, набросанная Лукрецием, отнюдь не блещет радужными красками. Люди жили, скитаясь, как дикие звери, не умели обрабатывать землю, питались только тем, что производила сама природа, т. е. занимались собирательством. Каждый заботился лишь о самом себе, господствовала грубая сила, и потому не существовало никакого представления об общем благе, никаких законов или хотя бы обычаев³³. Такая картина, конечно, весьма далека от представлений о золотом веке.

Коренной поворот в развитии человечества произошел тогда, когда люди научились строить жилища, одеваться, добывать огонь и когда возникла семья. Это привело к смягчению нравов, люди пришли к убеждению, что следует оказывать сострадание и помощь детям, женщинам и вообще более слабым, а также жить в дружбе с соседями. Так по общему соглашению (или «договору») сложилась некая устойчивая форма общежития³⁴.

³¹ *Ibid.*, V, 837—924.

³² См., например, *Соболь С. Л.* Проблемы общей биологии в поэме Лукреция (в кн.: *Лукреций. О природе вещей*, т. II. М., 1947, с. 82—85).

³³ *Lucr.*, V, 932—968.

³⁴ *Ibid.*, V, 1011—1027.

Утверждая, что эта первоначальная государственная форма была создана самими людьми, явилась результатом их сознательных усилий, Лукреций в то же время всячески подчеркивает естественное и стихийное происхождение языка³⁵. Он отвергает идущую от Платона гипотезу, согласно которой язык — изобретение какого-то одного выдающегося человека. Здесь же он дает вполне рационалистическое (и антимифологическое) объяснение происхождения огня, без всяких ссылок на Прометея³⁶.

Все это вместе взятое, по мнению Лукреция, свидетельствует о том, что возникает государство. Высшая власть в государстве принадлежит сначала царям, затем царскую власть сменяет правление выборных должностных лиц, которые подчиняются законам. Распространяется почитание богов, воздвигаются алтари, храмы. Люди открывают различные металлы, учатся их обрабатывать и пользоваться ими. Наиболее широкое применение сначала получает медь, но постепенно она вытесняется железом. Развивается военное дело, процветает и мирный труд: долины покрываются пашнями, виноградниками, рощами олив. Наконец появляются разнообразные искусства, доставляющие людям отдых и наслаждение³⁷.

Такова картина развития человечества и становления государства в изображении Лукреция. Пожалуй, наиболее интересным и вместе с тем наиболее дискутируемым следует считать вопрос о том, как понимал и оценивал процесс развития сам автор. Разделял ли Лукреций пессимистическую концепцию постепенного ухудшения жизни человечества, известную со времен Гесиода и его учения о золотом и железном веках? Был ли он сторонником циклической теории, столь ярко представленной к его времени Полибием? Или, быть может, обосновывая свое представление о развитии человеческого общества, он рассматривал это развитие как движение поступательное, т. е. был не чужд идее прогресса?

Еще в конце прошлого века известный исследователь эпикуреизма М. Гюйо утверждал, что эпикурейское учение, и Лукреций в частности, впервые выдвинуло идею

³⁵ *Lucr.*, V, 1028—1090.

³⁶ *Ibid.*, V, 1091—1104.

³⁷ *Ibid.*, V, 1105—1112; 1141—1144; 1241—1340; 1370—1408; 1450—1457.

прогресса применительно к истории человечества³⁸. Однако и сам Гюйо отстаивал это утверждение далеко не безоговорочно, да и в дальнейшем не раз подчеркивалась противоречивость позиции Лукреция, который, отмечая, с одной стороны, развитие и успехи материальной культуры, одновременно констатировал растущий в обществе моральный упадок.

Иногда констатацию связи культурного развития с разложением морали возводят непосредственно к этике эпикуреизма. На наш взгляд, в этом нет необходимости — мы имеем дело с довольно распространенной схемой, с *locus communis*, весьма характерным для популярного в определенных кругах римского общества учения об упадке нравов и необходимости нравственной реформы. Подобная схема достаточно ярко отражена, например, в исторических экскурсах Саллюстия.

Возвращаясь к Лукрецию, хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на критические ноты в его изложении, общая картина развития от первобытности и дикости вплоть до расцвета общества (выборные власти, законность, земледелие, ремесла, искусства) есть картина поступательного движения человечества, т. е. прогресса. Нам представляется вполне правильным наблюдение Я. М. Боровского, что Лукреций, характеризую последний (пятый) этап развития, вольно или невольно облачает его «в конкретные формы римской исторической легенды», т. е. имеет в виду римское общество³⁹. Уже один этот факт говорит в пользу прогрессивной концепции развития, а потому мы согласны с выводом, что «пафос возникающей здесь величественной картины неуклонного прогрессивного движения человечества определяет ту философию культурного развития, которую Лукреций черпает в своем поэтическом постижении мира, более глубоком, чем служащая для него лишь частичным и недостаточным выражением эпикурейская доктрина»⁴⁰.

Что касается проблемы источников и общей близости Лукреция к эпикуреизму (или зависимости от него), то частные отклонения не имеют решающего значения. И если в последнее время ставился вопрос о более карди-

³⁸ Guyau M. J. La morale d'Epicure. Paris, 1886, p. 164—170.

³⁹ Я. М. Боровский. Вопросы общественного развития в поэме Лукреция. — В кн.: «Древний мир». М., 1962, с. 483.

⁴⁰ Там же, с. 484.

нальных расхождениих Лукреция с Эпикуром⁴¹, то они никак не относятся к антропологии Лукреция. Здесь влияние эпикурейского учения бесспорно — и рационализм, и материализм Лукреция, в частности его представления о «договорном» характере государства, объясняются именно этим влиянием. Более того, концепция становления государства и права в результате некоего соглашения, договора (ἡ συνθήκη), вероятно, может быть возведена к самому основателю эпикурейской школы.

Конечно, рационализм, «антимифологическое» направление всех построений и выводов Лукреция давно известны, но не может и теперь не вызывать восхищения глубина и дальновидность некоторых его прозрений: идея «естественного отбора», «собираательство» как определенный этап в развитии человеческой деятельности, учение о происхождении языка, объяснение перехода от меди к железу не в смысле смены Гесиодовых «веков», а как переход от медных орудий к железным. И наконец, — картина (или даже теория!) прогрессивного развития человечества, венчающая всю его антропологию.

Остановимся в заключение на концепции Цицерона, которую мы назвали «эклектической». Верный своему принципу объединять все то «лучшее», что он находил в различных философских учениях и системах, Цицерон в собственных рассуждениях о происхождении государства и права как бы подводит итог развитию греческой политической мысли в этой области, дополняя его некоторыми основными положениями уже специфически римской интерпретации.

Какова же, по мнению Цицерона, причина объединения людей в организованное общество, причина возникновения государства? Если в диалоге «Об ораторе» говорится о силе слова и красноречия как причине объединения людей в государство, то там же эта точка зрения подвергается развернутой критике⁴². Затем, если в более ранних своих трактатах и речах Цицерон считал основной причиной объединения слабость людей, их взаимную вражду и невозможность поодиночке противиться диким зверям⁴³, то в диалоге «О государстве» он уже полемич-

⁴¹ См. Васильева Т. В. Концепция природы у Лукреция. — «Вопросы философии», 1969, № 7, с. 131—141.

⁴² *Cic.*, *De orat.*, I, 29—39.

⁴³ *Ibidem*, *cp. De inv.*, I, 2; *Pro Sest.*, 91.

зирует со сторонниками подобных взглядов (каким был, например, Полибий) и считает первой причиной объединения людей врожденное стремление человека к обществу, его «общественный импульс»⁴⁴. По мнению Цицерона — и этот взгляд, несомненно, сближает его с Аристотелем, с перипатетиками, — человек, не испытывая даже ни в чем нужды, не может жить вне общества себе подобных.

Но это не значит, конечно, что дар речи и разум, т. е. то, что и отличает людей от диких зверей, не имеет значения для объединения людей в организованное общество. Разум и речь (*ratio et oratio*) — единственно возможные формы связи в общечеловеческом масштабе⁴⁵, и потому без них никакое взаимное общение, никакое истинное сближение невозможны.

Близок Цицерон и к точке зрения Панетия, в соответствии с которой государство и собственность изначально связаны друг с другом и охрана собственности есть причина (или, во всяком случае, одна из причин) образования государства. Цицерон утверждает, что собственность возникает из того, что от природы было общим; следовательно, собственность — явление не природное и не естественное, но она возникает лишь на основании захватов или в силу определенного соглашения, условия, закона⁴⁶.

Каков сам процесс становления государства? Ответ Цицерона на этот вопрос менее всего оригинален. В соответствии с общепринятыми взглядами, идущими еще от Платона и Аристотеля, он выводит государство из семьи. В «О государстве» Цицерон сам подчеркивает элементарный, даже «школьный» характер этих положений⁴⁷, в своем же последнем философском трактате — «Об обязанностях» — он пишет: «Первоначальные узы состоят в браке и супружестве, затем — в появлении детей, дальнейшие — в единстве дома и общности имущества, а это уже начало и как бы рассадник государства (*principium urbis et quasi seminarium rei publicae*)»⁴⁸.

Чрезвычайно любопытны взгляды Цицерона на происхождение права. Он достаточно четко разделяет понятия

⁴⁴ *Cic., De rep.*, I, 39.

⁴⁵ *Cic., De off.*, I, 50.

⁴⁶ *Ibid.*, I, 21. Подробнее об этом см. ниже, с. 196.

⁴⁷ *Cic., De rep.*, I, 38.

⁴⁸ *Cic., De off.*, I, 54.

«право» и «закон», различные типы права. Им даже выработана некая систематика: зависимость того или иного типа (категории) права от степени общности людей. Вопрос об этих степенях общности затрагивается Цицероном неоднократно. В первой книге трактата «Об обязанностях» говорится о следующих степенях или градациях: наиболее широкая или «беспредельная» (*infinita*) степень общности обнимает собой все человечество, это и есть человеческое общество (т. е. *societas*), затем идет более тесная общность — племя, народность (*gens*), наконец, еще более тесная общность и связь — гражданская община (т. е. *civitas*)⁴⁹.

В третьей книге трактата Цицерон проводит четкое разделение между *ius civile* и *ius gentium*, подчеркивая, что первое не может считаться гентильным правом, тогда как *ius gentium* должно быть одновременно и *ius civile*⁵⁰. Здесь же снова говорится о степенях общности между людьми, что свидетельствует об определенной связи между этими двумя линиями. Той степени общности, которая олицетворяется понятием *civitas*, соответствует, несомненно, *ius civile*; что же касается *ius gentium*, то оно, по мнению Цицерона, соответствует как понятию *gens*, так и наиболее широкой степени общности — *societas*.

Это лишь подтверждает мысль о том, что во времена Цицерона *ius gentium* трактовалось уже расширительно, не только как право, распространяющееся на peregrinos или вообще на людей свободных, но как *ius naturale*, т. е. как высший и вечный закон, данный самой природой или богами. Одно место из третьей книги трактата определенно свидетельствует, что Цицерон отождествлял *ius gentium* с естественным правом⁵¹, или, во всяком случае, считал естественное право (*ratio naturae*) основой *ius gentium*.

Более того, нам представляется поэтому возможной следующая несколько условная реконструкция систематики Цицерона: общности *civitas* соответствует *ius civile*, общности *gens* — *ius gentium*, общности *societas* — *jus naturale* или, по терминологии самого Цицерона, *ratio naturae*. Конечно, такая реконструкция не бесспорна, но все

⁴⁹ *Cic.*, *De off.*, I, 53.

⁵⁰ *Ibid.*, III, 69.

⁵¹ *Ibid.*, III, 23.

же то различие, которое Цицерон допускает между обычаем (*mos*) и законом, между законом и правом, позволяет считать, что под *naturae ratio, quae est lex divina et humana*⁵² он понимал все-таки нечто, не совсем совпадающее с понятием *ius gentium*.

Но это не значит, конечно, что Цицерон обязательно противопоставлял *φύσις* и *νόμος*. Чрезвычайно интересное рассуждение о происхождении законов и права в трактате «О законах» скорее свидетельствует об обратном. Цицерон присоединяется здесь к «ученейшим мужам» (т. е. к стойкам), которые считают, что следует исходить из закона, определяя его как заложенный в природе высший разум (*lex est ratio summa insita in natura*). Этот высший разум велит нам поступать правильно и запрещает совершать правонарушения; он же, интерпретированный мышлением и рассудком человека, превращается в закон⁵³.

Далее следует рассуждение о некотором различии самого понятия «закон» у греков и у римлян. Но, несмотря на это различие, бесспорно следующее: возникновение права следует выводить из закона. Закон же есть сила самой природы, мысль и сознание разумного человека, критерий права и бесправия. Вот почему при обосновании права мы и должны исходить из этого высшего и общего для всех веков и народов закона, возникшего раньше любых писанных законов, раньше любых государств⁵⁴. При подобной трактовке вопроса никакого противоречия между *φύσις* и *νόμος*, конечно, не возникает.

Более того, закон рассматривается Цицероном как главная форма связи между людьми и богами. «Так как нет ничего лучше разума, а он присущ и человеку, и божеству, то первая связь между человеком и божеством — в разуме». Но разум есть закон, следовательно, люди связаны с богами также и законом. А все те, кто связан между собой общими правами и законами, представляют собой единую общину (*civitas*). Поэтому весь мир можно рассматривать как некую единую общину богов и людей⁵⁵.

⁵² Ibidem.

⁵³ *Cic.*, De leg., I, 18; ср. De rep., III, 33.

⁵⁴ Ibid., 19; ср. De rep., I, 49.

⁵⁵ Ibid., 23.

В трактате «О законах» проводится еще одна чрезвычайно важная мысль. Сначала ее в общей форме высказывает Аттик: «Во-первых, мы снабжены и украшены как бы дарами богов; во-вторых, у людей существует лишь одно равное для всех и общее правило жизни, и все они связаны, так сказать, природным чувством снисходительности и благожелательности, а также общностью права»⁵⁶.

Таким образом, чувство социальной общности, влечение людей друг к другу не только заложено в самой природе, но и тесно связано с понятием справедливости. «Справедливости вообще не существует, если она не основана на природе, а та, которая устанавливается в расчете на выгоду, уничтожается из соображений другой выгоды». Более того, если не считать природу основанием права и законов, то все доблести: благородство, любовь к отчизне, чувство долга, желание служить ближнему, чувство благодарности — все это уничтожается, ибо подобные чувства возникли и могли возникнуть лишь потому, что «мы по природе своей склонны любить людей, а это и есть основа права»⁵⁷.

Итак, по Цицерону, основа права — не мнения людей, но природа, не писанные законы, созданные людьми, но природный, естественный закон, который есть одновременно высший разум, справедливость и который служит связующей нитью между людьми и богами. И, только руководствуясь им, люди способны отличать право от бесправия, честное от позорного, доброе от злого и стремиться к тому, что честно и справедливо ради самих этих доблестей. Ибо нет на свете ничего более несправедливого, чем желание награды или платы за справедливость⁵⁸.

Таковы в общих чертах взгляды Цицерона на становление государства и права. Если говорить о происхождении этих взглядов, то следует признать, что Цицерон в данном случае, как и обычно, находился под перекрестным воздействием ряда источников. Речь должна идти о Платоне и Аристотеле, о стоиках, о Панетии и Полибии, короче говоря, о некоем «эkleктическом» освоении греческих политических теорий в сочетании со специфически римским подходом к проблеме в целом. Специфич-

⁵⁶ *Cic.*, *De leg.*, I, 35.

⁵⁷ *Ibid.*, I, 42—43.

⁵⁸ *Ibid.*, I, 44; 48—49.

ность же подхода достаточно ярко проявляется в том, что рассуждения Цицерона о происхождении государства и права, как, впрочем, и все остальные элементы его государствоведческой теории, нацелены на одно — на доказательство определенной исторической миссии Римского государства. В этом вовсе не трудно убедиться, раскрыв вторую книгу трактата «О государстве», где дается краткий очерк римской истории и где Римское государство, по словам самого Сципиона, рассматривается в качестве реально существующего и великого «образца» (*exemplum*)⁵⁹. Однако на чрезвычайно сложном, иногда переходящим в прямую полемику отношении Цицерона к его источникам, как и на проблеме *Roma aeterna*, мы еще остановимся несколько ниже⁶⁰.

В заключение коснемся снова вопроса о характере — естественном или «договорном» — происхождения государства. Если Полибий был сторонником естественного пути, а Лукреций сторонником «договорной теории» (в ее зачаточном виде), то Цицерон как бы объединяет обе точки зрения. Первоначальной причиной, как уже указывалось, он считает естественное стремление людей к обществу, но образование государственных институтов невозможно без определенного «согласия в вопросах права» (*iuris consensus*)⁶¹.

Далее Цицерон, как бы подводя итог своим соображениям о причинах возникновения государства и переходя уже к вопросу о формах правления, говорит: «Итак, всякий народ (*populus*), который и есть такое объединение множества людей (*coetus multitudinis*), какое мною описано, всякая гражданская община (*civitas*), которая и есть устройство народа (*constitutio populi*), всякое государство (*res publica*), которое, как мною сказано, есть достояние народа (*res populi*), должны, чтобы быть долговечными, управляться в соответствии с неким замыслом (*consilio quodam*)»⁶².

Подведем теперь общие итоги.

1. Переход от мифо-поэтической трактовки проблемы становления человеческого общества и государства к ра-

⁵⁹ *Cic.*, *De rep.*, II, 65—66.

⁶⁰ См. гл. VIII.

⁶¹ *Cic.*, *De rep.*, I, 39.

⁶² *Ibid.*, I, 41.

ционалистическим, научным толкованиям не приводит к выработке какой-то единой и стройной теории. Однако рационалистическая традиция, несмотря на различие «картин» становления государства, изображаемых различными мыслителями, включает в себя ряд общих черт, общих положений, которые и попытался синтезировать в своем построении Цицерон. Это, как правило, положения общетеоретического характера: вопрос о естественном или договорном происхождении государства, соотношение понятий *φύσις* и *νόμος*, закона и права, понятие справедливости, значение и роль семьи.

2. По мере развития воззрений на происхождение государства наблюдается характерная тенденция своеобразной «оптимизации» исторического процесса: от пессимизма Гесиода (постепенное ухудшение от золотого века к железному), через концепцию неизбежно повторяющегося круговорота государственных форм у Полибия к достаточно четко выраженной идее прогресса человечества у Лукреция (в этом плане примечательна и трансформация мифологической схемы в четвертой эклоге Вергилия) или убежденности Цицерона в вечности и величии Рима (концепция *Roma aeterna*).

3. Греко-римская рационалистическая (научная) интерпретация учения о происхождении государства и права содержит в зародыше многие теории XVIII—XIX вв. (в этой же области политического мышления): патриархальную (происхождение государства из семьи: Платон, Аристотель и т. д.); патримониальную (из права собственности на землю: Панетий, Цицерон); насилия (поздние софисты), наконец, договорную (причем уже известны две противоположные концепции «додоговорного» общества — «золотой век» или, наоборот, дикость и состояние всеобщей вражды: софисты, Полибий, Лукреций, Цицерон).

УЧЕНИЕ О НАИЛУЧШЕЙ ФОРМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

Давно и вполне справедливо было отмечено, что все теории государства в древности развивались по существу в весьма ограниченных пределах, решая два основных вопроса: о государственных формах и о лучшей из этих форм. Идеей, как бы венчающей развитие политических теорий, было представление о смешанной форме государственного устройства¹. Это представление возникло еще у древнегреческих мыслителей и получило определенное развитие в политико-философских концепциях эллинистического и римского времени.

Курт фон Фритц в своем фундаментальном труде, посвященном теории смешанного устройства, считает, что впервые с этой теорией мы встречаемся в «Законах» Платона². С этим утверждением едва ли можно безоговорочно согласиться. Если иметь в виду тщательно разработанную теорию, то, пожалуй, все, что говорится на эту тему в третьей книге «Законов», еще не заслуживает подобного определения; если же подразумевать некоторые идеи о смешанном государственном устройстве, то они впервые появились все же до Платона³⁻⁴.

Существует вполне вероятное предположение относительно того, что представления о смешанном устройстве

¹ Bächner K. Die römische Republik im römischen Staatsdenken. Freiburg in Breisgau, 1947, S. 5.

² Fritz K. von. The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. A Critical Analysis of Polibius' Political Ideas. New York, 1954, p. V (preface).

³⁻⁴ Исчерпывающий обзор и тщательный анализ теорий смешанного устройства см. в кн.: Alders G. J. D. Die Theorie der gemischten Verfassung im Altertum, Amsterdam, 1968; см. также рецензию А. Я. Доватура: ВДИ, 1970, № 4, с. 179—183.

могут быть возведены к софистам, однако эта точка зрения источниками, к сожалению, не может быть подтверждена. Зато нам известно довольно краткое, но вместе с тем достаточно определенное высказывание Фукидида о конституции 411 г. в Афинах, согласно которой власть и руководство государством передавались пяти тысячам граждан. Фукидид определяет такое государственное устройство как наилучшее на его памяти и считает его умеренным смещением (*μετρία ξύγκρισις*) власти «немногих» (*οἱ ὀλίγοι*) и «многих» (*οἱ πολλοί*), т. е. олигархии и демократии⁵.

Что касается Сократа, то он, если верить Ксенофону, рассуждал о таких формах правления, как аристократия, плутократия, демократия, но мысли о смешанном устройстве у него как будто бы не возникало⁶. Вместе с тем другой его ученик — Исократ — не только знал о теории смешанного устройства, но и считал, что она была практически осуществлена в Афинах в стародавние времена, в эпоху господства *πάτριος πολιτεία*, когда существовало смещение аристократии и демократии⁷.

Фрагменты из сборника Иоанна Стобея свидетельствуют как будто бы о том, что идея смешанного устройства высказывалась еще сторонниками пифагорейского учения. Так, Архиту приписывается следующее высказывание: «Наилучшее государственное устройство должно соединять в себе все другие политические формы, должно включать отчасти демократию, отчасти олигархию, монархию и аристократию». А Гипподам в своем сочинении о государстве писал: «Законы будут особенно прочны в том случае, если государство имеет характер смешанный и составлено из всех других форм государственного устройства». Под этими «другими формами» подразумевались царская власть, аристократия и демократия⁸. Но не исключена возможность того, что эти и подобные им высказывания представителей пифагорейской школы следует относить к более позднему времени (т. е. что они высказаны уже после Платона).

⁵ *Thuc.*, VIII, 97.3.

⁶ *Xen.*, *Mem.*, IV, 6.12.

⁷ *Isocr.*, *Areop.*, 15—20.

⁸ *Stob.*, *Flor.*, p. 251.

В третьей книге «Законов» Платона, где речь идет о возникновении государственных форм, в качестве «третьей» такой формы, как определяет сам автор, упоминается в самом общем плане форма государственного устройства, в которой «сливаются все виды и состояния государственных правлений»⁹. Далее идет рассуждение о возникновении трех царств: Аргоса, Мессении и Лакедемона, причем в этом рассуждении — правда, еще в довольно неясной форме — «прощупывается» идея смешанного устройства. Значительно более определенно эта идея обнаруживается, когда автор переходит к государственному строю Лакедемона и прямо говорит о сочетании там монархических, аристократических и демократических элементов. По мнению Платона, царская власть в Лакедемоне — божественного происхождения, учреждение герусии — дело рук человеческих, а эфорат, который якобы близок к власти выборной, т. е. демократии, установлен «третьим спасителем» — царем Феопомпом. Интересно, что Платон не придает, видимо, никакого значения наличию в Лакедемоне народного собрания и даже вовсе не упоминает о нем¹⁰.

Определение лакедемонского (а в какой-то мере и критского) государственного строя как смешанного встречается еще раз уже в четвертой книге «Законов»¹¹, вообще же основными или, как их называет сам Платон, «материнскими», формами правления, от которых родились все остальные, следует считать монархию и демократию. Монархия — олицетворение неумеренной власти, демократия — неумеренной свободы. Отсюда — идея установления меры как в той, так и в другой форме, а в итоге — возникновение смешанного устройства¹². Таким образом, если, как было отмечено выше, мы еще не имеем оснований говорить о детально разработанной теории смешанной конституции у Платона, то основные элементы, из которых складывается позднее эта теория, уже налицо¹³.

⁹ Plato. Legg., 681 d.

¹⁰ Ibid., 691 d — 692 a.

¹¹ Ibid., 712 d — e.

¹² Ibid., 693 b — e.

¹³ Следует также отметить, что в восьмом письме Платона (его подлинность отрицается лишь гиперкритиками) вполне «прощупывается» идея смешанного устройства и благотворности ограничения, умеренности как власти, так и свободы (Ер., VIII, 354 a — e).

Аристотелю, который, как известно, тщательно изучал реально существовавшие конституции, были, несомненно, знакомы и различные теоретические построения, в том числе учение о смешанной форме правления. В «Политике» он довольно подробно останавливается на характеристике простых форм, не только «правильных», но и «извращенных»¹⁴, а по поводу смешанной формы высказывается вполне определенно: «Некоторые полагают, что лучшее государственное устройство — смешанное из всех форм. Поэтому они отдают предпочтение лакедемонскому устройству, которое состоит, по их представлению, из олигархии, монархии и демократии... Итак, вообще говоря, те, кто думает, что следует соединять различные формы государственной жизни, рассуждают правильное, ибо строй, сложенный из ряда других, действительно лучше»¹⁵. К числу государств, в которых этот принцип нашел практическое применение, Аристотель относил, кроме Лакедемона (монархический элемент — цари, аристократический — геронты, демократический — опять-таки эфоры, а не апелла!), также Крит, Карфаген, и даже законодательство Солона он находил не чуждым того же принципа¹⁶. Он не считал смешанное устройство идеальным, но, полагал, что оно, несомненно, наилучшее из практически осуществимых.

По всей вероятности, теория смешанного государственного устройства продолжала разрабатываться в эллинистическое время учениками и последователями Аристотеля. Но перипатетическая литература подобного рода до нас практически не дошла. Представляющие в этом плане интерес сочинения Феофраста не сохранились и известны только по заголовкам; незначительные фрагменты Дикеарха свидетельствуют лишь о том, что ему было хорошо известно учение о смешанном устройстве, воплощение которого он, в соответствии с традицией, находил в Спарте.

Предпринимавшиеся в научной литературе попытки определить, в чем заключалась дальнейшая разработка этого учения Дикеархом, следует признать сугубо гипотезой.

¹⁴ *Arist., Pol.*, III, 4—5 (1278 b — 1281 a).

¹⁵ *Ibid.*, II, 3.10—11 (1265 b 33—1266 a 5).

¹⁶ *Ibid.*, II, 7—9.4 (1271 b 20—1274 a 21).

тетическими и покоящимися на слишком зыбком основании¹⁷.

К римскому государственному устройству, к римской «конституции» теория смешанной формы правления впервые была применена Полибием, у которого она и приобрела наиболее законченное выражение. Историк, хорошо знакомый с греческой политической литературой, не избежал, конечно, воздействия некоторых уже прочно установившихся выводов, некоторых «общих мест», но вместе с тем он нередко сохраняет независимость мысли и суждений.

Полибиево учение о смешанном государственном устройстве, как мы знаем, вытекало из его преклонения перед римской державой и ее государственными институтами. По Полибию, именно благодаря своему государственному устройству римляне и покорили весь обитаемый мир¹⁸. В подобной постановке проблемы уже заключены, «предусмотрены» некоторые характерные черты Полибиева учения. Поскольку его основа — реально существующее государство и его строй, Полибий, как уже говорилось, во-первых, не проявляет никакого интереса к идеальным, умозрительным схемам, во-вторых, весьма склонен к критике других типов государственного устройства, даже тех, в которых видели образцы смешанной формы.

Полибий уделяет большое внимание «правильным» и «извращенным» формам государственного устройства, при этом подчеркивается, что наиболее совершенной формой следует считать такую, в которой объединяются особенности всех простых форм. Переходя к вопросу о круговороте государственных форм, Полибий в качестве главной причины круговорота называет неустойчивость простых форм, их склонность к вырождению¹⁹. В этом плане преимущества смешанного устройства тоже очевидны — оно может считаться наиболее прочным и устойчивым.

Каковы же важнейшие черты римского государственного устройства, с точки зрения Полибия? Оно, пожалуй,

¹⁷ См., например, *Wilamowitz-Möllendorff U. Glaube der Hellenen*, II, S. 17 ff. Приведенные нами соображения вполне могут быть распространены и на попытки современных исследователей (в том числе и Аалдерса!).

¹⁸ *Polyb.*, VI, 1.3.

¹⁹ *Ibid.*, VI, 4.7—13.

ближе всего к конституции Ликурга, который, понимая, что «всякий вид государственного устройства, простой и опирающийся на одну силу, опасен», соединил все положительные черты «чистых» политических форм воедино, «чтобы ни один из элементов государственной власти не мог склониться к свойственному ему пороку чрезмерно усилившись..., но чтобы государство, уравновешенное одинаковыми тяжестями, существовало как можно дольше»²⁰.

Однако как мы уже могли убедиться²¹, Ликургово устройство в целом для Полибия вовсе не идеал. Оно приспособлено лишь для «внутригосударственных» нужд и целей, поэтому римский государственный строй гораздо совершеннее. И далее разворачивается знаменитое определение этого строя как «самого лучшего из всех, какие были на нашей памяти», как такого строя, в котором необычайно искусно, взаимно умеряя и уравновешивая друг друга, сочетаются элементы простых форм: монархии (консулы), аристократии (сенат) и демократии (комитии). Самое замечательное в этом сочетании, что ни одному из этих элементов не отдается видимого предпочтения, они лишь взаимно дополняют и в то же время ограничивают друг друга²².

Такова эволюция учения о наилучшей государственной форме, разрабатывавшегося эллинскими мыслителями. Это учение в той или иной степени обусловило возникновение римской концепции смешанного устройства, концепции Цицерона. Но прежде чем перейти к изложению его взглядов, остановимся на самом Цицероновом трактате «О государстве».

Сначала — вопрос о датировке. Он решается без особых затруднений. Как известно, основные философские произведения Цицерона написаны в поздний период его деятельности. Они относятся к тому времени, когда Цицерон — отнюдь не по собственному желанию, но волею обстоятельств — был выключен из активной политической жизни. Это происходило дважды: в годы первого триумvirата (60—51 гг.) и диктатуры Цезаря (48—44 гг.). Диалог «О государстве» и примыкающий к нему диалог «О зако-

²⁰ *Polyb.*, VI, 10.2—11.

²¹ См. выше, с. 97—98.

²² *Polyb.*, VI, 11.11—13; VI, 15—18.

нах» написаны оба в первый из этих вынужденных перерывов, а именно — между 54 и 51 г. Более точно: трактат «О государстве» был начат Цицероном в 54 г. и опубликован, видимо, в 51 г., незадолго до его отъезда в Киликию. Трактат «О законах», служащий как бы естественным продолжением первого труда, начат вслед за диалогом «О государстве», т. е. в 52 г., но по всем признакам — едва ли окончен. И хотя Цицерон в 46 г., как явствует из его письма Варрону, снова собирался приняться за изучение подобных вопросов²³, трактат «О законах» так и остался не доведенным до конца и необработанным. Во всяком случае, Цицерон сам его не публиковал: перечисляя в одном из более поздних произведений свои философские работы, он об этом трактате даже не упоминает²⁴.

Нас сейчас интересует первый из названных трактатов, т. е. знаменитое произведение Цицерона «О государстве». Его историческая судьба была необычной. До начала прошлого столетия этот трактат был известен лишь по упоминаниям о нем у других авторов и по отдельным цитатам, приводимым ими, если не считать большого отрывка, которым заканчивался трактат в целом, — так называемого «Сновидения Сципиона», сохраненного Макробием, который написал к нему комментарий.

В эпоху Возрождения ценители и поклонники античности, начиная с Петрарки, разыскивали это сочинение Цицерона во всех книгохранилищах Европы, ездили с этой целью даже в Польшу, но все попытки долгое время оставались безрезультатными. Только в начале XIX в. ученый кардинал Анджело Май, префект Ватиканской библиотеки, обнаружил палимпсест, который содержал значительную часть первой и второй книг трактата, а также отрывки из третьей, четвертой и пятой книг; из текста же шестой книги палимпсест не сохранил ни одного отрывка. В 1822 г. Май издал рукопись, включив в нее фрагменты и цитаты, ранее приводившиеся древними авторами, и снабдив издание своими комментариями.

Трактат «О государстве» пользовался широкой известностью и признанием еще у современников. Так, один из корреспондентов Цицерона — Марк Целий Руф — писал

²³ *Cic.*, *Ad fam.*, IX, 2.5.

²⁴ *Cic.*, *De divin.*, II, 1—3.

ему в Киликию в середине 51 г.: «Твои книги о государстве высоко ценятся всеми»²⁵. Но еще более популярным трактат становится в последующее время: этим и объясняется большое количество цитат и ссылок на него, встречающихся в сочинениях древних авторов, начиная с Сенеки и Плиния Старшего. Небезынтересно, что многие положения трактата охотно использовались «отцами церкви»: Амвросием, Иеронимом, а в особенности Лактанцием и знаменитым автором «О граде божием». Кстати сказать, Лактанций и Августин не только цитируют Цицерона, но зачастую в значительных фрагментах пересказывают отдельные места и рассуждения.

Сочинение Цицерона написано (опять-таки по примеру Платона) в форме диалога. Как уже говорилось, местом действия является загородная усадьба Публия Корнелия Сципиона Эмилиана Африканского Младшего. Главное действующее лицо диалога — сам Сципион; кроме него в беседе принимают участие его друзья и родственники²⁶.

Нам известно, что Цицерон, работая над своим произведением, не раз менял его замысел и построение. Об этом он сам говорит в одном из писем брату²⁷. Первоначальный план, согласно которому в диалоге выступали современники Сципиона, он, по совету одного из своих друзей, хотел изменить и «осовременить», сделав участниками диалога самого себя и своего брата (что он и выполнил, но уже в другом диалоге — «О законах»). В данном же случае Цицерон вернулся к прежнему плану: диалог ведется в ту эпоху, которая была, по мнению автора, эпохой наивысшего расцвета римского государства.

Общая структура трактата такова: он состоит из шести книг — по две книги на каждый день беседы, длящейся таким образом, три дня. Каждый день посвящен обсуждению определенной темы: книги I и II — вопросу о наилучшем государственном устройстве (*de optimo statu civitatis*), книги III и IV — философскому обоснованию понятия государства (исходя из идеи справедливости), книги V и VI — вопросу о наилучшем государственном деятеле (*de optimo cive*). Как уже говорилось, трактат в целом

²⁵ *Cic., Ad fam., VIII, 1.4.*

²⁶ См. выше, с. 80.

²⁷ *Cic., Ad Q. fr., III, 5.1—2.*

завершается неким апофеозом — сновидением Сципиона. В этом сновидении победитель Ганнибала Сципион Африканский Старший предсказывает своему приемному внуку блестящую судьбу и удостоверяет, что людям, которые верно служат отечеству, уготовано бессмертие и вечное блаженство.

Установить источники Цицеронова трактата «О государстве» не составляет особого труда, поскольку в том или ином месте они названы самим автором. Например, упоминая в одном из своих более поздних произведений о «*De re publica*», Цицерон указывает на такие его источники, как сочинения Платона, Аристотеля, Феофраста (я вообще перипатетиков)²⁸, в самом же трактате, помимо многократных упоминаний о Платоне, можно найти ссылки на Полибия и Панетия²⁹. Очевидно, ко всем этим именам можно добавить еще имя Дикеарха, хотя о его влиянии следует говорить весьма осторожно. В целом же трактат «О государстве», как в свое время удачно определил В. Шур, объединяет в одно целое политические теории Средней Стои с практическим опытом римского консула³⁰.

Однако указать на источники — еще не значит определить отношение к ним автора. И действительно, отношение Цицерона к своим источникам неоднозначно и сложно. К этому вопросу мы еще вернемся, сейчас лишь отметим, что теория смешанного устройства, по всей вероятности, не случайно излагается устами Сципиона, в кружке которого, как известно, состоял и Полибий³¹.

Сципион начинает свое рассуждение с указания на правило, которым, по его мнению, необходимо руководствоваться при разборе любого вопроса: «Если насчет названия предмета исследования все согласны, то надо разъяснить, что именно обозначают этим названием; если насчет этого тоже согласятся, то только тогда будет дозволе-

²⁸ *Cic.*, *De div.*, II, 3.

²⁹ *Cic.*, *De rep.*, I, 34.

³⁰ *Shur W. Sallust als Historiker*. Stuttgart, 1934, S. 42 ff.

³¹ Об истории рукописи трактата «О государстве», источниках, структуре произведения (а также подробный разбор содержания по книгам) см. вступительную статью К. Бюхнера в издании: *M. Tullius Cicero. Vom Gemeinwesen. Lateinisch und deutsch. Eingeleitet und neue übertragen von K. Büchner*, 2. Ausgabe, Zürich, 1960, S. 7—77.

но приступить к беседе; ибо нельзя понять свойства предмета исследования, если сначала не поймут, что он собой представляет»³².

После этого более чем предусмотрительного замечания Сципион, естественно, переходит к определению основного понятия трактата, т. е. к определению государства. Оговорившись, что он не собирается в данном случае останавливаться на вопросе о возникновении государства, Сципион дает свое знаменитое определение государства как «достояния народа», причем сразу же объясняет, что под народом (*populus*) следует понимать не любую совокупность людей, но такое объединение, которое обусловлено общностью права и интересов. Причину же подобного объединения следует искать не столько в слабости людей сколько в свойственной им от природы, как бы врожденной потребности жить совместно³³.

Затем Сципион приступает к определению основных форм государственного устройства. Он перечисляет три основные (и «чистые») формы: царская власть (монархия), правление «оптиматов» (аристократия) и народное правление (демократия). Каждую из этих форм нельзя считать совершенной или наилучшей, но лишь терпимой³⁴. При монархии, даже справедливом и мудром, едва ли можно говорить о «народном достоянии» (*res populi*), при правлении оптиматов народ все же находится в положении, близком к рабству, а при демократии не соблюдается «градация по достоинству». Поэтому каждая из «чистых» форм, взятая в отдельности, неустойчива и легко вырождается в соответствующую ей «извращенную» форму. Таким образом, возникают круговороты сменяющих друг друга государственных форм. «Поэтому я и считаю, — говорит Цицерон устами главного участника диалога, — заслуживающим наибольшего одобрения, так сказать, четвертый вид государственного устройства, ибо он образован путем равномерного смешения из тех трех форм, что были названы ранее»³⁵. Очевидно, это не только наилучшая, но и наиболее прочная форма государственного устройства.

³² *Cic.*, *De rep.*, I, 38.

³³ *Ibid.*, I, 39; 41.

³⁴ *Ibid.*, I, 42.

³⁵ *Ibid.*, I, 43—45.

Казалось бы, следовало ожидать, что сейчас будет дано развернутое определение этого смешанного устройства. Но ничего подобного не происходит. Другой участник диалога — Лелий — перебивает Сципиона и просит его сообщить, какую из трех названных простых форм он все же считает наилучшей. В середине этого обращения текст прерывается. Сципион, как явствует из дальнейшего, соглашается это сделать, но говорит, что ответ не так прост, ибо мнения расходятся. Он излагает точку зрения сторонников демократии (здесь текст восстанавливается), затем — сторонников правления оптиматов. По всей вероятности, Сципион начинал свой ответ с изложения взглядов сторонников царской власти, однако этот именно текст и утрачен. Но, излагая разнообразные точки зрения, сам Сципион снова уклоняется от того, чтобы высказать какую-либо собственную оценку.

Тогда Лелий еще раз спрашивает его о том, какую же форму из трех названных он одобряет более всего. С оговоркой насчет предпочтения смешанной формы (это, конечно, ослабляет последующее заключение) Сципион говорит, что если все-таки требуется выбрать одну из «чистых» форм, то он более всего одобрил бы царскую власть³⁶. Затем с помощью различных примеров и аналогий он старается убедить Лелия в правильности этой мысли и снова обращается к вопросу о вырождении простых государственных форм, по сравнению с которыми только смешанная форма может считаться устойчивой.

Лишь в самом конце первой книги диалога Сципион дает развернутое определение смешанного государственного устройства и перечисляет его основные преимущества. Это устройство должно, как уже отмечалось, объединять элементы трех простых форм, «ибо желательно, чтобы в государстве было нечто выдающееся и свойственное царской власти, нечто, характеризующее авторитет правления первых людей, наконец нечто близкое к контролю над делами по воле и усмотрению массы народа». Бесспорными преимуществами следует прежде всего считать некое «великое равенство», а затем — прочность, устойчивость, ибо нет формы, в которую смешанное устройство могло бы вырождаться, и нет причины для пере-

³⁶ Ibid., I, 54.

воротов там, где каждый прочно занимает подобающее ему место³⁷.

Итак, смешанная форма, с одной стороны, свободна от недостатков чистых форм, с другой — объединяет в себе все их преимущества. Но, вообще говоря, недостатки и невыгоды чистых форм рассматриваются довольно бегло, значительно больше внимания уделяется их смене и вырожждению. Однако неустойчивость этих форм, с точки зрения Сципиона, — один из основных, но не единственный и даже не главный недостаток. Смешанное же устройство замечательно не только своей прочностью, но и осуществлением идеи справедливости (градация по достоинству!), а простые (или чистые) формы крайне несовершенны как в том, так и в другом отношении.

Этими положениями по существу исчерпывается «теоретическая сторона» учения Цицерона о смешанном государственном устройстве. Во второй книге трактата, посвященной этой же теме, содержится подробное описание смешанного устройства на конкретном примере — становления и развития римского государства³⁸. Таким образом, эта часть рассуждения, как подчеркивает сам автор, имеет уже скорее прикладное, «иллюстративное» значение³⁹. Но, конечно, обращение к Риму, к истории римского государства как к «образцу» приобретает глубокий и принципиальный смысл.

Учение Цицерона о наилучшем государственном строе, рассматриваемое в целом, — продукт всего предшествующего развития эллинской политической теории. Во всяком случае, оно подготовлено этим развитием. Но что представляет собой учение Цицерона по существу? Только ли «слепок»? Что в нем — только заимствование и подражание, а что может считаться самостоятельным? Для ответа на эти вопросы необходимо вернуться к той проблеме, которая до сих пор была затронута лишь вскользь, — к вопросу об отношении Цицерона к его источникам.

Когда заходит речь о Цицероне как о мыслителе, о теоретике, то почти всегда подчеркивается, что он — эклектик. Однако это особый и непростой вопрос⁴⁰. Притом,

³⁷ *Cic., De rep.*, I, 69.

³⁸ *Ibid.*, I, 70.

³⁹ *Ibid.*, II, 65—66.

⁴⁰ См. Утченко С. Л. Цицерон и его время. М., 1973, с. 366—370.

если даже и так, то все же нет достаточных оснований считать его всего лишь компилятором. Во всяком случае, отношение Цицерона к его источникам, действительно, очень сложное, переходящее иногда даже в прямую полемику. Об этом, конечно, трудно судить во всех тех случаях, когда сами источники до нас не дошли или сохранились в крайне незначительных фрагментах и пересказе (как, например, Дикеарх, Панетий, Посидоний, Антиох Аскалонский), но когда речь идет о таких источниках, как Полибий или Платон, то отношение Цицерона к ним может быть показано на ряде примеров и достаточно наглядно.

Что касается Полибия и интересующего нас в данном случае раздела его историко-философской концепции — учения о смешанном государственном устройстве, то Цицерон, как явствует из всего изложенного выше, во многом следует за этим своим источником. Характеристика «чистых» форм, проблема их вырождения и круговорота, описание смешанной формы — все это в общих чертах соответствует концепции Полибия. Не менее существенно в данном случае то обстоятельство, что Цицерон пристраивает к Полибию и в своем стремлении видеть смешанный строй реально осуществленным на историческом примере римского государства.

Однако, следуя в этом вопросе Полибию, Цицерон все же иногда отходит от него. Так, для Полибия круговорот простых форм обусловлен, собственно говоря, единственной причиной — неустойчивостью этих форм. Цицерон же, рассуждая об основах смешанного устройства, на первое место, как мы видели, ставит «великое равенство» (*aequalitas magna*) и только потом говорит о «прочности» (*firmitudo*). Конечно, Цицерон понимает это «великое равенство» достаточно своеобразно. Это, безусловно, не равенство в области имущественных отношений или в смысле равенства дарований, а скорее равенство прав, предполагающее, однако, необходимую «градацию по достоинству».

Как бы то ни было, для Цицерона основная причина круговорота простых форм лежит более глубоко, чем для Полибия, а именно — в нравственных устоях государства. Как в свое время было справедливо замечено, Цицерон потому и оценивает столь положительно смешанное устройство, что только оно одно способно выразить идею

справедливости⁴¹. Таким образом, Цицерон, по словам другого исследователя, отходит от Полибиева «биологического схематизма»⁴². Кроме того, у Полибия прочность смешанного устройства соотнесена лишь с естественной порой его процветания (т. е. опять-таки определяется «биологическими» факторами), тогда как Цицерон в принципе допускает вечное существование государства со смешанным устройством. «Ибо государство,— пишет он,— должно быть устроено так, чтобы быть вечным»⁴³, или «я все же тревожусь за наших потомков и за бессмертие государства, которое могло бы быть вечным, если бы люди жили по заветам и обычаям отцов»⁴⁴. И действительно, государство со смешанным устройством ничто не может поколебать, если только не какие-то вопиющие, роковые ошибки его правителей⁴⁵. Не случайно поэтому довольно широко распространено в литературе мнение, что Цицерона следует считать родоначальником концепции *Roma aeterna*, сыгравшей важную роль в более позднее время — в эпоху Империи⁴⁶.

Своеобразное отношение Цицерона к его источникам еще лучше видно, если обратиться к Платону. Влияние последнего отнюдь не исчерпывается теми случаями (кстати сказать, довольно многочисленными), когда сам Цицерон его отмечает и подчеркивает. Более того, его можно проследить, так сказать, в двух противоположных планах: там где Цицерон следует за своим источником, и там, где он фактически с ним полемизирует.

Помимо прямых ссылок можно привести примеры, свидетельствующие об общем и чисто внешнем влиянии Платона. Не говоря уже о самой литературной форме диалога, нетрудно вспомнить, что Цицерон дополнил свой труд «О государстве» вторым сочинением — «О законах», несомненно, подражая Платону. То же можно сказать по поводу апофеоза, заключающего трактат «О государстве». Более глубоким, хотя и гораздо менее определенным, при-

⁴¹ Pöschl V. Römischer Staat und griechisches Staatsdenken bei Cicero. Berlin, 1936, S. 14.

⁴² Vogt J. Ciceros Glaube an Rom. Darmstadt, 1963, S. 87.

⁴³ Cic., De rep., III, 34.

⁴⁴ Ibid., III, 41.

⁴⁵ Ibid., I, 69.

⁴⁶ См., например, Доватур А. П. Указ. соч., с. 182.

мером могла бы явиться неразрывная связь представления о государстве с идеей справедливости, та связь, которую всегда подчеркивали и Платон, и Аристотель. Хотя, конечно, понимание справедливости у Цицерона отличалось достаточным своеобразием.

Зато принципиально иным оказывается самый подход, отношение к проблеме государства. Если идеальное государство Платона («Государство» и даже в какой-то мере «Законы») имеет значение лишь абсолютной (и отвлеченной) нормы, то совершенное государство Цицерона — не только построение, пригодное именно для Рима и даже связанное с определенной эпохой, но и реально воплощенное в самой римской истории. Это — пример как бы скрытой полемики с Платоном. То же самое можно сказать и по поводу тех «внешних» и формальных совпадений с «Государством», которые только что упоминались. Здесь все почти «непроизвольно» переделано на «римский лад»: у Платона диалог происходит на празднике фракийской богини, в доме человека, не являющегося даже гражданином Афин, у Цицерона — во время Латинских празднеств, в доме первого гражданина и государственного деятеля Сципиона Эмилиана. Это и придает всему диалогу чисто римскую окраску. Более того, если Платон заключает свой диалог апофеозом, в котором выступает некий воин, павший в бою и очнувшийся от десятидневной очевидной смерти, то Цицерон приводит в заключение беседу между двумя героями Рима и мотивирует ее введение вполне правдоподобным образом, т. е. сновидением. У Платона произведение кончается апофеозом философа, у Цицерона — апофеозом государственного деятеля.

Приведенные места можно считать примерами «скрытой полемики». Но в трактате «О государстве» наряду с самой высокой оценкой Платона встречаются также прямые и открытые выпады против него. Так, Цицерон (устами Сципиона) заявляет, что он может легче следовать избранной им теме, показав римское государство на различных стадиях его развития, чем если бы он стал рассуждать о каком-то измышленном государстве, как это делает Сократ у Платона⁴⁷.

Полемика против Платона незаметно перерастает в полемику против греческих образцов и канонов вообще.

⁴⁷ *Cic., De rep.*, II, 3; ср. 51—52.

Весьма показательна приводимая в самом начале второй книги трактата апология Катона Старшего, этого «истого римлянина», врага растлевающих иноземных влияний. Ссылаясь именно на него, Цицерон (устаами Сципиона) рассуждает о преимуществах римского государства по сравнению с Критом, Спартой, Афинами, государственный строй которых всегда зиждился на законах и установлениях, введенных отдельными деятелями. «Напротив, наше государство, — говорит Цицерон, — создано умом не одного, а многих людей и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков и на протяжении жизни нескольких поколений»⁴⁸.

Не менее полемический характер носит и рассуждение о выборе места для основания города, будущего Рима. В данном случае явно ощущается стремление противопоставить Рим греческим приморским полисам. В этом же плане воспринимается и противопоставление выборной царской власти, существовавшей, по мнению Цицерона, у древних римлян, воззрениям Ликурга, который якобы настаивал на том, что цари не могут выбираться, коль скоро они должны принадлежать к роду, ведущему свое начало от Геркулеса. Наконец, одним из наиболее ярких примеров полемики с греческими образцами и вместе с тем примером восхваления римской самобытности может служить неприятие Цицероном версии, согласно которой Нума Помпилий был учеником (или последователем) Пифагора. Это рассуждение заключается характерным пассажем: «Меня радует, что мы воспитаны не на заморских и занесенных к нам науках, а на прирожденных и своих собственных доблестях»⁴⁹.

Таково довольно сложное, своеобразное отношение Цицерона к греческим образцам и источникам, и в первую очередь к Платону и Полибию. В заключение следует сказать, что учение Цицерона о наилучшем государственном устройстве, взятое в целом, представляет собой достаточно своеобразное явление. Как нетрудно убедиться, в основе этого учения лежала греческая теоретическая мысль, но мысль уже в значительной степени модифицированная, а потому на целом ряде примеров, деталей — причем часто отнюдь не второстепенных — прослеживается

⁴⁸ *Cic.*, *De rep.*, II, 2.

⁴⁹ *Ibid.*, II, 29.

отход от греческих «образцов» и даже прямая полемика с ними. Полемика эта вполне закономерна, она обусловлена теми целями, которые (осознанно или неосознанно — это уже другой вопрос!) стояли перед автором. Основная цель заключалась в том, чтобы довольно отвлеченные построения греческой теории приспособить, применить к конкретнo-историческим условиям Рима. Подобно тому как римские стоики модифицировали в этих целях ригористический идеал мудреца, так сначала Полибий, а затем в еще большей степени Цицерон сумели видоизменить учение о смешанной форме правления, приведя его в соответствие с современными им запросами римского общества.

ТЕОРИЯ УПАДКА ПРАВОВ И ИДЕЯ ПРАВСТВЕННОЙ РЕФОРМЫ

Представление о золотом веке, притом обязательно перенесенном в далекое прошлое, т. е. учение о *πάτριος πολιτεία*, становится составной частью почти всех политических концепций эллинских мыслителей — во всяком случае, начиная с Сократа и Платона. Сократ, как уже отмечалось, был одним из первых (если вообще не первым) провозвестником лозунга *πάτριος πολιτεία*. Отступление афинян от старых устоев, от законов и обычаев предков и стало, по его мнению, основной причиной ослабления афинского могущества¹. Эти воззрения Сократа оказали бесспорное влияние на его учеников и последователей: Ксенофонта (ориентировавшегося на лаконский образец), Исократа (видевшего перед собой древнеаттический образец) и, наконец, Платона, который прямо заявлял, что идеальный государственный строй, описанный им, якобы уже существовал в Афинах за 9 тыс. лет до него².

Таким образом, основное ударение эллинские мыслители делали именно на государственном строе. Поэтому ослабление, упадок любого государства воспринимались ими всегда как результат перемены (вернее — «порчи») его строя. Так понимал это Платон, когда утверждал, что олигархия вырождается в демократию, а демократия в тиранию³. Так же по существу судил и Аристотель с его учением о правильных и извращенных формах государственного устройства, с его детально разработанной систематикой государственных переворотов и их причин⁴.

¹ Xen., Mem., III, 5.14.

² Plato. Krit., 111 a.

³ Plato. Resp., 562 a — b.

⁴ Arist., Pol., III, 4, 7—5, 1—4; V, 1—10.

На римской почве эти воззрения и лозунги претерпевают, однако, определенную модификацию. Формула *pátrios politeía* заменяется как будто бы полностью, на первый взгляд, совпадающей с нею формулой *mos maiorum*, тоже имевшей в виду «золотой век», который также локализовался в прошлом. Но есть одно немаловажное отличие: под *mos* понимались не столько обычаи, законы, сколько нравы. Таким образом, основной акцент переносился со «строения» (*politeía*) на «нравы» (*mos*). Это и приводило в римских условиях к возникновению учения об упадке нравов как основной причине ослабления, даже гибели государства, а с другой стороны, — к идее нравственной реформы.

Учение об упадке нравов было довольно широко распространено среди правящих слоев римского общества. Оно имело определенный политический смысл и направленность и использовалось римскими государственными деятелями в качестве орудия политической борьбы. Распространенность этого учения в значительной мере объяснялась тем, что оно опиралось на некоторые основные категории древнеримской полисной морали. Еще раз подчеркнем, что древнеримская мораль всегда имела своим образом нравы и обычаи предков. Уважение к ним прививалось римлянам с детства, в семье. Отец наставлял детей своим примером; маски и инсигнии предков хранились в доме на самом почетном месте. Подобного рода воспитание осуществлялось не только семьей, родом, но и всей общиной. Поэтому древнеримская мораль может рассматриваться как мораль, созданная именно самой общиной, ее традициями и хранимая высшими должностными лицами этой общины, определяющими моральную ценность каждого отдельного человека, каждого члена общины.

В древнейшем из дошедших до нас латинских прозаических произведений — в труде Катона о сельском хозяйстве — в самом начале перед нами предстает образ «идеального мужа» (*vir bonus*), как его понимали предки: хороший земледелец и хороший хозяин⁵. Интересно, что спустя примерно 200 лет, в эпоху Империи, Сенека пропагандируя идеал совершенного, только перед собой от-

⁵ *Cato. De agr., pr., 2: virum bonum quom laudabant, ita laudabant, bonum agricolam bonumque colonum.*

ветственного гражданина вселенной, умудряется все же сохранить его специфически римскую окраску, сопоставляя и по существу отождествляя совершенного человека с совершенным римлянином.

Мы уже говорили о цензуре Катона⁶. Она имела особое значение в истории Рима. И прежде всего она важна для датировки кризиса. Катон, как известно, говорил о «гнусностях» (*flagitia*), которые распатывают древние моральные устои, но сам считал эти «гнусности» новыми. Тем самым он определял кризис как недавно возникший и поэтому еще излечимый; видимо, так же расценивала ситуацию основная масса населения, о чем свидетельствовала посвяtitельная надпись в храме богини Салюты. Распространение кризиса действительно было локализовано и на какое-то время приостановлено цензорскими мероприятиями Катона. Он использовал для этого то единственное средство, которое могла предложить ему римская традиция, — *severitas*, т. е. строгость. Однако попытка реформ Катона, как бы энергично она ни осуществлялась, имела лишь временный успех, и это как будто служит свидетельством того, что необходимы были уже иные средства.

Если древнеримская мораль покоилась на традиции и находилась под надзором общины, то отсюда следует, что подобная мораль могла обеспечивать «чистоту» образа жизни лишь до тех пор, пока действия и поступки отдельных лиц были доступны приговору и воздействию гражданской общины, пока эта община могла влиять на «нарушителей». Границы морали, покоившейся на таких основаниях, обнаруживались в тот момент, когда отдельное лицо ставило себя вне полисной общины и уже не признавало ее приговор бесспорным. Это произошло тогда, когда маленькая община, группировавшаяся вокруг Рима, стала выходить на общеталийскую, а затем и на мировую арену. Первоначально для каждого римлянина решающее значение имел приговор, мнение, высказанное о нем общиной, Римом; изгнание «за Тибр» было для него равносильно гражданской смерти. Теперь же он нередко управлял чужой страной, представлявшей собой крупное государство, был окружен неслыханными, почти божескими почестями со стороны местного населения, и тут он не-

⁶ См. выше, гл. III.

вольно вступал на такой путь, идя по которому, он все более и более ощущал независимость от того, что говорят по его поводу дома, в Риме. Благодаря этому обстоятельству древняя, связующая полисную общину мораль оказывается уже не в состоянии действовать как регулятор нравов мирового государства.

Итак, причиной кризиса древнеримской морали был кризис полиса, а следствием — «упадок нравов», ломка традиций, отход от древних норм и устоев. Это — явление вполне закономерное и естественное. Немыслимо было управлять огромным государством и утверждать свое не только материальное, но и духовное превосходство при помощи морали, которая возникла в маленьком латинском городке и была рассчитана лишь на его граждан. Древнеримская мораль в силу своих специфических черт вообще могла сохраняться только среди имеющих одинаковые права граждан.

Какое же отражение нашел кризис этой морали в римской литературе, а точнее — в римской историографии?

У многих авторов мы находим лишь краткие указания на разложение нравов в римском обществе. Они, тем не менее, дают представление о том, как сами римляне датировали начало этого процесса. Например, Фабий Пиктор считал, что римляне впервые «попробовали богатства» в период III Самнитской войны (298—290 гг.). Об этом упоминает Страбон⁷. Валерий Максим⁸ говорит о склонности к менее строгому образу жизни, которая стала заметной после конца II Пунической войны (201 г.) и поражения Филиппа Македонского (197 г.). Ливий⁹ считает, что возвращавшееся из Азии оккупационное войско (187 г.) принесло с собой в Рим семена расточительности. Полибий рассматривает исчезновение древней скромности и бережливости как следствие войны с Персеем (168 г.)¹⁰. Посидоний начинает период упадка с года разрушения Карфагена (146 г.), и ему в этом следует Саллюстий¹¹. Таким образом, у самих римских историков датировка колеблется между 90-ми годами III в. до н. э. и 146 г. до н. э. Но,

⁷ *Strabo*, V, 3.1.

⁸ *Val. Max.*, IX, 1.3.

⁹ *Liv.*, XXXIX, 6.7.

¹⁰ *Polyb.*, XXXI, 25.

¹¹ *Sall.*, *Cat.*, 10 sqq.; *Iug.*, 41 sqq.; *Hist.*, I, 11 sqq.

разумеется, эти слишком общие и слишком краткие указания мало что говорят по существу. Первая попытка поставить вопрос об упадке нравов более широко, дать исторический анализ этого явления и его причин принадлежит представителям Римской Стои.

Прежде всего здесь надо назвать Полибия. Но в трактовке интересующего нас вопроса он занимает как бы промежуточную позицию между эллинскими мыслителями «классической» эпохи и римскими историками (и политическими деятелями). С одной стороны, Полибий утверждает, что судьба любого государства подчинена неизбежным органическим законам становления и уничтожения. Эти законы имеют такую силу и действуют столь неукоснительно, что, изучив их, можно предположить ход и итоги развития, причем эпоха расцвета позволяет предвидеть грядущий распад и даже его наиболее характерные черты¹².

С другой стороны, Полибий, как и большинство римских историков, рассуждает уже не отвлеченно-теоретически, но твердо стоит на конкретно-исторической почве. Так, не называя Рим по имени, но, безусловно, имея в виду современное ему положение римского государства, Полибий говорит: «Если государство отразило многие опасности и затем достигло безусловного превосходства и мощи, то получается, что образ жизни каждого в отдельности становится все более притязательным, потому что в государстве в целом распространяется богатство и люди начинают домогаться почестей и должностей с неумным честолюбием. В дальнейшем страсть к господству, честолюбие и корыстолюбие ведут к кичливой пышности частной жизни и к началу общего разложения»¹³.

Эти взгляды Полибия на упадок нравов и его причины едва ли следует рассматривать как уже разработанную и самостоятельную теорию. Речь в данном случае может идти лишь о зародыше такой теории, но хотелось бы еще раз подчеркнуть, что Полибий подразумевает конкретную обстановку, а развиваемые им взгляды имеют определенную политическую направленность; например, он говорит о властолюбии и корыстолюбии не вообще, но как о пороках римского нобилитета.

¹² *Polyb.*, VI, 57.

¹³ *Ibidem*.

Творцом первой теории упадка нравов следует, по всей вероятности, признать Посидония. Поскольку сохранившиеся фрагменты его произведений недостаточны и не могут дать представления о некоторых весьма существенных деталях теории в целом, приходится обращаться к Диодору, ибо, как давно доказано¹⁴, Диодор в XXXII—XXXVII книгах весьма близко примыкает к Посидонию.

Посидоний же, развивая взгляды Полибия (а быть может, и Панетия) на исторические судьбы Рима, создал теорию, которая связывала разложение римского общества с нравственной деградацией самих римлян. Фрагменты Диодора (упомянутые книги дошли до нас тоже только в эксерптах) показывают, что основными элементами теории Посидония были: картина «золотого века», роль *metus Punicus* как регулирующего и сдерживающего начала, разрушение Карфагена и каузальная связь этого события с падением нравов в Риме, четкое представление о 146 г. до н. э. как некоем рубеже, за которым следуют разгул низменных страстей и катастрофически прогрессирующее разложение общества, затем картина этого разложения и, наконец, рассуждение об алчности, корыстолюбии как об одной из главных причин упадка нравов.

Посидоний, видимо, не только развивал уже высказанные его предшественниками основные положения теории, но и стоял на тех же принципиальных позициях: его общую концепцию отличает явно ощутимая связь между конкретно-историческим аспектом (*metus Punicus*, разрушение Карфагена, четкая датировка рубежа 146 г. и т. п.) и философской интерпретацией исторических событий и фактов. Вполне вероятно, что тенденция к философским обобщениям и отвлеченному теоретизированию проявлялась у Посидония сильнее (и это вполне естественно), чем у Полибия.

Все основные элементы Посидониевой теории упадка нравов в дальнейшем вошли в тщательно разработанную схему Саллюстия¹⁵. В ней теория упадка получает, пожалуй, наиболее полное и вместе с тем наиболее специфическое (для римских условий) выражение. Причем следует

¹⁴ Meyer Ed. *Kleine Schriften*, I, 1910, S. 390 ff.

¹⁵ Более подробно о концепции Посидония и влиянии ее на Саллюстия см. Schur W. *Sallust als Historiker*. Stuttgart, 1934, S. 62—101.

отметить, что воззрения Саллюстия на интересующий нас вопрос формировались постепенно, почти на всем протяжении его литературной деятельности, подвергались уточнениям и модификации под влиянием как меняющейся политической обстановки, так и теоретических штудий самого автора.

Наиболее ранний и еще несовершенный вариант Саллюстиевой теории упадка нравов мы встречаем в одном из писем Саллюстия, адресованном Юлию Цезарю. Как известно, перу Саллюстия приписываются два таких письма, хотя спор об их подлинности (вернее, о принадлежности их Саллюстию) идет чуть ли не с XVI в.

Этот вопрос имеет свою историю, и она представляет для нас определенный интерес. «Письма к Цезарю-старцу о государственных делах» сохранились вместе с некоторыми другими извлечениями из произведений Саллюстия в одной ватиканской рукописи X в. (Vaticanus 3864). В этой рукописи более раннее «Письмо к Цезарю» находится на втором месте, а более позднее — предшествует ему (поэтому, согласно традиции, при ссылках более раннее письмо обозначают, как Ер. II, а более позднее, но в рукописи стоящее на первом месте, — как Ер. I). «Письма к Цезарю» следует считать первым произведением римского историка, но, конечно, лишь в том случае, если они действительно принадлежат ему.

Более ста лет назад Г. Иордан после тщательного анализа языковых данных пришел к выводу, что «Письма» представляют собой упражнения ратора (или раторов) эпохи Флавиев — Антонинов, достаточно удачно имитирующие саллюстианский стиль. Этот взгляд был господствующим в западной историографии до конца прошлого столетия. Только в начале XX в. эта гиперкритическая точка зрения стала пересматриваться. Р. Пёльман¹⁶ и Эд. Мейер¹⁷ определенно отнесли «Письма» к периоду гражданских войн I в. до н. э., чем, собственно говоря, решался вопрос и об их авторе. Ибо кто же мог подражать «саллюстианскому стилю» до появления в свет первых произведений Саллюстия? Вопрос о подлинности «Писем» снова

¹⁶ Pöhlmann R. Zur Geschichte der antiken Publizistik.—SBBAW, Phil. und Hist. Klasse, H. 4, 1904, S. 3—79.

¹⁷ Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius. Stuttgart und Berlin, 1922, S. 357—364; 388—399.

довольно активно и разносторонне обсуждался в 20—30-х годах XX в., и в результате большинство исследователей приняло тезис о подлинности «Писем» и авторстве Саллюстия¹⁸.

Однако в 60-х годах появилась работа такого крупного знатока, как Р. Сайм, специально посвященная Саллюстию. В этой работе автор по крайней мере трижды обращается к «Письмам к Цезарю». Как в свое время Иордан, он считает их образцом упражнений поздних риториков и, следовательно, отрицает авторство Саллюстия¹⁹. Справедливость требует отметить, что и в самые последние годы исследователи, касавшиеся вопроса о подлинности «Писем», приходили к различным выводам. Не будем углубляться в эту дискуссию, заметим лишь, что, с нашей точки зрения, соображения, высказываемые сторонниками авторства Саллюстия, выглядят убедительнее, хотя, по всей вероятности, вопрос о подлинности «Писем» принадлежит к числу таких, которые едва ли могут быть решены окончательно и однозначно.

Перейдем теперь к датировке «Писем». Раннее письмо (Ер. II), по-видимому, можно датировать 51—50 гг. Из всего контекста письма явствует, что оно написано еще до начала гражданской войны. Поскольку в письме говорится о покорении галльских племен (*Gallica gente subacta*)²⁰, то можно предположить и другое: речь идет о том времени, когда галльская война уже была окончена. Вместе с тем слова Саллюстия: «решил напомнить тебе, занятому военными трудами, битвами, победами, командованием, о том, что делается в Риме»²¹, — могут служить указанием на то, что это раннее «Письмо» написано еще во время пребывания Цезаря в Галлии.

Приведенная фраза позволяет судить о том, не позже какого времени написано данное письмо. Что касается ранних пределов датировки, то помимо приведенного выше места (*Gallica gente subacta*) в тексте есть ряд других

¹⁸ См., например, *Kroll W. Sallusts Staatsschriften*. — «Hermes», LXII, 1927; *Seel O. Sallust von den Briefen ad Caesarem zur Coniuratio Catilinae*. Stuttgart, 1930; *Schur W. Sallust als Historiker*.

¹⁹ *Syme R. Sallust*. Berkeley and Los Angeles, 1964, p. 3 sqq., 299 sqq.

²⁰ *Sall.*, Ер. II, 12.

²¹ *Ibid.*, 2.

косвенных указаний, как, например, включение Марка Фавония в число врагов Цезаря (что могло иметь место лишь в 51—50 гг., когда Фавоний примкнул к Помпею)²². Таким образом, более раннее «Письмо к Цезарю» — при условии признания его подлинности — датируется довольно точно.

Что касается более позднего «Письма», то общий контекст и разбросанные по всему письму сведения не оставляют сомнений в том, что оно появилось уже в период гражданской войны. Есть даже основания утверждать, что оно написано после того, как Цезарь достиг крупных успехов в ходе войны, очевидно, после битвы при Тапсе. Саллюстий неоднократно упоминает о «победе» Цезаря, о необходимости перейти от войны к мирным занятиям, о восстановлении государства и т. п.²³ Следовательно, более позднее «Письмо к Цезарю» датируется вероятнее всего, 46 г. до н. э.

Нас интересует это более позднее «Письмо», ибо именно в нем мы встречаемся с первоначальным наброском теории упадка нравов. Основной пафос письма и содержащихся в нем призывов к Цезарю — не обратить во зло завоеванную власть, употребить ее на укрепление мира, на решение новых задач по восстановлению распавшихся войной устоев, по восстановлению «добрых нравов» в римском государстве. В этой связи Саллюстий рисует достаточно мрачную картину состояния нравов в Риме.

Характерные примеры упадка и разложения рассыпаны по всему письму. Саллюстий говорит о непомерной роскоши и алчности, царящих в римском обществе, о развращенности юношества, об испорченности народа денежными и хлебными раздачами²⁴. Но главным образом в этом письме Саллюстий останавливается на ужасах междоусобной войны, описанию которых посвящена целая глава. Там говорится о тайных убийствах и преступлениях, о массовых избиениях, о гибели женщин и детей, о разрушении жилищ²⁵. Саллюстий гневно обрушивается на тех, кто в эти тяжелые дни, несмотря на все ужасы и

²² *Sall.*, Ep. II, 9.

²³ *Sall.*, Ep. I, 3; 5—6.

²⁴ *Ibid.*, 5—7.

²⁵ *Ibid.*, 4.

страдания людей, проводит время в пирах, наслаждениях, разврате²⁶.

Каковы же причины разложения? Собственно говоря, причина всегда одна и та же. «Нередко, размышляя о том, — пишет Саллюстий, — каким путем великие люди достигают славы, как возвышаются с помощью выдающихся правителей народы, какие обстоятельства влекут за собой гибель обширных государств, я всегда приходил к выводу, что одни и те же добродетели или одни и те же пороки были причиной этих противоположных явлений: все вышедшие победителями из борьбы презирали богатства, все побежденные страстно стремились к ним». Поэтому достичь истинного величия как отдельному человеку, так и государству можно лишь одним путем: презрев богатства и телесные наслаждения, упражняясь «в трудах, терпении, благих начинаниях и отважных подвигах», т. е. путем нравственного совершенствования²⁷. Эти краткие формулировки по существу — зародыш Саллюстиевой теории упадка нравов.

Интересна также позитивная программа, т. е. проекты выдвигаемых Саллюстием реформ. Поскольку причиной упадка и разложения оказывается непомерная алчность, то Саллюстий прежде всего предлагает уничтожить роскошь и пресечь любовь к деньгам. Характерно, что сделать это, восстановив древние законы, обычаи, учреждения, уже не представляется возможным из-за слишком далеко зашедшего разложения общества. Поэтому для Саллюстия существует лишь один выход: чтобы каждый довольствовался лишь своим, следует уничтожить ростовщичество²⁸. Саллюстий понимает, что осуществить это далеко не так просто и легко, но интересы государства настоятельно требуют такой меры, и потому провести ее необходимо²⁹.

Затем Саллюстий перечисляет ряд второстепенных предложений, не давая даже себе труда их развить и обосновать. Тут и уничтожение торговли должностями, которая, впрочем, сама собою прекратится, как только уничтожится любовь к деньгам, тут и меры по обеспечению безопасности в Италии, и регулирование срока военной

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ibid., 7.

²⁸ Ibid., 5.

²⁹ Ibid., 6.

службы, и предложения о раздаче хлеба ветеранам³⁰. Этими предложениями и исчерпывается программа реформ в позднем «Письме».

Общее впечатление от более позднего письма и обращения к Цезарю, пожалуй, таково: состояние римского общества к концу гражданской войны являет картину разложения нравов, причины этого явления — также морального порядка, следовательно, есть только один способ исцеления: нравственная реформа (дополненная рядом частных практических мероприятий). Кстати сказать, эта общая принципиальная установка достаточно четко отличает данное письмо от более раннего обращения к Цезарю.

Нам нет необходимости подробно останавливаться на «Письме» 50 г. до н. э. или полностью излагать его содержание — подчеркнем лишь самую суть расхождений между обоими документами. В более раннем письме излагается политический идеал Саллюстия, выраженный следующими знаменательными словами: народ должен повиноваться сенату, как тело душе, и следовать его решениям; сенаторам приличествует выделяться политической мудростью и дальновидностью, для народа же подобные качества — излишни³¹.

Далее, более раннее письмо построено на конкретном историческом материале. Характеристика политического идеала подкреплена историческим экскурсом, в котором говорится об исконном делении римского общества на *patres* и *plebs*, о борьбе сословий, о сепессии. В результате этих событий «силы нобилитета уменьшались, а права народа возрастали», что и привело к некоему состоянию устойчивого равновесия между сенатом и народом, т. е. к эпохе процветания государства, к «золотому веку»³².

Картина разложения в раннем письме обусловлена в первую очередь социально-экономическими и политическими причинами: утратой земельных наделов, принадлежавших гражданам, ростом нужды, а с другой стороны — слабостью сената, превратившегося в орудие клики интриганов (*factiosi*)³³. В соответствии с такой трактовкой

³⁰ *Sall.*, Ep. I, 8.

³¹ *Sall.*, Ep. II, 10: ... igitur ubi plebs senatui, sicuti corpus animo obedit, eiusque consulta exsequitur; patres consilio valere decet, populo supervacanea est calliditas.

³² *Ibid.*, 5.

³³ *Ibid.*, 10—11.

разложения римского общества и программа реформ, выдвигаемая Саллюстием в раннем письме, носит явно выраженный политический и социальный характер и предполагает проведение ряда мер, необходимых (как формулирует сам автор) для обновления народа и обновления сената³⁴. Основной реформой первого раздела следует считать вывод «смешанных» колоний (колоний, в которых старые граждане будут смешаны с новыми, т. е. недавно получившими права гражданства)³⁵; основная реформа второго раздела — увеличение числа сенаторов и введение в сенате тайного голосования³⁶.

Если раннее письмо к Цезарю отличается определенной и достаточно четко выраженной политической направленностью, вполне конкретным историческим содержанием, то все эти характерные моменты и тенденции в более позднем письме почти полностью элиминированы — в нем центр тяжести перенесен на другое: речь в нем идет уже о борьбе нравственных категорий, а не о борьбе сословий, об идее нравственной реформы, а не о взаимоотношениях сената и народа.

Однако, как уже было сказано, в «Письмах» Саллюстия к Цезарю содержится лишь первоначальный вариант, лишь зародыш его теории упадка нравов. Свое наиболее полное выражение эта теория находит в позднейших трудах Саллюстия, в первую очередь — в его широко известной монографии, посвященной заговору Катилины. Какая же из двух отмеченных в письмах тенденций берет верх? Судя по тому, что первый набросок теории упадка содержится не в раннем, а в более позднем письме, казалось бы, что дальнейшее развитие должна получить «отвлеченно-философская» тенденция, тенденция аполитизма: во-первых, как более тесно связанная с основной темой, а во-вторых, как возникшая позднее, т. е. сменившая как будто бы тенденцию раннего письма. Но так ли это на самом деле? Обратимся к историческому экскурсу «Заговора Катилины», где Саллюстий наиболее полно и ярко излагает свою теорию упадка нравов.

Саллюстий разделяет историю римского государства на три больших периода, или «цикла». Эти «циклы» не сов-

³⁴ Ibid., 10.

³⁵ Ibid., 5.

³⁶ Ibid., 11.

падают с теми циклами развития человеческого общества, которые устанавливал в свое время Платон, хотя бы потому, что Саллюстий оперирует материалом римской истории, но общее влияние Платона отнюдь не исключено³⁷.

К первому периоду (или «циклу») Саллюстий относит основание Рима троянцами, которые, слившись с аборигенами, образовали единую общину, жившую еще без законов, но согласно и свободно. Эта преуспевавшая община стала вызывать зависть, соседние цари и народы начали совершать нападения на нее. Римляне мужественно отражали опасность, защищая родину, свободу, семью. Власть в этот период принадлежала царям, но все государственные дела обсуждались старейшинами, «отцами» (*patres*). Когда царская власть начала вырождаться в тиранию, римляне сменили государственное устройство, поставив во главе государства двух выборных и ежегодно сменяемых правителей — консулов³⁸.

Второй период, для которого характерны выборная власть, свобода и высоконравственная жизнь общества, Саллюстий описывает более подробно, ибо это «золотой век» римской истории. У всех граждан наблюдался необычайный подъем чувства собственного достоинства, стремление к славе овладело всем обществом, люди заботились о накоплении не денег, но героических подвигов и доблестных деяний, ибо только они и считались тогда истинным богатством. В обществе культивировались добрые нравы, царило согласие, приращенная порядочность заменяла писанные законы. Неустрашимость на войне и неподкупная справедливость в мирное время — вот какими двумя средствами охраняли римляне свое государство. Этот лучший период римской истории, период «золотого века», продолжался вплоть до разрушения Карфагена³⁹.

Нас более всего интересует последний, третий период, ибо, рассказывая о нем, Саллюстий и рисует картину упадка нравов. Остановимся на его описании, дабы сравнить его с тем, что говорилось по этому же поводу в «Письмах к Цезарю». В самом начале описания третьего периода подчеркивается, что роковым рубежом всей истории Рима

³⁷ Утченко С. Л. Воззрения Саллюстия на идеальное государственное устройство. — ВДИ, 1948, № 1, с. 190—202.

³⁸ *Sall., Cat.*, 6.

³⁹ *Ibid.*, 7; 9.

было разрушение Карфагена, «соперника римской державы». Отсюда берут свое начало все внутренние смуты и раздоры, отсюда — начало разложения государства. Основными причинами разложения следует считать две страсти, два порока, которые именно в это время развиваются в римском обществе: жажда власти, честолюбие (*ambitio*) и страсть к деньгам, корыстолюбие (*avaritia*). «Честолюбие заставило людей стать лжецами, одно держать втайне на уме, другое — высказывать явно на словах, расценивать дружеские и враждебные отношения не по существу, а по расчету и более заботиться о привлекательности внешнего вида, чем внутреннего содержания»⁴⁰.

Второй порок еще более опасен для общества, «ибо корыстолюбие в корне подрывает верность, правдивость и другие положительные качества в человеке; выдвигая же на первый план жестокость и кичливость, оно учит людей с пренебрежением относиться к богам и все считать продажным»⁴¹. Саллюстий посвящает несколько строк сравнению и описанию этих двух «главных» пороков: *ambitio* и *avaritia*, приходя к выводу, что честолюбие все-таки «ближе стоит к добродетели», чем корыстолюбие⁴².

В силу всех этих причин верховная власть в государстве из самой справедливой вырождается в самую худшую и жестокую — в тиранию. После того как Сулла с оружием в руках вторично овладел государством, все предалось грабежам и разбоям. Победители (т. е. сулланцы), утратив всякое самообладание и чувство меры, совершали по отношению к согражданам отвратительные преступления и насилия. Даже римская армия, которая славилась когда-то закаленностью духа воинов, развратилась и, забыв обычаи предков, предалась роскоши и распутству⁴³.

И вот римское общество окончательно погрязло в пороках и преступлениях. Уважается лишь богатство, добродетель поправа, бедность считается позором, честность — чуть ли не неблагонамеренностью. Особенно неустойчивой оказалась молодежь, которая под влиянием алчности и роскоши обратилась, с одной стороны, к грабежам, с другой — к безумным тратам, забыла стыд и скром-

⁴⁰ Ibid., 10.

⁴¹ Ibidem.

⁴² Ibid., 11.1.

⁴³ Ibid., 11, 4—7

ность и не желает подчиниться ни людским, ни божеским законам.

Если сравнить современные дома и виллы с храмами, построенными предками в честь богов, то нетрудно убедиться, что предки старались украшать свои святилища набожностью, а свои жилища — славою. Потомки же этих благородных людей дошли до чудовищных извращений, само богатство для них — предмет дикой забавы, ибо чем иначе объяснить, что некоторые частные лица из прихоти срывают горы и застраивают моря. Нет ничего удивительного в том, что в таком обществе пышным цветом расцвели разврат, извращения, чревоугодие и прочие пороки. Подобная жизнь, подобная обстановка сама толкает людей, в особенности молодежь, на всякие преступления и беззакония. Воплощением всего этого разврата следует считать Катилину и его приспешников, его «свиту из всевозможных пороков и преступлений»⁴⁴.

Таково описание разложения нравов в историческом экскурсе «Заговора Катилины». Если сравнить его с изображением упадка в письмах к Цезарю, то, как нетрудно убедиться, исторический экскурс, несомненно, разработан более тщательно. То, что, например, в раннем письме обозначено намеком или одной фразой, в «Заговоре Катилины» разрастается до целого описания. Это относится хотя бы к теме «золотого века», едва намеченной в раннем письме⁴⁵ и подробно развитой в историческом экскурсе. То же самое можно сказать по поводу трактовки причин разложения.

Но главное — картина упадка в «Заговоре Катилины» интересна и важна тем, что она как бы объединяет соответствующий материал и тенденции обоих «Писем» Саллюстия. С одной стороны, здесь приводятся конкретно-исторические события, как и в раннем письме к Цезарю (гибель Карфагена, диктатура Суллы, деятельность самого Катилины), с другой — причиной упадка и наиболее ярким его проявлением оказывается разгул пороков (*vitia*), в первую очередь честолюбия и корыстолюбия, так что картина упадка в целом трактуется в морально-философском плане, в манере более позднего письма. Невольно возникает вопрос: давая в историческом экскурсе «Заговора Катилины» наиболее полное, развернутое изложение

⁴⁴ *Sall., Cat.*, 12.1—14.1.

⁴⁵ *Sall.*, *Ep.* II, 5.

своего учения об упадке нравов, не повторяет ли Саллюстий схему Посидония — вплоть до объединения двух «линий интерпретации», двух аспектов: конкретно-исторического и морально-философского? На первый взгляд, это так и есть, однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается отличие, причем весьма существенное: если у Посидония, как уже отмечалось⁴⁶, второй аспект действительно имеет характер отвлеченный, даже «сублимированный», то у Саллюстия — и это, пожалуй, типично римская особенность — данный аспект выглядит по-иному.

В «Заговоре Катилины» изображается не разложение общества «вообще», не борьба абстрактных категорий *ambitio* и *avaritia*, а деградация вполне определенной общественной группы. Это — картина разложения римского нобилитета. Знакомство с материалом может лишь подтвердить такое предположение.

Действительно, как уже не раз подчеркивалось выше, основной причиной упадка, по мнению Саллюстия, было развитие сначала честолюбия, а затем корыстолюбия. Но где же именно, в какой среде развились эти пороки? Отнюдь не прямо, а только намеками, косвенно автор дает возможность выяснить его истинное отношение к этому вопросу. Саллюстий указывает на то, что в результате развития упомянутых пороков власть в государстве вырождается из справедливой в самую жестокую и неприемлемую⁴⁷. Но если так, то упомянутые пороки характерны, как это и подчеркивается данной формулировкой, в первую очередь для тех, кто стоит у власти. Кому же принадлежит власть в римском государстве? Власть незаконно захвачена нобилитетом. Об этом Саллюстий прямо говорил еще в раннем «Письме» к Цезарю⁴⁸, и в «Заговоре Катилины» можно встретить не менее определенные высказывания⁴⁹. Господство клики нобилитета становится особенно явным после того, как Помпей отправился на войну с пиратами и Митридатом. В руках олигархов сосредоточились государственные должности, управление провинциями и пр.⁵⁰

⁴⁶ См. выше, с. 163.

⁴⁷ *Sall.*, *Cat.*, 10.6.

⁴⁸ *Sall.*, *Ep.* II, 3; 11.

⁴⁹ *Sall.*, *Cat.*, 38. 2—3.

⁵⁰ *Ibid.*, 39. 1—2.

Но если *ambitio* и *avaritia* свойственны власть имущим, то отсюда следует, что эти пороки, вызвавшие столь глубокий упадок нравов, характеризуют именно римский нобилитет. Не случайно Саллюстий в историческом экскурсе подчеркивал, что окончательный распад общества начинается с эпохи сулланской диктатуры, предавшей государство нобилитету. Так же не случайно Саллюстий указывает, что именно действия Суллы побудили Катилину к его преступной попытке захватить власть, что Катилина рассчитывал на поддержку сулланских ветеранов⁵¹.

Когда Саллюстий переходит к описанию тех безумных трат и роскоши, того преклонения перед богатством, которые пышно расцвели в Риме, он снова подразумевает насквозь безнравственную и продажную среду нобилитета. Это опять та же немногочисленная клика, которая благодаря своему богатству (а богатство — ее единственная доблесть и достоинство) захватила власть и первенство в государстве. Говоря же о роскоши домов и вилл, о безумных предприятиях и тратах, вроде срытия гор и застройки морей, Саллюстий, несомненно, намекал на определенных, всем известных лиц, хотя бы, например, на Лукулла.

Итак, оказывается, что в историческом экскурсе Саллюстий, говоря о развращенности и разложении римского общества, подразумевал не общество «в целом», а в первую очередь и главным образом нобилитет. Но в этом нас убеждает не только материал исторического экскурса.

Самый факт заговора, сама личность Катилины для Саллюстия — явление закономерное и неизбежное, оно — следствие морального разложения той среды, которая одна только и могла породить чудовище, подобное Катилине. Саллюстий подчеркивает, что Катилина был продуктом окружавшей его среды⁵². Что же это за среда? Как мы уже установили, общество, терзаемое пороками *luxuria* и *avaritia*, — это нобилитет. Да и сам автор дает совершенно четкий ответ на вопрос о том, какой средой был порожден Катилина: *Lucius Catilina, nobili genere natus*⁵³.

⁵¹ *Sall., Cat.*, 5.6; 16.4.

⁵² *Ibid.*, 5.8.

⁵³ *Ibid.*, 5.1.

Таким образом, Катилина — порождение развратной среды нобилитета, в нем как бы персонифицированы все пороки этого сословия. У него извращенный характер, который сводит на нет все его природные дарования, его смолоду прельщают междоусобные войны, грабеж и убийства, он коварен, непостоянен, лжив, неискренен, жаден до чужого, расточителен в своем, неумерен в страстях⁵⁴. Почти в тех же самых выражениях перечисляет здесь Саллюстий качества и пороки, которыми он наделил якобы римское общество «в целом», т. е. римский нобилитет.

Но Катилина для Саллюстия — типичный представитель нобилитета не только по своему характеру, но и по всем своим «устремлениям». Он охвачен безграничным желанием захватить государственную власть, он стремится к тирании, он не стесняется в выборе средств для достижения этой цели и выбрал для себя в качестве образца для подражания Суллу⁵⁵.

Небезынтересно отметить один момент, который, несмотря на свою явную нарочитость и искусственность, до сих пор почему-то не отмечался никем из исследователей Саллюстия. Дело в том, что тезис Саллюстия: Катилина — закономерный продукт развращенной среды нобилитета — подчеркнут самим Саллюстием «конструктивно». Почему именно после главы 5, где содержится характеристика Катилины, изложение прерывается и делается обширный исторический экскурс? Саллюстий объясняет это тем, что поскольку ему пришлось заговорить об общественных нравах, то необходимо вернуться назад и хотя бы вкратце рассказать о порядках, установленных предками, о том, как они управляли государством и как оно, постепенно изменяясь, превращалось из прекраснейшего в самое худшее и самое порочное⁵⁶.

Но дело не только в том, что исторический экскурс повествует о «прошлых порядках» и о том, как государство из прекраснейшего превратилось в самое худшее и порочное, но и в том, что этот рассказ имеет определенную целевую установку. Он «увязан» с личностью Катилины: он должен показать развращенность и разложение

⁵⁴ Ibid., 5.4.

⁵⁵ Ibid., 5.6.

⁵⁶ Ibid., 5.9.

именно той социальной среды, продуктом которой явился Катилина, должен исторически обосновать развитие тех пороков римского нобилитета, персонификацией которых опять-таки оказывается Катилина. Глава 5 — это характеристика Катилины, главы 6—8 — характеристика той социальной среды, которая породила Катилину. Он плоть от плоти, кровь от крови этой среды, в нем, как в микрокосме, сконцентрированы все характерные черты, все пороки людей этого класса, в нем есть все, что характерно для них, и нет ничего, чего бы у них не было. Вот почему исторический экскурс вставлен именно после характеристики Катилины. Саллюстия нужно было показать, как в результате разложения нобилитета исторически и неизбежно сложился такой социальный тип, как Катилина.

Нельзя не отметить и того обстоятельства, что Саллюстий всячески старается подчеркнуть знатность происхождения заговорщиков, т. е. непосредственного окружения Катилины, его «среды». В изображении Саллюстия нобилитет является основной руководящей силой в заговоре. Автор подробно перечисляет наиболее видных деятелей заговора, указывает, что все они были из сенаторского или всаднического сословия, и упоминает о «массе провинциалов» из колоний и муниципиев, тоже не преминув заметить, что они были *domi nobiles*⁵⁷. Но, кроме того, в заговоре принимало участие немало тайных сторонников — тоже из среды нобилитета, а что касается знатной молодежи, то большая часть юношества благоприветствовала начинаниям Катилины⁵⁸. В общем всем сторонникам Катилины дается характеристика, в которой подчеркивается их принадлежность к нобилитету. Наконец, в речи, вложенной в уста Катона, заговор прямо характеризуется как дело рук нобилитета: «знатнейшие граждане составили заговор, чтобы уничтожить родину в огне»⁵⁹. Таким образом, едва ли можно сомневаться в том, что Саллюстий хочет представить заговор Катилины как преступную попытку представителей нобилитета узурпировать государственную власть и установить открытую тиранию.

В заключение хотелось бы указать на одно существ-

⁵⁷ *Sall., Cat.*, 17.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ *Ibid.*, 52.24: *coniuravere nobilissimi cives patriam incendere*.

венное обстоятельство: в «Заговоре Катилины» разложению «народа» посвящено самостоятельное отступление в гл. 37—38. А это означает, что в историческом экскурсе, т. е. в гл. 10—13, имеется в виду именно нобилитет.

Итак, рисуя картину упадка нравов в «Заговоре Катилины» и анализируя причины этого упадка, Саллюстий пользовался «отвлеченно-нравственной», абстрактной фразеологией лишь в качестве дымовой завесы для прикрытия своих нападок на нобилитет, развивая на самом деле мысль, что римское общество пришло к гибели в результате развращенности и безнравственности нобилитета. Нобилитет для Саллюстия — главная причина разложения, конкретный носитель зла, язва, разъедающая римское общество. И вся история Рима излагается как история падения нравов (если сохранить дымовую завесу) или, что по существу одно и то же, как история «злокозненности» нобилитета (если дымовую завесу отбросить). Труд Саллюстия «Заговор Катилины» есть попытка построить серьезное обвинение против нобилитета, к тому же исторически обоснованное, ибо исторический экскурс и должен доказать глубокую закоренелость, «извечность» злокозненности нобилитета. Так Саллюстий использует отвлеченную, абстрактную, на первый взгляд, теорию упадка нравов в качестве орудия политической борьбы.

Дальнейшее развитие политических воззрений римского историка только подтверждает наше понимание позиций Саллюстия в отношении нобилитета. Если, как мы только что установили, «Заговор Катилины» можно назвать скрытой инвективой против нобилитета, то более поздние произведения Саллюстия: «Югуртинская война» и «Истории» — это уже явное, ничем не прикрытое нападение на политического противника. Мы не ставим своей задачей проследить развитие политических воззрений Саллюстия во всем их объеме⁶⁰, что же касается интересующей нас в данном случае теории упадка нравов, то она, как уже неоднократно подчеркивалось, получает в «Заговоре Катилины» наиболее полное и вместе с тем наиболее яркое выражение.

В заключение хотелось бы остановиться еще на одном вопросе — о нравственной регенерации общества, о мораль-

⁶⁰ Об этом см. Утченко С. Л. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., 1969, с. 284—289.

ной реформе. Мы видим, что эта проблема затрагивалась главным образом в более позднем письме Саллюстия к Цезарю, т. е. в том письме, в котором содержится и первоначальный набросок учения об упадке нравов. Однако дальнейшего заметного развития идея нравственной реформы в произведениях Саллюстия как будто не получает. Возможно, это объясняется усилением политической тенденции в воззрениях историка, но возможно, что это обусловлено всего лишь законами жанра — жанра исторической монографии.

Как бы то ни было, идея подобной реформы зародилась не у одного Саллюстия. Очевидно, общая обстановка в Риме, состояние римского общества к концу гражданской войны содействовали зарождению и развитию подобных идей. Нам известен весьма любопытный документ, как бы дополняющий рассуждения Саллюстия, высказанные им в позднем письме к Цезарю. Названный документ датируется тем же 46 г., когда было написано и письмо Саллюстия. Мы имеем в виду речь Цицерона за Марцелла.

Впервые эта речь была сопоставлена с письмами Саллюстия еще Эд. Мейером⁶¹. Чрезвычайно поучительно наблюдать, писал он, как Цицерон и Саллюстий, отправляясь от совершенно противоположных установок, приходят к единым выводам, так что их цели можно считать идентичными. Истинная демократия, господство суверенного демоса полностью исключено для обоих; насущная задача состоит в регенерации римского народа посредством нравственного и социального законодательства. Римское государство оба мыслят лишь в форме сенатского господства; сенат для обоих, как для Помпея, а в дальнейшем и для Августа, — единственный полномочный представитель *populus Romanus*⁶².

Мы не можем присоединиться полностью к этим выводам. Цели Цицерона и Саллюстия не представляются нам столь идентичными, мы не проводили бы столь прямых параллелей между оценкой роли и значения сената Саллюстием, Цицероном и Октавианом Августом, наконец, мы уже констатировали принципиальное различие между ранним и более поздним письмами Саллюстия к Цезарю

⁶¹ *Meyer Ed. Caesars Monarchie und das Prinzipat des Pompeius*, S. 404—410.

⁶² *Ibid.*, S. 409—410.

и потому считаем возможным сопоставлять с речью за Марцелла только одно из этих писем, а именно более позднее. Не стремясь к столь далеко идущим выводам, как знаменитый немецкий историк, ограничимся лишь рассмотрением программы нравственной «регенерации», изложенной в речи Цицерона.

После победы Цезаря при Тапсе и самоубийства последнего «несгибаемого» республиканца Катона опасения перед возможными проскрипциями снова возникли в Риме, и потому возвращение Цезаря ожидалось и со страхом, и с неуверенностью. Но вскоре обнаружилось, что страхи лишены основания. Цезарь, вернувшись в Рим, последовательно проводил политику *clementia*, практиковавшуюся им еще в ходе гражданской войны и все более широко распространяющуюся теперь на политических противников. Ряд крупных помпейцев был помилован, и они получили разрешение вернуться в Рим. Одним из наиболее эффектных актов в этом плане можно считать помилование старого врага Цезаря — консула 51 г. М. Клавдия Марцелла, за которого ходатайствовали его влиятельные родственники, друзья, в том числе Цицерон. В сенате в сентябре 46 г. Цицерон и произнес по этому поводу благодарственную речь Цезарю.

Нас в данном случае интересует лишь один из аспектов этой речи, связанный с идеей нравственного возрождения общества. Действительно, помимо восхваления Цезаря и выражений благодарности речь Цицерона пронизана надеждой (и довольно настойчивыми напоминаниями!) на то, что Цезарь теперь, после окончания войны возьмется за выполнение великой задачи восстановления государства.

«Таков твой жребий, — говорится в речи, — ты должен восстановить государство (*ut rem publicam constituas*) и прежде всего сам наслаждаться тишиной и миром»⁶³. Или: «Потомки наверняка будут поражены, слыша или читая о твоей деятельности в качестве полководца, правителя провинций, о Рейне, Океане, Ниле, о бесчисленных битвах, невероятных победах, о памятниках, о празднествах и играх, о твоих триумфах. Но, если этот город (*haec urbs*) не будет укреплен твоими заботами и установлениями, твое имя будет только блуждать по градам и весям, но постоянного местопребывания и определенного обиталища (*sedem stabilem*)

⁶³ *Cic.*, *Pro Marc.*, 27.

et domicilium certum) иметь не будет»⁶⁴. Далее поясняется, что среди грядущих поколений возникнут большие разногласия при оценке деятельности Цезаря, если только эта деятельность не увенчается тем, что он, Цезарь, окончательно потушит пожар гражданской войны и ликвидирует ее последствия»⁶⁵.

Каковы же те средства, с помощью которых можно решить эту великую задачу? Они перечисляются Цицероном опять-таки в форме прямого обращения к Цезарю: «Тебе одному, Гай Цезарь, придется восстанавливать все то, что, как ты видишь, неизбежно оказалось подорванным в ходе войны: учреждать суды, восстанавливать кредит, обуздывать низкие страсти, заботиться о будущих поколениях и связывать суровыми законами все то, что уже распалось и готово окончательно исчезнуть»⁶⁶.

Так выглядит программа реформ, предлагаемая Цицероном, если только она вообще может быть названа программой. Вероятно, развернутой программы и не следовало ожидать — скорее следовало бы говорить о некотором круге идей, связанных — как то характерно для многих мыслителей древности — с убеждением, даже верой, в могучую «исцеляющую» силу «правильного» законодательства»⁶⁷. Этот круг идей, несомненно, близок рассуждениям Саллюстия в его позднем письме к Цезарю и в какой-то мере отражает распространенное в то время в определенных слоях римского общества стремление к нравственной (и социальной) реформе.

Подводя итог всему сказанному, вернемся к тому утверждению, которое было выдвинуто в самом начале. Мы говорили, что учение о золотом веке и о *πάτριος πολιτεία* на римской почве трансформировалось в представление о *mos maiorum*. Указывалось и на то, в чем заключается различие между этими понятиями. Дальнейшее развитие привело к возникновению теории упадка нравов, согласно которой основная причина ослабления и даже гибели государств состоит именно в нравственном разложении общества (или господствующей его части). Творцами этой теории в Риме были Полибий (первоначальный набросок),

⁶⁴ *Cic.*, Pro Marc., 28—29.

⁶⁵ *Ibid.*, 29.

⁶⁶ *Ibid.*, 23.

⁶⁷ *Meyer Ed. Caesars Monarchie...*, S. 363.

Посидоний и, наконец, Саллюстий, у которого она и получает наиболее полное и наиболее яркое выражение.

Если учение о *pátrios politeía* делало упор на государственном строе и потому «золотой век» или «идеальное государство» требовали прежде всего изменения не соответствующего этим идеалам строя, то перемещение акцента на *mos maiorum* допускало иное и не столь крайнее решение вопроса. Упадок и разложение нравов могли быть приостановлены нравственной реформой, ведущей к регенерации, к возрождению общества. Причем эта регенерация вполне укладывалась в рамки существовавшего государственного строя, не требовала его изменения, не затрагивала его основных институтов. Вот почему есть возможность утверждать, что идея нравственной реформы, прослеженная нами у Саллюстия и у Цицерона, на самом деле имела более широкое распространение, отвечала нуждам и интересам определенных слоев римского общества и была как бы своеобразным итогом специфической римской интерпретации учения о *pátrios politeía*.

УЧЕНИЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ГРАЖДАНИНЕ

Мы уже отмечали неразрывную связь понятий «гражданин», «гражданство» и «полис». Поэтому мы считаем, что существуют достаточные основания говорить о полисе не только как о реально сложившейся гражданской общине, но и как о воплощении идеи гражданства. Более того, в эпоху становления и расцвета полиса гражданин всегда резко отличался от негражданина, т. е. от чужеземца, варвара, раба. Зато все эти представители различных этнических и социальных категорий были в некотором отношении близки друг к другу — все они в равной степени не обладали специфическими гражданскими правами и привилегиями.

Проблеме гражданства уделяли особое внимание Платон и Аристотель. Поскольку для Платона государство в принципе не что иное, как усложненный (и умноженный) человеческий организм, то конечная цель обоих едина — достижение общего блага и гармонии частей. Отсюда и известное сопоставление отдельных «частей души» с отдельными «частями государства». Кстати сказать, это обычное утверждение относительно «частей государства» не совсем корректно, ибо Платон сопоставляет «части души» не с какими-то частями государственного аппарата (да он и не воспринимал «государство», т. е. полис, как некий аппарат!), но скорее с определенными «частями» общества, с различными категориями («классами») граждан. Таким образом, и получается, что τὸ ἐπιδημτικόν соответствует τῷ χρηματιστικῷ, τὸ θυροειδές — τῷ ἐπικουρικῷ, наконец, τὸ λογιστικόν — τῷ φυλακικῷ¹.

Деление гражданства на «классы» — один из тех ос-

¹ Plato. Resp. 441 b — 443 d.

новых устоев, на котором зиждется идеальное построение Платона. Другой такой основой следует считать систему общественного воспитания граждан (точнее — двух высших «классов», которых Платон иногда объединяет общим названием *φύλακες*). Эта система общественного воспитания тщательно разработана и регламентирована, причем она распространяется и на женщин². Предпосылкой и даже необходимым условием функционирования системы оказывается знаменитое требование общности имущества, жен и детей, т. е. то, что иногда называли «коммунизмом» Платона!

Конечная цель подобного построения — достижение единства и сплоченности государства³, что, очевидно, может быть реализовано лишь при условии стремления граждан к общему благу, благу всего коллектива (полиса), а это в свою очередь требует общности интересов, нужд и помыслов всех граждан, их «единомыслия». Такова та актуальная проблема, которая привлекала в те времена внимание не одного Платона и которой посвятил свое произведение *Περὶ ἀπονοίας* еще софист Антифонт.

Интересно отметить своеобразную цикличность всего хода размышлений Платона — мысль его как бы по замкнутому кругу возвращается к первоначальной посылке. При подобной системе общественного воспитания, считает он, все будут близки друг другу, как члены одной семьи, у всех будут общие стремления, более того — государство действительно окажется похожим на одного человека, у которого повреждение какого-либо члена сразу же отзовется во всем организме⁴.

Для Аристотеля, как мы уже могли убедиться, государство есть не что иное, как известная совокупность граждан⁵. Поэтому он уделяет особое внимание самому понятию «гражданин». Аристотель весьма своеобразно определяет добродетель гражданина. Она, по его мнению, не совпадает и не может совпадать с добродетелью «хорошего человека», ибо добродетель гражданина соотносится с государством, а государства, как известно, различны и по

² Ibid., 463 c; 535 C — 541 b.

³ Ibid., 462 b: «Есть ли для государства что-либо лучшее, чем то, что его сплачивает и объединяет?».

⁴ Ibid., 462 c — d.

⁵ Arist., Pol. III, 1.2 (1274 b 41); 1.8 (1275 b 20).

своему устройству, и по своим целям. Совпадение добродетелей, собственно говоря, мыслимо лишь у правителей или у граждан идеального государства⁶.

Что касается схемы идеального государства Аристотеля, то она не отличается большой оригинальностью. За исключением некоторых деталей, она, вообще говоря, близка к картине государства, изображенной Платоном в «Законах». Аристотель прежде всего признает необходимость деления граждан на «классы» (со ссылкой на Египет и Крит)⁷, считает, что граждане должны быть воспитаны в духе добродетели и выполнять государственные обязанности, т. е. заниматься военным делом, законодательной и судебной деятельностью, причем обязанности распределяются по возрастным категориям. Граждане владеют землей, но сами ее не обрабатывают — этим занимаются метеки и рабы. Граждане не должны также заниматься ни ремеслом, ни торговлей. Что же касается земледельцев, ремесленников, купцов, то они лишены и земельной собственности, и политических прав⁸.

Таким образом, Платон и Аристотель в своих теоретических трудах определяют понятие «гражданин», формулируют права и обязанности граждан, их положение в государстве, тщательно разрабатывают систему общественного воспитания и контроля, но они не создают образа гражданина как независимой, самостоятельной, нестандартной личности. В особенности это относится к Платону, у которого в результате доведенной до крайних пределов регламентации личность совершенно «растворяется» в общности граждан. Но подобной тенденции не чужд и Аристотель, считающий, что даже добродетель гражданина должна быть «приноровлена» к тому или иному государственному строю. И если говорить о политическом идеале греческих мыслителей «классической» эпохи, то им является самодовлеющее государство (полис), но никак не самодовлеющая личность.

Переворот в этих воззрениях совершили стоики. Развитие стоического учения мы не случайно связывали с проблемой кризиса полиса. В интересующем нас плане это проявилось в том, что впервые вместо концепции идеального

⁶ *Arist., Pol.*, III, 2.2—6 (1276 b 27—1277 a 25).

⁷ *Ibid.*, VII, 9.1 (1329 a 40 sq.).

⁸ *Ibid.*, VII, 8 (1328 b 24—1329 a 39).

государства была выдвинута концепция идеальной личности — образ стоического мудреца. По существу речь шла о взрыве старого понятия гражданства, его замкнутости, его исключительности, поскольку стоический мудрец с самого начала имел явную тенденцию превратиться в некоего «гражданина вселенной»⁹.

Постепенно образ стоического мудреца, как уже отмечалось, подвергся определенной модификации. Его ригористичность в значительной мере была смягчена Панетием, дабы стоический мудрец не оказался слишком чужеродным явлением в условиях римского общества II в. Происходит определенное сближение идеала стоического мудреца с римским представлением о *vir bonus*.

Vir bonus — полисный идеал, эталон римского гражданина и патриота. Чтобы соответствовать этому идеалу, требовалось, как мы знаем, воплотить в своем лице множество добродетелей (*virtutes*), обладать их совокупностью, получить апробацию общественного мнения, т. е. мнения сограждан¹⁰. Таким образом, все древнеримские *virtutes* — в какой-то мере добродетели общественного, политического характера, и потому образ *vir bonus* — образ не только земледельца, но воина и государственного деятеля. Существовали и готовые образцы, канонические, переходившие от поколения к поколению примеры: Луций Юний Брут, Цинциннат, Камилл, Катон Цензор и т. п.

В эпоху кризиса полиса, в эпоху проникновения в Рим эллинистических влияний идеал *vir bonus* был одним из тех элементов старой (т. е. полисной) системы ценностей, который, несомненно, устоял, «выдержал испытание». Мы упоминали также о том, что в своей основе этот образ, этот идеал сохранился даже во времена Сенеки (правда, он был гальванизирован Августом). Но, конечно, идеологический кризис II—I вв. не мог не наложить определенного отпечатка на развитие образа. Не меняясь по существу, он, тем не менее, значительно усложнился, вобрав в себя новые черты. Нам известна попытка дать нравственно-философское обоснование образа *vir bonus*, используя все богатство эллинской философской мысли, но вместе с тем, на истинно римской основе и на «римский лад». Эта попытка принадлежит Цицерону. Мы имеем в виду трактат «Об

⁹ См. выше, гл. IV.

¹⁰ См. выше, стр. 69.

обязанностях» («De officiis») — последнее философское произведение Цицерона.

Точная датировка этого труда, несмотря на указания самого автора, едва ли возможна. Впервые Цицерон упоминает о нем в письме к Аттику, написанном в конце октября 44 г. до н. э. из Путеольской усадьбы¹¹. В начале ноября он сообщает о том, что две первые книги трактата закончены и что он заказал себе «выписки» из сочинения Посидония, необходимые ему для работы над третьей книгой трактата¹². А еще через некоторое время он снова сообщает Аттику, что получил столь нужные ему и вполне его удовлетворяющие «выписки»¹³. Поэтому можно предположить, что работа над трактатом была закончена (или оставлена!) в самые последние дни 44 г. Соображения же, высказываемые некоторыми исследователями, относительно того, что Цицерон продолжал работать над этим произведением еще в 43 г. (и даже осенью 43 г.!), представляются нам маловероятными — в слишком бурный водоворот событий оказался он вовлеченным с самого начала нового года. Таким образом, вопрос о сроках завершения трактата «Об обязанностях» остается открытым¹⁴.

Какова же была в это время политическая обстановка в Риме и как ее оценивал Цицерон? Мартовские иды пробудили в нем сначала большие надежды. Убийство тирана — а теперь Цицерон называет Цезаря не иначе как тираном или царем (*rex*) — должно было привести к восстановлению *res publica libera*, а следовательно, и к восстановлению руководящего положения в государстве самого Цицерона.

Однако в самом непродолжительном времени эти радужные надежды сменились горьким разочарованием. Ближайший же ход событий после убийства Цезаря показал, что заговорщики, или, как их иногда называют, «республиканцы», не имели ни определенной программы действий, ни сколько-нибудь широкой поддержки у населения Рима. На короткое время установилось положение неустойчивого равновесия между «цезарианцами» и

¹¹ *Cic.*, *Ad Att.*, XV, 13.6.

¹² *Ibid.*, XVI, 11.4.

¹³ *Ibid.*, XVI, 14.3.

¹⁴ О датировке трактата см. *Gelzer M. Cicero. Wiesbaden, 1969. S. 357.*

«республиканцами», наметились тенденции компромисса, но очень скоро все же берут верх сторонники убитого диктатора, тем более что их возглавляла такая яркая и деятельная фигура, как Марк Антоний — не только один из ближайших сподвижников Цезаря, но к тому же и консул текущего года.

Цицерон понял все это достаточно рано. Уже в начале апреля 44 г. до н. э. он почел за благо покинуть Рим, и его письма того времени полны жалоб и сетований на то, что приходится «опасаться побежденных»¹⁵, что «тиран пал, но тирания живет»¹⁶, что все намеченное Цезарем имеет даже бóльшую силу, чем при его жизни¹⁷, и, не став его рабами, «мы теперь стали рабами его записной книжки»¹⁸. В письме к Аттику от 22 апреля Цицерон пишет: «Опасаясь, что мартовские иды не дали нам ничего, кроме радости отмищения за ненависть и скорбь... О, прекраснейшее дело, но, увы, незаконченное!»¹⁹. И, наконец, несколько позже, в письме к тому же Аттику: «Поэтому утешаться мартовскими идами теперь глупо; ведь мы проявили отвагу мужей, разум, верь мне, детей. Дерево срублено, но не вырвано; ты видишь, какие оно дает отпрыски»²⁰.

Цицерон провел лето 44 г. в своих поместьях. Он все время колебался между двумя противоположными намерениями: вернуться в Рим или отправиться в Грецию, в Афины, где в это время находился его сын. Обстановка в Риме тем временем существенно изменилась. С одной стороны, положение Марка Антония весьма окрепло: он, ссылаясь на волю покойного диктатора, издавал всякие самовластные распоряжения, имел вооруженную охрану из 6 тыс. человек, ожидал прибытия из Македонии поступающих в его распоряжение легионов и претендовал по истечении срока своего консульства на управление Галлией. С другой же стороны, наметился раскол внутри единого до сих пор лагеря цезарианцев, росла оппозиция новому «тирану», которая приобрела особую силу и зна-

¹⁵ *Cic.*, *Ad Att.*, XIV, 6.2.

¹⁶ *Ibid.*, 9.2.

¹⁷ *Ibid.*, 10.1.

¹⁸ *Ibid.*, 14.2.

¹⁹ *Ibid.*, 12.1.

²⁰ *Ibid.*, XV, 4.2.

чение в связи с появлением в Риме наследника Цезаря — Гая Октавия. Общая ситуация все более усложнялась.

После долгих колебаний (и неудачной попытки отправиться в Грецию морским путем) Цицерон решает, наконец, вернуться в Рим. В его настроении происходит явный перелом (в какой-то мере, очевидно, в результате встречи с Брутом). Недавние сомнения и нерешительность, сознательно проводимая политика абсентеизма оставлены — он становится энергичным и мужественным, как в свои лучшие времена. Цицерон прекрасно понимает, что ему предстоит борьба, и не собирается ее избегать. Он возвращается в Рим с открытым забралом, отнюдь не убаюкивая себя возможностью компромисса или примирения, будучи готов начать, по его собственному выражению, «словесную войну», причем ничуть не сомневается в том, что подобная война может в любой момент перерасти в самые настоящие вооруженные действия, т. е. в новую гражданскую войну.

Цицерон вернулся в Рим к 1 сентября 44 г. до н. э. В этот же день состоялось заседание сената, на котором по инициативе Антония были утверждены новые почести в память об убитом диктаторе. Цицерон уклонился от участия в этом заседании. Он с утра известил Антония о своем намерении, сославшись на усталость после поездки и общее недомогание. Но Антоний воспринял этот поступок как личное оскорбление и заявил, что заставит привести Цицерона силой или прикажет разрушить его дом. Конечно, он не исполнил своей угрозы, хотя подобный выпад уже сам по себе был равносителен объявлению враждебных действий.

Цицерон явился в сенат на следующий день и в отсутствие Антония выступил против него с речью. Это и была первая из его знаменитых речей, произнесенных в ходе борьбы с Антонием, которые он сам назвал «Филиппиками», имея в виду речи Демосфена против Филиппа Македонского²¹.

Первая речь против Антония носила, если иметь в виду личные нападки, еще весьма сдержанный характер. Цицерон занял пока довольно осторожную и выжидательную позицию. После этого выступления он снова уехал из Рима (в свою усадьбу в ПUTEОЛАХ). Антоний же на-

²¹ *Plut., Cic., 48; App., B. c., IV, 20.*

значил на 19 сентября новое заседание сената, на котором выступил с большой речью, направленной прямо и резко против Цицерона. Он обвинил его в том, что Цицерон вынудил в свое время сенат вынести ряд противозаконных смертных приговоров (сторонникам Катилины), что он был подстрекателем к убийству Клодия, что он поссорил Помпея с Цезарем, наконец — главное обвинение — что он идейный вдохновитель расправы над Цезарем²². Обвинения были достаточно тяжкими — бралась под сомнение вся политическая репутация Цицерона. В общем становилось ясно, что начинается борьба не на жизнь, а на смерть.

Цицерон отвечал на это выступление Антония новой речью (вторая Филиппика), которая построена так, будто она произносилась непосредственно за речью Антония; на самом же деле это был написанный на путеольской вилле в конце октября политический памфлет. Письма к Аттику, в которых Цицерон упоминает об этой речи, свидетельствуют о том, насколько тщательно работал он над ее отделкой²³.

Из писем к Аттику мы также узнаем (и эти сведения представляют в данном случае особый интерес), что работа над второй Филиппикой совпала с подготовкой трактата «Об обязанностях». В частности, в том письме, где речь идет о второй Филиппике, которую Цицерон успел уже переслать своему другу и даже получил его благоприятный отзыв, говорится и об окончании двух книг трактата (с упоминанием имен Панетия и Посидония)²⁴. В течение ближайших недель работа над трактатом была завершена (быть может, трактат так и не получил окончательной обработки). В самом начале декабря 44 г. Цицерон снова возвратился в Рим и тут ему уже было не до философских трактатов — начиналась новая гражданская война.

Трактат Цицерона «Об обязанностях», несомненно, одно из самых популярных его философских произведений. Если для современников и ближайших потомков Цицерон был в первую очередь непревзойденным мастером слова, стилистом, то в эпоху Поздней империи для

²² *Cic.*, *Phil.*, II, 16—28.

²³ *Cic.*, *Ad Att.*, XV, 13.1—2; XVI, 11.1.

²⁴ *Ibid.*, XVI, 11.4.

мыслителей того времени, т. е. для идеологов христианства, он выступает главным образом как философ и моралист. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этика Цицерона оказала огромное влияние на христианское учение о морали и даже в какой-то мере легла в его основу. Известно, что один из основоположников этого учения, епископ медиоланский Амвросий (IV в. н. э.), в своем наиболее известном произведении «Об обязанностях священнослужителей» («De officiis ministrorum») настолько близко следует трактату Цицерона «Об обязанностях», что речь должна идти даже не о подражании, а скорее о переложении и приспособлении труда Цицерона для христиан. Причем Амвросий поступал в этом случае с обезоруживающей прямоотой: он заменял приводимые Цицероном примеры из римской истории примерами из истории священной и иногда «уточнял» отдельные формулировки, если они, с его точки зрения, явно противоречили евангельским положениям.

Трактат «Об обязанностях» пользовался признанием и в совсем иное время. В эпоху господства рационалистических воззрений, накануне Французской революции, один из наиболее скептических умов века — Вольтер — так отзывался о трактате: «Никогда не будет написано более мудрого, более правдивого, более полезного сочинения». Восторженный почитатель Вольтера и активный его корреспондент Фридрих II был столь же высокого мнения об этом произведении: «Рассуждение об обязанностях» — лучшее сочинение по нравственной философии, которое когда-либо было или будет написано»²⁵.

Таким образом, еще в XVIII в. трактат Цицерона, видимо, мог восприниматься не только как памятник античной мысли и литературы, но и как действенное «пособие» по прикладной морали.

Какова же структура трактата «Об обязанностях»? Он разделен самим автором на три книги. В первой анализируется понятие нравственно-прекрасного (*honestum*),

²⁵ Zielinski Th. Cicero im Wandel der Jahrhunderte, Leipzig u. Berlin, 1908, S. 131—143; 304—308. Ср. также: Büchner K. Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt. Heidelberg, 1964, S. 439; Süss W. Cicero. Eine Einführung in seine philosophischen Schriften (mit Ausschluss der staatphilosophischen Werke). Mainz-Wiesbaden, 1966, S. 143.

во второй обсуждается вопрос о полезном (*utile*) и в третьей — о конфликте нравственно-прекрасного с полезным, о конфликте, в результате которого должно всегда торжествовать нравственно-прекрасное.

Но если структура произведения ясна, то не столь прост вопрос об его источниках, хотя на первый взгляд и он не представляет особых затруднений. Дело в том, что упоминавшееся выше письмо к Аттику да и неоднократные ссылки Цицерона в самом произведении совершенно ясно указывают на два основных источника: для I—II книг трактата — Панетий, для III книги — Посидоний. Но можно ли ограничиться только этими бесспорными и лежащими, так сказать, на поверхности источниками?

Некоторые сомнения, пожалуй, могут быть высказаны даже априорно. Хорошо известно, что все остальные философские произведения Цицерона свидетельствуют о том, что он оказывал предпочтение учению Новой Академии и в то же время весьма скептически оценивал, а иногда и прямо полемизировал с основными положениями стоицизма. Неужели в данном случае Цицерон «изменил» Академии и полностью перешел на позиции сторонников стоической философии? Это все же маловероятно — и не только из-за «измены» каким-то воззрениям того или иного представителя академической школы, но и из-за «измены» применявшемуся во всех его остальных трактатах самому методу философского рассуждения. Метод этот можно определить как *эклeктический* в том смысле, что Цицерон в ряде случаев вполне сознательно стремился объединить взгляды представителей различных школ и направлений, дабы таким путем, как он сам это понимал, избежать догматизма²⁶, приводя доводы за и против каждого мнения. Уже в одном этом сказывается влияние поздней Академии как на общие воззрения, так и на метод Цицерона.

Но, помимо этих априорных предположений можно опереться и на более конкретные высказывания самого автора. На первых же страницах своего трактата Цицерон заявляет, что будет следовать *преимущественно* (а отнюдь не целиком!) стоикам, но не как переводчик, а *по своему обыкновению*, т. е. выбирая из источников лишь то, что, с его точки зрения, представляет наибольший интерес²⁷.

²⁶ *Cic.*, De off., II, 7—8.

²⁷ *Ibid.*, I, 6.

И при дальнейших ссылках он не забывает подчеркнуть, что примыкает к Панетию «во многом» или следует «по преимуществу», но внося некоторые коррективы²⁸, и, таким образом, сам намекает на то, что Панетий если и был для него основным, то все же не единственным источником. Есть основание считать, что в первых двух книгах трактата наряду с учением Панетия использован круг идей, характерных для Новой Академии, в частности для такого ее представителя, как Антиох Аскалонский (один из тех, чьи лекции Цицерон слушал в свое время в Афинах). Что касается третьей книги, то некоторые ученые предполагают здесь еще влияние Афинодора (ученика Посидония)²⁹.

Жанр трактата «Об обязанностях» для Цицерона необычен. Подавляющее большинство его философских произведений написано в форме диалога, данный же трактат представляет собой наставление сыну, которому он и посвящен. Сын Цицерона, как уже говорилось, находился в то время в Афинах, где слушал лекции философов и раторов, т. е. заканчивал свое «высшее образование». Однако для римской литературы жанр, избранный на сей раз Цицероном, был вовсе не нов: с письменными наставлениями к сыну обращался в свое время один из излюбленных героев самого Цицерона, главное действующее лицо его диалога «О старости» — Катон Цензор³⁰.

Вместе с тем избранный жанр предопределил в значительной мере особенности трактата. Его содержание весьма разнообразно — это и моральные предписания, и отступления политического характера, и исторические примеры, и юридические казусы. Основой и «фоном» всех этих предписаний и примеров служат некоторые общие этические критерии, трактуемые преимущественно (но все же не полностью!) в духе стоического учения. Трактат в целом представляет собой определенный свод правил и норм поведения, рассчитанных, кстати говоря, вовсе не на каких-то особых, выдающихся людей или мудрецов, но на обычных, честных и «порядочных» граждан. Так что речь идет о требованиях ко всем людям, ко всем, у кого имеется хоть какая-либо «склонность к добродетели». Поэто-

²⁸ *Cic.*, De off., II, 60; III, 7.

²⁹ *Büchner K. Op. cit.*, S. 439; ср. *Gelzer M. Op. cit.*, S. 357.

³⁰ См. *Süss W. Op. cit.*, S. 144.

му трактат Цицерона не просто адресован его сыну, но и ориентирован на молодого римлянина, достойного гражданина (*vir bonus*), вступающего на путь государственной карьеры³¹.

На наш взгляд, в образе такого идеального (и вместе с тем «рядового») гражданина выражена одна из «ведущих» идей произведения в целом. Более того, образ *vir bonus* со всеми связанными с этим идеалом обязанностями и нормами поведения (*officia*), со всеми его характерными чертами и свойствами (*virtutes*) может рассматриваться как своеобразное политическое завещание Цицерона — завещание умудренного жизненным и государственным опытом деятеля, оставляемое им современникам и потомкам в один из наиболее напряженных моментов как его личной судьбы, так и судьбы всего римского государства.

В чем же суть учения Цицерона об идеальном гражданине и его обязанностях? В основе этого учения лежит представление о высшем благе (*summum bonum*) как о нравственно-прекрасном (греческий термин τὸ καλόν, в переводе Цицерона — *honestum*). В самом начале трактата Цицерон подчеркивает, что любая область жизни и деятельности предполагает обязанности, в исполнении которых и состоит нравственный смысл всей жизни (*honestas omnis vitae*). Затем идет полемика с теми, которые считают, что высшее благо не имеет ничего общего с добродетелью, и потому измеряют все своими удобствами (*suis commodis*), а не моральным критерием (*honestate*). На такой основе невозможно создать учение об обязанностях; это способны сделать лишь те, кто находит, что *только* нравственно-прекрасное должно быть предметом наших стремлений, или же те, кто находит, что оно должно быть целью наших стремлений, хотя бы по *преимуществу*³².

На этом примере, кстати сказать, нетрудно проследить перекрещивание влияний Стои и Академии. Те, кто назван в начале, — стоики; те, кто упомянут в конце, — академики, причем буквально несколькими строками ниже Цицерон заявляет, что он, хоть и будет в основном следовать стоикам, имеет в виду также академиков и перипатетиков. Таково рассуждение Цицерона, обосновывающее

³¹ Ibid., S. 145.

³² Cic., De off., I, 5; 6.

ведущий тезис трактата: все обязанности должны иметь своим источником стремление к нравственно-прекрасному, к высшему благу.

Мы знаем, что римские представления о «нравственном благе» в отличие от ригористических категорий Старой Стои развивались в тесной связи с развитием представлений о *vir bonus*, о его семейных и гражданских качествах, добродетелях, обязанностях. С древнейших времен и до времени Цицерона общественно-политическая деятельность как необходимая черта идеального гражданина оставалась обязательным условием теоретических построений подобного рода. Но так как в Риме признанием, апробацией этой деятельности со стороны самого общества был «почет» (*honor*), то понятие нравственно-прекрасного, перешедшее из греческих философских систем, превращается на римской почве в *honestum*, что и было для Цицерона само собой разумеющимся переводом греческого термина τὸ καλόν.

Другой термин — понятие стоической этики «должное» (τὸ κατ'ῆθος) — Цицерон переводит словом «обязанность» (*officium*). В письмах к Аттику он говорит: «Не сомневаюсь, что «должное» — это «обязанность», если только ты не предложишь что-нибудь другое, но название «Об обязанностях» — полнее»³³. Кстати говоря, подобный перевод Цицерон давал уже и в своих более ранних произведениях³⁴.

Термин «*officium*», которым решил воспользоваться Цицерон, имел в Риме практический и вполне конкретный характер, да и сам Цицерон не понимал его отвлеченно, в смысле какого-то общечеловеческого долга. Его больше занимал вопрос, насколько приложим этот термин к государственным обязанностям. «Разве мы не говорим, — обращался он к Аттику в цитированном уже письме³⁵, — «обязанность консулов», «обязанность сената», «обязанность императора»? Значит, прекрасно подходит, или же дай лучше!» Трактат же Цицерона «Об обязанностях» имеет в виду, как уже говорилось, обязанности не «человека вообще», но обязанности римского гражданина, достойного члена римской общины.

³³ *Cic.*, *Ad Att.*, XVI, 14, 3.

³⁴ *Cic.*, *De fin.*, III, 20.

³⁵ *Cic.*, *Ad Att.*, XVI, 14, 3.

Такова интерпретация двух основных понятий интересующего нас трактата: нравственно-прекрасное (*honestum*) и должное, обязанность (*officium*). Каково же соотношение между ними?

По мнению Цицерона, существуют четыре источника, или четыре «части», того, что считается нравственно-прекрасным³⁶. Эти четыре «части» в дальнейшем выступают как четыре основные добродетели стоической этики. Очевидно, Панетий не внес ничего существенно нового в старостойческое учение о добродетелях, и лишь в незначительно измененном виде оно перешло в трактат «Об обязанностях». В интерпретации Цицерона эти добродетели выглядят следующим образом: на первом месте стоит познание истины (*cognitio*), затем следует «двуединая» добродетель — справедливость и благодеяние (*iustitia* и *beneficentia*), затем — величие духа (*magnitudo animi*) и, наконец, благопристойность, умеренность (*decorum*). Из каждой основной добродетели вытекают определенные (и сугубо практические!) обязанности. Это и есть обязанности, предписываемые стремлением к главной и конечной цели — к высшему благу.

В данном случае нет нужды подробно анализировать все названные выше добродетели. Достаточно, если мы остановимся лишь на той, которая представляет для нас наибольший интерес и которую Цицерон считает как бы «наиболее широким понятием» (*latissime patet ea ratio*)³⁷. Речь идет о «двуединой» добродетели и вытекающих из нее обязанностях гражданина. Интересно, что Цицерон сам неоднократно подчеркивает общественный, социальный характер этой добродетели. Собственно говоря, все пространное рассуждение, ей посвященное, обрамляется высказываниями о ее общественном значении — подобные высказывания и предваряют, и заключают рассуждение в целом³⁸. Следовательно, обязанности, вытекающие из этой «двуединой» добродетели, тоже должны считаться обязанностями общественными, социальными. Более того, в конце первой книги Цицерон утверждает, что обязанности, вытекающие из «общественного начала» (*ex communitate*) более «соответствуют природе» (*aptiora esse natu-*

³⁶ *Cic.*, *De off.*, I, 15.

³⁷ *Ibid.*, I, 20.

³⁸ *Ibid.*, 20; 60.

гае), чем обязанности, вытекающие из познания (ex cognitione) ³⁹.

Чрезвычайно интересно то определение существа справедливости (iustitia), которое дается Цицероном. «Первое требование справедливости — в том, чтобы никому не наносить вреда, если только тебя не вызвали на это несправедливостью; затем — в том, чтобы пользоваться общественным как общественным, а частным — как своим» (ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis) ⁴⁰. В этом определении наиболее важна для нас, конечно, вторая его часть, где сформулировано своеобразное отношение Цицерона к собственности.

Собственности от природы не бывает, говорит Цицерон, она возникает либо в результате оккупации незаселенных земель, либо вследствие победы на войне, либо благодаря законам, договорам, жеребьевке. Государство и собственность изначально связаны друг с другом, и охрана собственности, как учил еще Панетий, есть причина образования государства. И частная, и государственная собственность закрепляются тем или иным историческим актом, приобретающим затем силу закона. Кто завладевает чужой собственностью, утверждает Цицерон, тот нарушает и оскверняет права человеческого общества ⁴¹.

Итак, Цицерон выступает в качестве защитника и «охранителя» не только частной, но и государственной собственности. Это типично для античного мировоззрения. Самое существо человека как *κοινωνικὸν ζῷον* и смысл Цицероновой формулы «communibus pro communibus utatur privatis ut suis» требуют не только охранения собственности, но и активного содействия благу всего государства своей деятельностью и своим имуществом. Мы рождены, говорит Цицерон, ссылаясь на Платона, не только для самих себя, но какую-то часть нас по праву требует отечество, другую часть — друзья. Все, что родит земля, предназначено для пользы людей; люди же в свою очередь тоже рождены для людей, дабы они могли приносить пользу друг другу, поэтому, следуя природе, необходимо трудиться для общего блага, употребляя все силы и спо-

³⁹ Cic., De off., I, 153.

⁴⁰ Ibid., I, 20.

⁴¹ Ibid., I, 21.

собности на то, чтобы теснее связать людей в единое общество⁴².

Далее Цицерон переходит к рассуждению о двух видах несправедливости. С его точки зрения, существует несправедливость не только тех, кто ее причиняет, но и тех, кто не оказывает помощи претерпевшим несправедливость. Для борьбы с несправедливостью надо понимать причины зла. Обычно причинами проявления несправедливости бывают страх, жадность к деньгам, честолюбие, жажда славы. Однако забота о своем имуществе и даже его приумножение, снова подчеркивает Цицерон, если только это не вредит другому, — вовсе не порок. Обдуманная несправедливость должна караться более сурово, чем внезапный аффект. Мотивы, мешающие борьбе с несправедливостью, бывают, как правило, узко эгоистического характера: это — лень, нерадение, боязнь неприятностей, нежелание участвовать в общественной деятельности⁴³. Таким образом, в основе учения Цицерона о справедливости и несправедливости лежит твердое представление о неприкосновенности собственности, и потому первейшая обязанность заключается в соблюдении и охране этой неприкосновенности. Вот почему Цицерон был всегда ярким противником всяких *tabulae novae*, всяких аграрных законов и вообще всяких вторжений в область собственности.

Определенный интерес в рассуждениях Цицерона, относящихся к обязанностям, вытекающим из понятия справедливости, представляет раздел трактата, посвященный «военной морали». Основные положения Цицерона таковы: война может быть только вынужденным актом и допустима лишь в тех случаях, когда переговоры не дают никаких результатов. Причина подобных войн только одна — оборона своего государства, цель же их — прочный мир. В обращении с побежденными следует проявлять человечность; сдавшиеся на милость победителя, безусловно, имеют право на пощаду. Обращаясь к примерам древнего Рима, Цицерон прославляет предков за то, что они считали войну справедливой лишь тогда, когда при ее объявлении были соблюдены все установления фециального права.

⁴² Ibid., I, 22.

⁴³ Ibid., I, 23—29.

В некотором противоречии с этими высказываниями Цицерон допускает (хоть и с оговорками относительно причин) войны, которые ведутся ради укрепления власти (*de imperio*) и славы⁴⁴. Это — результат убежденности (вслед за Полибием и Посидонием) во «всемирно-исторической миссии» Рима. Так вырисовывается новая обязанность, новая черта идеального гражданина — обязанность воина, защитника могущества римского государства. А если учесть, что наряду с этим превозносятся мирная жизнь и занятие сельским хозяйством, причем говорится, что это — самое приятное достойное занятие для свободного человека, то возникает давно уже знакомый — со времен Катона Цензора — староримский идеал земледельца и воина⁴⁵.

Рассуждение о справедливости заканчивается упоминанием о рабах, по отношению к которым, по мнению Цицерона, также следует проявлять справедливость. Но эта справедливость трактуется довольно своеобразно: к рабам следует относиться как к «наемникам» (*ut mercenarii*), т. е. требовать от них работы и предоставлять то, что им «полагается»⁴⁶. Таким образом, облик *vir bonus* дополняется еще одной немаловажной чертой — на нем лежит определенная обязанность быть «справедливым» хозяином, владельцем рабов.

Другой «частью» основной социальной добродетели следует считать благодеяние (*beneficentia*), которое еще можно определить как доброту (*benignitas*) или щедрость (*liberalitas*)⁴⁷. Переходя к рассуждению о благодеянии, Цицерон прежде всего отмечает, что нет ничего более соответствующего человеческой природе, однако применение этой добродетели на практике требует определенной осторожности. Цицерон делает три предупреждения: благодеяние (или щедрость) 1) не должно ни вредить тому, по отношению к кому его проявляют, ни идти за счет других; 2) не должно превышать средств самого благотворителя; 3) должно распределяться в соответствии с достоинством того, кто его получает⁴⁸.

⁴⁴ *Cic.*, *De off.*, I, 38.

⁴⁵ *Ibid.*, I, 151; *cp.* *De sen.*, 51 sqq.

⁴⁶ *Ibid.*, I, 41; *cp.* I, 150.

⁴⁷ *Ibid.*, I, 20.

⁴⁸ *Ibid.*, I, 42—43.

Все это еще раз напоминает нам, что жизнь наша проходит в обществе. И дальше следует чрезвычайно любопытная оговорка: «Но поскольку мы живем не среди совершенных и непогрешимо мудрых людей, а среди таких, для которых уже очень хорошо, если они представляют собой подобие добродетели, то, по моему мнению, надо понять, что нельзя полностью пренебрегать ни одним человеком, в котором могут проявиться хоть какие-то признаки добродетели»⁴⁹.

После этого Цицерон развивает мысль о том, что жизнь наша проходит в обществе. Он подчеркивает, что общество связывает людей союзом, разумом, речью (*societas, ratio, oratio*); этим люди и отличаются от зверей. Человек обязан помогать человеку, но средства отдельных лиц невелики, и потому необходима градация благотворительной деятельности. Она должна быть установлена в соответствии с существующими степенями общности людей. Таких степеней несколько. Не говоря уже о понятии человечества в целом, можно указать на такие все более тесные связи: общность племени, происхождения (*natio*), языка, затем — гражданской общины. Еще более тесной связью следует считать семью⁵⁰.

Наконец, Цицерон подходит к центральной части своего рассуждения о благодеянии. Он устанавливает теперь градацию обязанностей в зависимости от различных форм или степеней человеческой общности. «Из всех общественных связей,— говорит он,— нет более важной и более дорогой, чем та, которая существует у каждого из нас с государством (*cum re publica*). Дороги родители, дороги дети, родственники и близкие друзья, но все привязанности всех [людей] охватывает одно [только] отечество, за которое какой добрый [гражданин] усомнится подвергнуться смерти, если она пойдет отечеству на пользу?»⁵¹. И здесь же приводится некая шкала этих обязанностей, расположенных по степени их значимости: на первом месте стоят обязанности по отношению к отечеству и родителям, затем — к детям, семье и, наконец, к родственникам и друзьям⁵². Так к характерным чертам и

⁴⁹ Ibid., 46.

⁵⁰ Ibid., 50—53; III. 22.

⁵¹ Ibid., I, 57.

⁵² Ibid., I, 58.

обязанностям идеального гражданина прибавляется еще одна, пожалуй, наиболее специфически римская черта (обязанность) — *pietas*, благочестивая преданность отечеству, семье, близким.

Рассуждение Цицерона о благодеянии тоже свидетельствует о том, что автор следовал стойкам «по преимуществу», но отнюдь не полностью. Так, приводившееся выше соображение относительно жизни в обществе, т. е. о том, что мы живем не среди мудрецов и совершенных людей, а потому должны ценить имеющих более скромные достоинства, гораздо ближе к академической системе, ко взглядам Антиоха (учение о *tria genera bonorum*), чем к ригористическим установкам стоиков, даже в их смягченном и модифицированном римской Стоей варианте.

Таковы основные наблюдения, которые могут быть сделаны в отношении «идеального гражданина» (*vir bonus*) на основании рассуждений Цицерона о двуединой социальной добродетели — справедливости и благодеяния. Что касается анализа других кардинальных добродетелей, то выводимые из них Цицероном обязанности относятся скорее к его представлениям о государственном деятеле, руководителе государства⁵³. Равным образом анализ второй книги трактата ничего не может, на наш взгляд, прибавить принципиально нового к общему облику, к характерным чертам и обязанностям «идеального гражданина». Если первая книга трактата посвящена определению нравственных норм и вытекающих из них обязанностей, то во второй книге речь идет о практическом применении этих норм, т. е. о применении их в сфере «полезного». При этом Цицерон считает, что противопоставление «нравственно-прекрасного» и «полезного» (*honestum* и *utile*) есть величайшее заблуждение. Отсюда вывод: «что нравственно-прекрасно, то тем самым уже и полезно», — вывод, подданный Новой Академией (что в дальнейшем подчеркивается самим Цицероном)⁵⁴. Этим же путем вся деятельность в сфере полезного «увязывается» с основными добродетелями, определенными в первой книге, например: «кто захочет снискать истинную славу справедливого человека, тот должен выполнять обязанности, налагаемые

⁵³ См. ниже, гл. X.

⁵⁴ *Cic., De off.*, II, 10; III, 20.

справедливостью», и тут же разъясняется: «каковы они — было сказано в предыдущей книге»⁵⁵.

Итак, образ идеального гражданина в интерпретации Цицерона, — это образ землевладельца-собственника («земледедца»), воина, «справедливого» хозяина рабов, человека, соблюдающего *pietas* по отношению к отечеству, фамилии и друзьям. Образ этот усложнен тем, что в основе его лежит (или должно лежать!) стремление к *honestum*, в частности к тому из его аспектов, который определяется как «двуединая» добродетель: *iustitia* и *beneficentia*. И если в личном, индивидуальном плане этот образ *vir bonus* может с достаточным основанием рассматриваться как политическое завещание Цицерона, то в более общем плане развития политических идей он не представляет собой оригинального явления, ибо по существу все построение Цицерона есть не что иное, как попытка «обосновать» староримский полисный идеал всем наличным арсеналом эллинской теории, эллинских этических и политических учений, приспособленных к римским условиям и римской обстановке.

⁵⁵ Ibid. II, 43.

УЧЕНИЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЕ

Если мы соглашались с тезисом о том, что воззрения на государство в классической древности развивались как бы в пределах двух основных проблем — вопроса о государственных формах и о лучшей из этих форм, то это отнюдь не означает, что названными вопросами исчерпывалось все содержание разрабатываемых теорий. Ответ на эти два основных вопроса неизбежно предполагал освещение некоторых других разделов учения о государстве. К таким разделам, таким составным частям этого учения, как мы уже видели, относятся: вопрос о происхождении государства и права, концепция смешанной формы правления, учение об идеальном гражданине. Остановимся на последнем разделе теории государства — учении об идеальном государственном деятеле, о правителе.

Самые первые намеки на теоретическую постановку вопроса о правителе мы встречаем у поздних софистов. Уже упоминавшийся Калликл, рассуждая по поводу противоречия между *φύσις* и *νόμος*, утверждал, что законы устанавливаются всегда слабыми людьми, однако это противоестественно и несправедливо. Более того, у животных, у людей, у целых государств и народов основной «показатель» справедливости таков: «Сильный повелевает слабым и стоит выше слабого». Поэтому, когда появится сильный муж, он сбросит с себя все оковы, все противные природе законы, и вот тогда-то и «просияет справедливость природы»¹. Аналогичное понимание естественного права как права сильного высказывали и другие софисты — Критий, Тразимах, причем последний отмечал, что справедли-

¹ Plato. Gorg., 483 b — 484 a.

вость — «это то, что пригодно сильнейшему», или, говоря другими словами, «существующей власти»².

Что касается Сократа, то, поскольку, с его точки зрения, добродетель состоит в знании, постольку и управление государством, если оно основано на знании, есть «великая добродетель и великое искусство». Царями и правителями поэтому следует считать не тех, кто держит скипетр, не тех, кто стал править, будучи избран, или получил власть по жребию, или при помощи силы, или, наконец, благодаря подкупу, но тех, кто знает, как править³.

Сократ отождествлял справедливое с законным и — в отличие от поздних софистов — ставил перед правителем и управляемыми общую норму нравственного закона. Если каждый гражданин обязан подчиняться властям и законам, то правитель в свою очередь тоже должен считаться с законами и, как пастух о стаде, заботиться о своих подданных⁴.

В «Государстве» Платона, как известно, речь идет о том, что государством должны управлять философы, т. е. развивается и модифицируется мысль Сократа, что управлять должны знающие, но образа правителя в этом произведении мы еще не встречаем. Впервые, причем несколько неожиданно он возникает в последнем крупном труде Платона — «Законах». Это — образ «благопристойного» (*κόσμιος*) тирана. Оказывается, что наилучшее государство быстрее и легче всего может возникнуть из тирании. Для этого, однако, требуется, чтобы тиран был молод, внимателен, способен к учению, мужествен и от природы великодушен; необходимо также, чтобы судьба свела его с выдающимся законодателем⁵. Образ жизни такого тирана, его поведение должны служить примером для всех граждан, ибо таким именно путем могут быть изменены нравы самого общества, поскольку граждане станут подражать своему властителю. Его поведение окажется для них как бы предписанием: одни поступки будут вызывать у него похвалу и почет, другие — порицание⁶. Наконец, у этого «благопристойного» тирана величайшая власть обязательно должна сочетаться с рассудком и здра-

² *Plato. Resp.*, 338 c — 340 b.

³ *Xen., Mem.*, II, 1, 17; III, 9.10; IV, 2.11.

⁴ *Ibid.*, I, 2.32; III, 2.1; IV, 2.11.

⁵ *Plato. Legg.*, 710 a — e.

⁶ *Ibid.*, 711 b.

вомыслием; в подобном сочетании — залог возникновения наилучшего государственного строя, наилучших законов⁷.

Образ «благопристойного» тирана настолько неожидан и настолько, казалось бы, не соответствует взглядам Платона на тиранию, изложенным еще в «Государстве», что это обстоятельство заставляло некоторых исследователей говорить о радикальном пересмотре Платоном своих прежних воззрений⁸ или, наоборот, доказывать, что отношение Платона к тирании никак не менялось и в «Законах» оно полностью соответствует тому, что говорилось на ту же тему в «Государстве»⁹.

Обе крайние точки зрения едва ли правильны. Поскольку мы не изучаем специально развитие политических воззрений Платона, нет нужды останавливаться на этом вопросе более детально. Но возникновение образа «благопристойного тирана» у Платона не будет выглядеть столь неожиданным, если строго исходить из соответствующего рассуждения в «Законах», где настолько подчеркнуто значение «выдающегося» законодателя, его ведущая и направляющая роль, что тиран — «подходящий», разумный тиран! — оказывается всего лишь «благодарным материалом» в руках такого законодателя. Если вспомнить отношения Платона с Дионом и обоими Дионисиями, его поездки в Сицилию (независимо от их результатов), то концепция, объединяющая «благопристойного» тирана с «выдающимся законодателем», вовсе не будет казаться неожиданной и неправомерной.

Пожалуй, наиболее детально образ идеального правителя разработан в «Киропедии» Ксенофонта, в интерпретации которого персидская монархия выглядит почти как античный полис аристократического типа на спартанский манер. Что касается образа Кира, т. е. образа правителя, то прежде всего в соответствии со взглядами своего учителя Сократа Ксенофонт утверждает, что управлять людьми — искусство, но этому искусству можно и должно научиться¹⁰. И он перечисляет качества и добродетели, не-

⁷ Plato. Legg., 712 a.

⁸ См., например, *Трубецкой Е. Н.* Социальная утопия Платона. — «Вопросы философии и психологии», год XIX. М., 1908, кн. II (92), с. 177—178.

⁹ *Новгородцев П. И.* Политические идеалы древнего и нового мира. М., 1919, с. 200—201.

¹⁰ Хел., Суг., I. 1.3

обходимые правителю: он должен почитать богов, быть справедливым, честным, храбрым и владеющим собой; силой личного примера он должен воздействовать на своих подданных, побуждая и их к добродетельной жизни, награждая заслуги, карая проступки. Подданные такого правителя поистине счастливы; они подчиняются ему добровольно, он для них — отец и пастырь¹¹.

В этом идеализированном образе правителя легко обнаружить черты, сближающие его с «благопристойным тираном» Платона, как нетрудно убедиться и в том, что Ксенофонт тоже следует Сократу, подчиняя правителя и подданных одной и той же норме нравственного закона. Кстати говоря, грань между правителем и мудрым законодателем в данном случае стерта — у Ксенофонта они сливаются воедино.

Что касается Аристотеля, то в его «Политике» нет более или менее разработанного образа правителя. Аристотель уделяет значительное внимание вопросу о верховной власти, но рассуждает о ней в плане того, кому следует предоставить верховную власть в государстве — одному или многим, отдавая предпочтение — правда, с рядом оговорок и ограничений — власти большинства¹².

Общий же вывод Аристотеля таков: «Верховную власть должно представлять правильное законодательство, магистраты же — будет это один человек или несколько — должны иметь решающее значение лишь в тех случаях, когда законы не в состоянии дать точного ответа»¹³.

Итак, даже у Аристотеля, который как бы подводит итог развитию политических теорий «классического» периода, мы не находим попытки создать образ «отдельного» правителя. Возможно, что в этом проявляется общая для греческих мыслителей полисно-республиканская (а если иметь в виду самого Аристотеля, то и умеренно-демократическая) тенденция.

«Благопристойный тиран» у Платона (или идеализированный образ Кира у Ксенофонта) тоже, как мы видели, достаточно своеобразен. Это не столько правитель, политический деятель, сколько мудрый законодатель, арбитр,

¹¹ Ibid., I, 4—6; 22; II, 2.17—21; VIII, 1.8—10; 21—39.

¹² Arist., Pol., III, 6.4—10 (1281 a 39—1282 a 24).

¹³ Ibid., III, 6.13 (1282 b 2 sqq.).

судья. Не случайны, видимо, в этом плане неоднократные упоминания как у Платона, так и у Аристотеля (хоть и без теоретических обобщений) имен Солона, Ликурга, Миноса и др. Безусловна, на наш взгляд, и некая (но отнюдь не прямолинейная) генетическая связь между представлениями о мудром законодателе и сложившимся в более позднее время хорошо знакомым нам образом стоического мудреца¹⁴.

Несмотря на все эти своеобразные черты образа правителя, само возникновение и развитие идеи единоличной власти — явление вполне закономерное. Это — один из симптомов кризиса полисной идеологии. Покуда речь шла о малоконкретных представлениях поздних софистов о «сильном человеке» или о довольно отвлеченных рассуждениях Платона относительно «благопристойного тирана» (хотя, быть может, они были не столь уже отвлеченными!), мы имели дело с самыми ранними и еще смутными проявлениями тех настроений, тех чаяний, которые достаточно четко оформились только в эпоху эллинизма, вылившись в специфический для эллинистической идеологии «культ властителя»¹⁵.

В этом смысле мы можем считать Ксенофонта с его развернутой апологией выдающегося правителя идейным предтечей эллинизма¹⁶. Если, например, у Платона на первом месте стояла и подверглась тщательнейшей разработке концепция идеального государства, по сравнению с которой учение о государственном деятеле представлялось чем-то второстепенным, набросанным лишь эскизно и, кстати, возникшим значительно позднее, чем проект идеального государства (т. е. не в «Государстве», а только в «Законах», последнем произведении Платона), то «Киропедия», напротив, объединяет апологию государственного деятеля с картиной идеального государственного устройства, причем интерес и внимание автора к образу идеального правителя явно преобладают. Кроме того, Ксенофонт впервые и даже несколько демонстративно конкретизирует — вернее, персонифицирует — образ пра-

¹⁴ См. выше, гл. IV.

¹⁵ Taeger F. Charisma. Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkultes. Stuttgart, I.—II, 1960, *passim*.

¹⁶ Фролов Э. Д. Ксенофонт и его «Киропедия» (в кн.: Ксенофонт. Киропедия. М., 1976, с. 257—261).

вителя: его Кир — если и не исторический Кир Старший, то либо Лисандр, либо Агесилай, либо Кир Младший, а скорее всего, синтезированный и идеализированный образ современных (и импонирующих!) автору государственных деятелей, «сильных личностей»¹⁷.

Итак, проблема единоличной власти идеального правителя зародилась еще на рубеже эллинистической эпохи. Само собой разумеется, что проблема правителя, причем не законодателя, но именно правителя, государственного деятеля, политика, должна была привлечь к себе особое внимание в Риме. Это обуславливалось всей политической действительностью римского общества, и прежде всего — широко распространенным убеждением, что служение интересам *res publica* — наивысший и наиболее почетный долг каждого римского гражданина. Потому-то здесь никогда не ослабевал интерес к общественной деятельности, к управлению государством. Но и в Риме все эти вопросы приобретают особую актуальность (пожалуй, даже злободневность) именно во II—I вв., т. е. в эпоху кризиса полиса, кризиса республики, когда там тоже начинается своеобразное соревнование «сильных личностей», начиная от Гракхов и вплоть до «творца» системы принципата Октавиана Августа.

В этой обстановке политическая мысль Рима разрабатывает учение об идеальном гражданине (*vir bonus*) и об идеальном правителе.

Нам представляется, что есть основания говорить как бы о двух линиях или двух аспектах разработки в Риме учения об идеальном государственном деятеле: а) аспект конкретно-исторический («линия» Саллюстия); б) аспект теоретический («линия» Цицерона).

Еще в своих «Письмах к Цезарю», о которых уже подробно говорилось выше¹⁸, Саллюстий пытается, пусть эскизно, обрисовать государственного деятеля и правителя. В раннем письме, т. е. в письме, написанном в 50 г. до н. э., содержится общее рассуждение о тех, кто призван руководить государством. «Я считаю, — заявляет Саллюстий, — что тот, кто занимает в государстве более высокое и более блестящее по сравнению с другими положение, и должен проявлять наибольшую заботу о государствен-

¹⁷ Там же, с. 257—258.

¹⁸ См. выше, гл. VIII.

ных делах»¹⁹. Для всех остальных граждан с благополучием государства связана их собственная свобода. Но не так обстоит с теми, кто доблестью создал себе богатства, почет, положение (*qui per virtutem sibi divitias, decus, honorem pepererunt*). Малейшее потрясение в государстве влечет для них множество забот и трудов, они должны поспевать всюду, дабы в любой момент встать на защиту своей чести, свободы, семьи. Так поступали предки (*maiores nostri*), у которых всегда была лишь одна цель — благо отечества, которые объединялись только против врагов (*factio contra hostes parabatur*) и использовали все свои дарования не для достижения личного могущества, но в интересах *res publica*²⁰.

Поскольку Саллюстий в период написания раннего письма, по всей вероятности, еще верил в то, что историческая миссия Цезаря заключается в восстановлении римского государства, он и причислял его к названной категории государственных деятелей. Личная же характеристика Цезаря выдержана Саллюстием в апологетических тонах — в рассуждениях по всему письму высказывания Цезарю приписываются такие черты: величие, высокий интеллект, живой и всеобъемлющий ум, замечательное присутствие духа как при удаче, так и в самых тяжелых обстоятельствах.

В более позднем письме Саллюстий совсем иначе относится к Цезарю. Он призывает его не обращать во зло добытую им власть, но воспользоваться ею для восстановления добрых нравов в римском государстве. Потому это письмо начинается и завершается своеобразной *captatio benevolentiae*, потому-то Саллюстий всячески подчеркивает *beneficia* Цезаря, его кротость во время войны, его отношение к побежденным соотечественникам²¹. На протяжении всего письма Саллюстий неоднократно обращается к данной теме, а после описания ужасов гражданской войны снова закликает Цезаря употребить его могущество на пользу отечеству, не прибегать к суровым приговорам и казням, но проявить истинное милосердие — *vera clementia* — и позаботиться в первую очередь о восстановлении нравственности молодого поколения²². Идея нравственной

¹⁹ *Sall.*, Ep. II, 10.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibid.*, I, 1.

²² *Ibid.*, 6.

реформы, как мы уже имели возможность убедиться, проходит красной нитью через все более позднее письмо.

Таким образом, можно отметить явное стремление Саллюстия выразить свои мысли и представления о государственном деятеле, правителе государства вполне конкретно и определенно, воплотив их в личности Цезаря. Правда, в «Письмах» это еще носит характер чернового, предварительного наброска, но данная тема получает дальнейшее и наиболее полное развитие в «Заговоре Катилины», в одном из столь типичных для Саллюстия отступлений. Речь идет о знаменитой сравнительной характеристике Цезаря и Катона.

Уже сама мотивировка введения этой характеристики в повествование представляет исключительный интерес. Именно здесь Саллюстий излагает свой взгляд на роль личности в истории, именно здесь сказано, что по зрелом размышлении он пришел к следующему выводу: все успехи римлян — результат деятельности отдельных выдающихся граждан (*paucorum civium egregiam virtutem cuncta patravisse*)²³.

Затем Саллюстий мастерски обрисовывает идеального государственного деятеля. Основные черты, определяющие этот облик, строго и по определенному принципу распределены между Цезарем и Катонам. Сравнительная характеристика чрезвычайно тщательно построена и продумана, не только в смысле содержания, но и по композиции.

Основные свойства Цезаря таковы: благотворительность, щедрость, милосердие и сострадание; прибежище для несчастных; непрерывный труд, деятельность; защита интересов друзей даже в ущерб собственным; стремление к власти, к руководству армией и войне, где могла бы наиболее ярко проявиться его доблесть (*beneficia, munificentia; misericordia; perfugium miseris; facilitas; laborare, vigilare; negotiis amicorum intentus, sua neglegere; sibi magnum imperium, exercitum, novum bellum exoptabat, ubi virtus enitescere posset*)²⁴. Это — образ деятеля, здесь перечисляются и акцентируются именно моменты деятельности.

Характеристика Катона выглядит следующим образом: безупречность жизни, суровость, гибель для злодеев,

²³ *Sall., Cat., 53.4.*

²⁴ *Ibid., 54.*

постоянство, умеренность, нравственная чистота, соревнование не богатством с богатыми, не интригами с интриганами, но доблестью с храбрыми, умеренностью со скромными, воздержностью с бескорыстными (*integritas vitae; severitas; pernicies malis; constantia; studium modestiae, decoris; non divitiis cum divite, neque factione cum factioso, sed cum strenuo virtute, cum modesto pudore, cum innocente abstinencia certabat*)²⁵.

Это — образ нравственного героя, здесь акцентированы прежде всего моменты нравственного совершенства.

Кому же из двух героев отдает предпочтение Саллюстий? В котором из них воплощен для него идеал государственного мужа — в «деятеле» Цезаре или в «нравственном герое» Катоне? Этот вопрос неоднократно дебатировался в литературе.

Существует, по крайней мере, три исключаяющие друг друга точки зрения. Еще в конце прошлого века такой исследователь Саллюстия, как Эд. Шварц, считая «Заговор Катилины» апологией Цезаря, утверждал, что истинным героем, конечно, следует признать Цезаря, а Катон — «слишком непрактичен»²⁶. Более новые исследователи, например В. Шур, напротив, рассматривают сравнительную характеристику как доказательство и подтверждение антицезарянических позиций Саллюстия, которому теперь якобы больше импонирует образ нравственного героя «историка-мыслителя» Катона²⁷. Наконец, О. Зеель полагает, что ни Цезарь, ни Катон не могут считаться истинными героями Саллюстия, так как они оба — не «обновители государства»²⁸.

Несмотря на то, что изложенными точками зрения как будто исчерпываются все возможные варианты оценок, мы, тем не менее, не можем присоединиться ни к одному из названных исследователей. Нам представляется значительно более вероятным следующий вывод: идеал государственного деятеля для Саллюстия ныне уже не в Цезаре и не в Катоне, а в некоем синтезе этих героев, в сочетании качеств и атрибутов как одного, так и другого.

²⁵ *Sall., Cat.*, 54.

²⁶ *Schwartz Ed. Die Berichte über die Catilinarische Verschwörung. — «Hermes», XXXII 1897, S. 572.*

²⁷ *Schur W. Sallust als Historiker. Stuttgart, 1934, S. 147.*

²⁸ *Seel O. Sallust von den Briefen ad Caesarem bis zur Coniuratio Catilinae. Stuttgart, 1930, S. 38—43.*

Речь идет, таким образом, об обобщенном, синтезированном герое.

Подобный вывод более чем вероятен не только по существу, но и подтверждается самой композицией характеристик. Действительно, характеристики не расположены одна за другой, а построены таким образом, что сливаются воедино: определенный ряд качеств Цезаря сразу же дополняется рядом соответствующих качеств Катона, затем идет новый «слой» качеств Цезаря, и его снова дополняет соответствующий «слой» Катона и т. д. Недаром Саллюстий предваряет эти характеристики знаменательными словами: *sed memoria mea, ingenti virtute, divorsi moribus fuere viri duo: M. Cato et C. Caesar*²⁹.

Итак, идеал государственного деятеля в «Заговоре Катилины» тоже совершенно конкретен и «историчен». Он конструируется на основе синтеза атрибутов обоих героев, поскольку Цезаревых атрибутов самих по себе недостаточно, как недостаточно и Катоновых, взятых отдельно. Дело заключается в том, что они нуждаются во взаимном дополнении, или, по словам самого Саллюстия (правда, сказанным по несколько иному поводу), *per se indigens, alterum alterius auxilio eget*³⁰.

Перейдем теперь к более «теоретичной» и обобщенной концепции Цицерона (хотя это, конечно, не означает, что Цицерон не обращался к конкретно-историческим примерам). Его представления об идеальном государственном деятеле, правителе государства, имеют для нас тем больший смысл и значение, что они в определенной степени связаны с проблемой идеологической подготовки принцепата. Однако едва ли было бы правильно пытаться в данном случае устанавливать слишком прямолинейную связь.

Широко известно, что Цицерон в своем трактате «О государстве» устами главного участника диалога — Сципиона — положительно отзываясь (хоть и с оговоркой о несовершенстве «чистых» форм правления) о царской власти³¹. Нетрудно убедиться и в том, что политическая фразеология, которой часто пользовались Цицерон, а также Октавиан Август (в *Res Gestae*), в ряде деталей совпада-

²⁹ *Sall., Cat.*, 53.6: «На моей памяти замечательной доблестью — при несходстве нрава — отличались два мужа — Марк Катон и Гай Цезарь».

³⁰ *Sall., Cat.*, 1.7.

³¹ *Cic., De rep.*, I, 54.

ют. Так, Цицерон оперирует понятием «auctoritas» или термином «принсерс» (причем нередко в единственном числе!). Кроме того, в литературе уже отмечалось, что те качества и атрибуты, которыми Цицерон в «О государстве» награждает первых римских царей³², сконцентрированы в известном перечислении нравственных достоинств на золотом щите (clupeus aureus), о котором упоминает Август. Это — мужество (virtus), милосердие (clementia), справедливость (iustitia) и благочестие (pietas)³³. Очевидно, все эти соответствия и послужили основанием для ряда исследователей считать Цицерона сознательным сторонником и апологетом единовластия, как бы идеологическим предтечей принцепата.

Еще Ферреро высказывался в том смысле, что Цицерон в трактате «О государстве» выступает как апологет принцепата³⁴. Не менее определенно утверждение Р. Ю. Виппера, согласно которому «руководитель государства» (rector rei publicae) Цицерона есть не что иное, как «монархический президент»³⁵. Названная тенденция нашла яркое отражение и в немецкой историографии первой четверти нашего века. Например, Ф. Тегер усиленно настаивает на монархических симпатиях Цицерона³⁶. О монархическом идеале Цицерона говорит и Р. Рейтценштейн, по мнению которого Цицерон вносит свой корректив в Полибиеву схему смешанного государственного устройства Рима, подставляя на место «царского элемента» (т. е. консулов) своего rector rei publicae³⁷. Эд. Мейер считает, что образцом для Цицерона была «идеальная аристократия» под руководством принцепса, т. е. по существу некая конституционная монархия³⁸.

Однако эти представления настолько противоречат установившейся в самой древности репутации Цицерона, что они не могли не вызвать противоположного движения в той же западноевропейской историографии. Мнение

³² *Cic.*, De rep., II, 17; 27; VI, 6.

³³ RGDA, 34.

³⁴ Ферреро Г. Величие и падение Рима, т. II. М., 1916, с. 75—76; 156.

³⁵ Bunner P. Ю. Очерки истории римской империи. М., 1908, с. 271.

³⁶ Tæger F. Die Archäologie des Polybios, 1924, S. 34.

³⁷ Reitzenstein R. Die Idee des Principats bei Cicero und August.— «Gött. Nachrichten», 1917, S. 399, 436 ff.

³⁸ Meyer Ed. Caesars Monarchie..., S. 177 ff.

о Цицероне как апологете и провозвестнике принципата было основательно поколеблено работами Р. Гейнце³⁹. Он убедительно показал, что государство, которое имеет в виду Цицерон в своем трактате, есть аристократическая республика Сципионова толка. Понятие «auctoritas», которым оперирует Цицерон, всецело находится в этой же сфере. И даже слово «princeps» — типичное слово, характерное для аристократической идеологии. «Principes» у Цицерона — всего лишь перевод греческого слова ἀριστοί. Principes — это руководящие мужи сената.

Как видим, Р. Гейнце пытался опровергнуть взгляд на Цицерона как на апологета монархии посредством анализа некоторых терминов (auctoritas, princeps), которыми оперирует Цицерон. Он одним из первых стремился вскрыть внутреннее содержание этих терминов и доказать, с одной стороны, отсутствие в них монархического привкуса, а с другой стороны, подчеркнуть их традиционный и лояльный характер. В этом же направлении строит свое исследование и В. Шур⁴⁰, который занимает как бы промежуточную позицию, уверяя, что Цицерон, некогда твердо стоявший на республиканских позициях, постепенно был вынужден пойти на уступки «монархической действительности» и примириться с нею. В. Шур думает обосновать этот тезис, прослеживая различные нюансы в словоупотреблении Цицерона. Его тоже интересует главным образом употребление термина «princeps». Анализируя этот вопрос он, однако, приходит к выводу, что, поскольку Цицерон все же употребляет слово «princeps» в единственном числе и применяет его к Периклу, а тем более к Помпею, то нельзя не считаться с тем, что слово приобретает «новый оттенок», и в этом-то как раз и заключается уступка Цицерона «монархической действительности». Если в речах после возвращения из изгнания слово «princeps» имеет еще республиканский смысл, то в речах «О своем доме», «За Сестия», «О консульских провинциях» и в письме к проконсулу Лентулу Спинтеру в декабре 54 г. оно, по мнению В. Шура, приобретает уже новый оттенок, наполняясь монархическим содержанием.

³⁹ Heinze R. Ciceros «Staat» als politische Tendenzschrift.— «Hermes», LIX, 1924; *idem*. Von der Ursachen der Grösse Roms. Rektoratsrede. Leipzig, 1921.

⁴⁰ Schur W. Sallust als Historiker, S. 36 ff.

Следовательно, делает вывод историк, Цицерон подготовил почву для монархической трактовки идеи принципата. Эти выводы в конечном счете приводят В. Шура к оценке Цицерона как «идеологического предтечи» принципата Августа, и в одном месте он прямо называет Августа «непосредственным учеником Цицерона»⁴¹.

Так как все или большинство приведенных высказываний о политических позициях Цицерона основываются на материале его трактата «О государстве», то, очевидно, прежде чем изложить нашу точку зрения на этот вопрос, следует снова обратиться к трактату.

В согласии с традиционной римской точкой зрения («римское государство сильно старинными нравами и мужами») Цицерон считает, что своим процветанием государство всегда обязано взаимодействию именно этих двух факторов: нравов (*mores*) и мужей (*viri*). Поскольку в римском государстве, с его точки зрения, осуществлен идеал смешанного устройства, оно само по себе отнюдь не нуждается в каких-либо принципиальных изменениях по сравнению с древнейшей римской «конституцией», нужно лишь «подновить краски», вдохнуть древний дух — древние *mores* и *virtutes* — в современных граждан. Иными словами, необходима лишь нравственная реформа. Но она, очевидно, может быть проведена каким-то руководящим лицом, которое способно выполнить подобную задачу и занять соответствующее положение исключительно благодаря своим нравственным и гражданским качествам. Подобного реформатора Цицерон и называет *rector rei publicae* или *civitatis*.

Еще Р. Гейнце обратил внимание на то, что идеальный реформатор обозначается у Цицерона как «*rector rei publicae (civitatis)*», но не как «*princeps*» (за исключением некоторых неточных экскерптов). Термин «*rector*» впервые появляется в диалоге «Об ораторе»⁴² при определении государственного деятеля. Он не имеет никакого монархического оттенка, являясь лишь латинским эквивалентом греческого ἀνὴρ πολιτικός. Несомненно, в таком же смысле этот термин употребляется и в трактате «О государстве». Монархический оттенок никак не приложим к слову «*rector*». Под этим термином Цицерон постоянно подразу-

⁴¹ Schur W. Sallust als Historiker, S. 36 ff.

⁴² Cic., De orat., I, 211.

меваает «аристократа-реформатора». В кн. VI приводятся образцы этих *rectores rei publicae*: Сципион, Л. Эмилий Павел, Катон, Гракх-отец, Лелий, Сципион Назика. А так как иногда Цицерон сопоставляет и самого себя с идеальным *rector rei republicae*⁴³, то немонархический характер этого понятия совершенно ясен.

Небезынтересно, что в «О государстве» перечисляются лишь обязанности «ректора», но не его права. Поэтому, на наш взгляд, вполне правильно было в свое время замечено, что для Цицерона понятие *de optimo cive* есть норма поведения, а не власти⁴⁴.

Действительно, Цицерон требует от своего *rector rei publicae* прежде всего определенных нравственных и гражданских достоинств, требует благоразумия⁴⁵, требует, чтобы в таком человеке разум торжествовал над низкими страстями⁴⁶, ибо если это необходимо для каждого человека, то для правителя государства необходимо вдвойне⁴⁷. Цицерон требует от правителя также мужества, осмотрительности, воздержности, наконец трудолюбия⁴⁸, без которых правитель не может соответствовать своему высокому положению и задачам⁴⁹.

Кроме того, собственно говоря, нигде не указывается, что *rector* должен быть всегда в единственном числе, напротив, как правило, должно иметь место соревнование нескольких лиц в целях большего приближения к идеалу. Если же слово *rector* и встречается в «О государстве» в единственном числе, то это объясняется каноном, по которому строились эллинистические трактаты, где материал должен быть расположен так: сначала — изложение самой дисциплины (*τέχνη*), а затем — специальный раздел, посвященный мастеру (*τεχνίτης*). Так же строится и трактат Цицерона: сперва излагается сама дисциплина — *πολιτικά*, а потом идет раздел, специально посвященный *πολιτικός*. Поэтому государственный деятель Цицерона — никак не «монарх» и даже не «президент», а просто

⁴³ *Cic.*, *Ad Att.*, VI, 2; VII, 3.

⁴⁴ Протасова С. И. Трактат Цицерона о государстве. — «Уч. зап. Саратовского гос. ун-та», т. VI, 1927, с. 277.

⁴⁵ *Cic.*, *De rep.*, II, 67.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibid.*, II, 69; *De off.*, I, 73.

⁴⁸ *Ibid.*, V, 2—10.

⁴⁹ *Cp. Cic.*, *Pro Marc.*, 8—12; 29.

выдающийся муж, идеальный гражданин. Наконец, судя по высказываниям самого Цицерона, образ «ректора» мыслится им самим лишь как некая норма, идеал. Таким образом, искать в Цицероновом идеальном ἀνὴρ πολιτικός портретного сходства с кем-либо из римских деятелей, как делают некоторые исследователи, нет никаких оснований. В лучшем случае он задуман как некий приукрашенный автопортрет⁵⁰.

Следует также отметить полную несостоятельность попыток (например В. Шура) вывести монархические тенденции Цицерона из факта употребления и другого термина — *princeps* (иногда тоже в единственном числе). Во-первых, такое заключение неправомерно уже потому, что идеальный государственный деятель для Цицерона всегда (как отмечалось выше) *rector*, а не *princeps*, что, видимо, подчеркивалось самим Цицероном. Говоря о руководителе государства, о реформаторе, Цицерон сознательно употребляет точный термин («*rector*») и избегает слова «*princeps*». «*Principes*», таким образом, — не *terminus technicus* в государственноправовом словаре Цицерона. Во-вторых, употребление слова «*princeps*» в единственном числе также ничего не может доказать, кроме наличия определенных формальных приемов (как и употребление термина «*rector*»).

Но и понятие «*auctoritas*», как указывал Р. Гейнце⁵¹, всецело относится к республиканско-аристократическому кругу идей и представлений. *Auctoritas* вполне может быть совмещена с *res publica restituta*, ибо *auctoritas* без внешних средств власти есть лишь покоящаяся на всеобщем признании действительная сила, прежде всего в морально-политическом плане. Ее политическое значение освящено традицией: вспомним *πρωτάτης τοῦ δῆμου* Платона. Таким образом, *auctoritas principis* тоже вполне закономерно и органически включается в общественный порядок республики⁵².

Следовательно, ни термин «*rector*», ни термин «*princeps*» не имеют никакого монархического привкуса, и употребление их Цицероном вовсе не может рассматриваться

⁵⁰ См. Тронский И. М. Построение трактата Цицерона «О государстве» и его политические тенденции. — ДСФИЛГУ, I, 1949, с. 181.

⁵¹ См. Heintze R. Op. cit.

⁵² Подробнее об употреблении термина *auctoritas* см. Машкин Н. А. Принципат Августа. М. — Л., 1949, с. 385—390.

как свидетельство монархических симпатий автора. Необходимо, однако, выяснить, какое место занимал *rector* в совершенном государственном устройстве и в чем заключались его роль и значение.

Цицерон в основном ставит перед своим идеальным государственным деятелем задачу, которую он постоянно рассматривал и как свою собственную: «Я так действовал во время консульства, что ничего не предпринимал без совета сената, ничего — без апробации римского народа, так что часто на рострах защищал курию, а в сенате — народ и соединил толпу с первейшими [людьми государства], всадническое сословие — с сенатом»⁵³. Так и следует всегда поступать, но если складывается такое положение, что государственные институты, например тот же сенат, оказываются не на высоте, то руководство государственными делами может взять в свои руки *civis optimus* (т. е. частный гражданин, а не должностное лицо)⁵⁴, который выступает в качестве «охранителя государства», в качестве его руководителя и правителя (*rector et gubernator civitatis*).

Кстати сказать, эта мысль Цицерона интересна тем, что в подтексте сквозит если не убеждение, то все же некоторое опасение по поводу того факта, что полисные институты (сенат, магистратуры, в частности власть консулов) перестают выполнять свое назначение. Если Цицерон об этом прямо и не говорит, то, во всяком случае, он мог видеть это в реальной римской политической жизни 50-х годов. Вот почему вместо должностного лица у него выступает частный гражданин, обладающий не магистратскими полномочиями, но реальным авторитетом и влиянием.

Платон связывал возникновение государства как такового с идеей справедливости. Цицерон в общем следует здесь за Платоном, но у него эта идея приобретает более практический оттенок, так как для Цицерона носителями справедливости оказываются всегда практические деятели, которых он и называет «руководителями» (*rectores*). Из обеих задач, которые поставлены богами перед людьми — «или основывать новые государства, или сохранять уже основанные»⁵⁵, — как раз «сохранение уже основан-

⁵³ *Cic.*, *In Pis.*, 7.

⁵⁴ *Cic.*, *De rep.*, II, 46.

⁵⁵ *Ibid.*, I, 12.

ных» и является в первую очередь долгом политического деятеля, который «благ и мудр и понимает государственную пользу и достоинство»⁵⁶. Если государство способно воспитывать, а, по мнению Цицерона, оно, бесспорно, может считаться могущественным воспитателем в духе древнеримской доблести (*virtus*), то всегда должны найтись конкретные носители этой доблести, которые и встанут в годы испытаний у руля государственного управления.

Таким образом, монархическое толкование политических тенденций трактата «О государстве» оказывается несостоятельным. Но между признанием царской власти, неограниченной монархии и концепцией принципата все же никоим образом нельзя ставить знака равенства. В какой же мере учение Цицерона об идеальном гражданине и государственном деятеле связано с подобными идеями? В чем состоит особый и довольно сложный характер самих связей?

Нам представляется, что на поставленные вопросы едва ли возможен однозначный ответ. Так, если говорить о субъективных и «осознанных» политических симпатиях Цицерона, вряд ли можно сомневаться в его традиционно-республиканских воззрениях. Однако было бы неправильно ограничиться столь односторонним утверждением. И действительно, при попытке определить значение такой сложной и противоречивой личности, как Цицерон, нельзя удовлетвориться ни одной из уже высказывавшихся точек зрения: конечно, нельзя считать Цицерона апологетом монархии, но неправильно было бы расценивать его и как апологета традиционной республики — и только. На самом деле облик Цицерона как политического деятеля и мыслителя гораздо сложнее и трагичнее. И истинные идеологические позиции Цицерона можно понять не в результате подсчета того, сколько раз им употреблено слово «*princeps*» в единственном числе и т. п., а через уяснение общего и принципиального направления эволюции его политических воззрений.

Высказанные положения отнюдь не противоречат выводам, сделанным ранее. С точки зрения своих субъективных и осознанных симпатий Цицерон, как мы уже и подчеркивали, — убежденный сторонник традиционной, аристократической Римской республики. Но поскольку Цице-

⁵⁶ *Cic.*, *De rep.*, II, 51.

рон выступал как провозвестник «общепатриотического лозунга», т. е. проповедовал *concordia ordinum* и *consensus bonorum omnium*, он объективно в сфере политической идеологии расчищал дорогу принципату.

Октавиан Август, как известно, сначала боролся за власть в качестве наследника Цезаря, в качестве представителя «партии» (*factio*) цезарианцев, сохранившей известные демократические тенденции (во всяком случае, в своей фразеологии). Вместе с другими триумвирами он выступал как враг сенатской олигархии и староримской знати. Главной опорой в этой борьбе была профессиональная армия, которая ныне уже претендовала на то, чтобы ее рассматривали как римский народ.

После победы над Антонием, когда встает вопрос не о завоевании власти, но о длительном сохранении власти, уже завоеванной, в социальной политике Августа начинается преобладать консервативное, реставрационно-охранительное направление. Лозунг «*res publica restituta*» обуславливал бережное отношение к римской традиции, к нравам предков. Сам Август не раз подчеркивал эту тенденцию как одну из главных основ своей внутренней политики: «Я вернул свободу республике»⁵⁷ или: «Новыми законами, принятыми по моей инициативе, я возвратил многие обычаи предков, уже забытые в наш век»⁵⁸. Особенно старательно он подчеркивает это там, где желает продемонстрировать свою лояльность по отношению именно к «республиканским» традициям. Например, он не забывает отметить, что «не принял никакой магистратуры, данной мне против обычаев предков»⁵⁹, или говорит, что после прекращения междоусобной войны, заняв с общего согласия высшее положение, «передал республику из моей власти в распоряжение сената и народа римского»⁶⁰, или, наконец, заявляет: «После этого времени я превосходил всех авторитетом, власти же имел несколько не больше, чем остальные, которые были мне коллегами по магистратуре»⁶¹.

Консервативно-охранительное направление внутренней политики Августа замечено давно, и еще Р. Ю. Виппер

⁵⁷ RGDA, 1.

⁵⁸ Ibid., 8.

⁵⁹ Ibid., 6.

⁶⁰ Ibid., 34.

⁶¹ Ibidem.

подчеркивал любовь политической и социальной реакции к «национальной старине», к культу предков и традиций, говоря, что «принцепс заявлял себя прежде всего спасителем общества от бурь междоусобных войн, восстановителем национальных традиций и первым гражданином»⁶².

Другой не менее характерной чертой внутренней политики Августа можно считать борьбу за римскую самобытность, за преодоление чужеземных влияний, что тоже несомненно и тесно связано с реставрационной тенденцией. Конечно, если говорить о борьбе с чужеземными влияниями, то эта борьба во времена Августа велась далеко не теми методами, как, скажем, при Катоне Цензоре. Тем не менее преимущество совершенно ясно. Лозунг не только восстановления республики, но восстановления ее именно в «старинном и первоначальном виде»⁶³, борьба за возрождение нравственных и семейных устоев — все это требовало обращения к тем нормам и идеалам, которые господствовали в римском обществе до проникновения «тлетворных» чужеземных влияний и обычаев, ставших, согласно теории упадка нравов, основной причиной разложения римского государства.

Особенно ярко охранительная тенденция, как и следовало ожидать, проявилась в области идеологии и культуры. Преодоление чужеземных эллинистических влияний (например александринизма в поэзии) привело в этот период к подъему римско-италийской культуры, к созданию римского самобытного искусства, возвращению к исконно римским традициям. Этим и начинался так называемый «золотой век» римской литературы.

Стремление Октавиана укрепить свою власть обусловило попытки сплотить вокруг принцепса как можно более широкие слои римского гражданства. Постепенно не только италийская муниципальная знать, но и сенаторское сословие переходит на сторону Октавиана. Несомненной опорой были ветераны, получившие землю в Италии. Императорская бюрократия начинает все в большей степени пополняться представителями всаднического сословия. Для сплочения всех этих группировок понадобились какие-то «общепатриотические» лозунги.

⁶² Bunner P. Ю. Очерки истории римской империи. М., 1908, с. 385—386.

⁶³ Vell. Pat., II, 89.

Идеологическая подготовка принципата и заключалась в выработке подобных лозунгов. Более того, в идеологической сфере принципат — не что иное, как победа надсловных, «надклассовых» общепатриотических лозунгов и идей над лозунгами сугубо «партийными», отражающими интересы той или иной, но вполне определенной и «ограниченной» социальной прослойки. Следовательно, Цицерон оказывается невольным идеологическим предтечей принципата, а отнюдь не сознательным апологетом новой формы правления, уступающим «монархической действительности». Субъективных монархических симпатий у Цицерона никогда не существовало. В том-то и заключается сложность и трагичность личности Цицерона, в том-то и состоит секрет его раздвоенности, что субъективно Цицерон вплоть до своей трагической гибели оставался ярким и убежденным сторонником республики, но объективно и, несомненно, против «своей воли» он идеологически подготавливал принципат, как пропагандист общепатриотической «надклассовой» идеи.

Подобная раздвоенность Цицерона исторически была явлением отнюдь не случайным — она отражала политические позиции и интересы определенных кругов римского общества. Это были достаточно широкие круги, связанные с различными группировками господствующего класса. Своеобразие момента как раз и заключалось в том, что происходила консолидация подобных групп и прослоек. Это обстоятельство облегчило победу принципата как политической формы. В области же идеологической победа принципата была обусловлена успехом лозунгов, вошедших в политическую программу Цицерона, и это были, как уже говорилось, «внепартийные» и «общепатриотические» лозунги. Они могли удовлетворить политические и культурные запросы достаточно широких слоев римского общества, вконец измученного долгими годами гражданских войн, уставшего от политических смут и потрясений, они облекали в приемлемую идеологическую оболочку победу нового режима. Вот почему этим лозунгам удалось полностью и окончательно вытеснить «узкопартийные» установки, имевшие хождение лишь среди отстраненных отныне от политики кругов римской демократии.

Политические учения древнего Рима более или менее адекватно отображали эволюцию социально-политических отношений в античном обществе, развитие самой античной государственности. Если политические теории «классической» эпохи вращались в орбите полиса, в пределах полисных понятий, критериев и ценностей, поскольку полис был тогда единственной реально существующей (да и единственно мыслимой) формой гражданского общежития, то в эпоху начавшегося кризиса полисной системы (для Греции — IV—III вв., для Рима — II—I вв.), когда на смену полису приходили новые (и не всегда еще определенные) государственные формы, это не могло не найти своего отражения в политических учениях и теориях. Первым признаком, первым симптомом зарождения каких-то новых веяний можно, пожалуй, считать «критический подход», сначала робкий и сугубо «частный», но постепенно перерастающий в открытые атаки против тех устоев, той системы ценностей полиса, которая до сих пор считалась незыблемой.

Эта система неизбежно трансформируется. Если новые элементы, новые связи и соотношения не всегда еще были ясны, то вполне ясно было другое — старые соотношения больше недействительны.

Самое понятие «государство» сформировалось в Риме довольно поздно. Но если оно уже не было идентично понятию «полис» (т. е. гражданская община), отличалось от него, то осталось ли в силе прежнее понятие «гражданин»? Дабы выйти из сферы общих рассуждений, рассмотрим один документ, носящий, на первый взгляд, сугубо частный характер. Мы имеем в виду известную переписку Цицерона и Матия.

Эта переписка, по словам одного исследователя, «была предметом внимания и толкования за последние полтора столетия в несравненно большей степени, чем любая другая корреспонденция из эпистолярного корпуса Цицерона»¹. Обмен письмами между Цицероном и Матием датируют обычно августом (или серединой октября) 44 г. до н. э. Примерно в эти же сроки Цицерон завершил работу над одним из своих последних диалогов — над «Лелием». Это совпадение сроков знаменательно, поскольку в письмах трактуется вопрос о дружбе, детальной разработке которого посвящен и названный диалог.

Как известно, *amicitia* была в Риме понятием политическим. Эллегар в своем словаре устанавливает две формы *amicitia* в сфере политической жизни и отношений: а) связь между Римом и другими народами, объявленными *amici populi Romani*; б) отношения между самими римлянами, в частности между политическими деятелями Рима². Само собой разумеется, что в данном случае мы будем иметь дело со вторым типом отношений.

Цицерон начинает свое письмо Матию с упоминания о том, что на другой же день после приезда в Тускул его посетил некто Требатий, «человек сколь вполне услужливый, столь и преданный нам обоим друг»³. После взаимного обмена любезностями Цицерон, видимо, желая выяснить цель посещения осведомился о том, нет ли каких-нибудь новостей. Тогда Требатий изложил жалобу (*quegelam*) Матия, о которой, как пишет Цицерон, «прежде чем отвечать, я скажу кое-что»⁴.

Этому «кое-что» затем посвящаются две трети длинного письма. Цицерон излагает историю своей дружбы с Матием и дает ей характеристику. Что касается самой «жалобы», то ее суть ни в письме Цицерона, ни в ответе Матия не изложена, но понять, в чем дело, не столь уж трудно. Матий, очевидно, сетовал на то, что Цицерон недостаточно активно защищает его от нападков, которым он ныне подвергается из-за своей прошлой дружбы с Цезарем.

¹ Kytzler B. *Matius und Cicero*. — «Historia», Bd. I, 1960, H. 1, S. 96—121; *idem*. *Betrachtungen zu den Matius Briefen*. — «Philologus», Bd. 104, 1960, H. 1/2, S. 48—62.

² Hellegouarc'h J. *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la république*. Paris, 1963, p. 49—53.

³ *Cic.*, *Ad. fam.*, XI, 27.1.

⁴ *Ibidem*.

Цицерон, заверив Матия, что помнит и ценит все его дружеские услуги, изъявляет готовность встать на его защиту, но вместе с тем дает понять, что сделать это не так просто. Способ защиты, говорит Цицерон, должен быть двойным: одну часть обвинений следует просто отрицать, на другую — отвечать, ссылаясь на соображения гуманности. «Но, — продолжает он, — от тебя, ученейшего человека, не может ускользнуть, что если Цезарь был тираном (*si Caesar rex fuerit*) — а таково мое мнение, — то вопрос о твоих дружеских обязанностях можно решать и в ту, и в иную сторону: или так, как я обычно толкую, что, мол, следует прославлять верность и человечность, которую ты проявляешь по отношению к другу даже после его смерти или же так, как это толкуют некоторые (*qua nonnulli utuntur*), что свободу отечества следует предпочитать жизни друга (*libertatem patriae vitae amici anteponendam*)»⁵. Последняя формулировка и является центральным тезисом всех рассуждений Цицерона об *officia amicitiae*, перекликающимся с теоретическими положениями трактата о дружбе, в частности с его центральной частью (§ 33—48), где развивается учение об основном «законе дружбы» (*lex in amicitia*).

Главный участник этого диалога Лелий, ссылаясь на Сципиона Африканского, рассуждает о том, сколь трудно сохранять дружбу продолжительное время. Перечисляя различные причины, вследствие которых обычно нарушаются дружеские отношения (характеры людей, соперничество, женитьба, выгодное положение, недоступное сразу обоим, страсть к деньгам и спор — даже между лучшими людьми — из-за почестей и славы), Лелий выделяет в качестве одной из важнейших причин расхождение в политических взглядах или, как он выражается, когда «о государственных делах судят по-разному»⁶.

Поэтому неизбежно встает вопрос о том, насколько далеко может заходить в дружбе чувство любви, привязанности. Вся XI глава (§ 36—39), кстати сказать, построенная на различных конкретно-исторических примерах, посвящена обоснованию той главной мысли, что интересы дружбы не смеют противоречить интересам *res publica*, что требования дружбы должны умолкать перед требова-

⁵ *Cic., Ad. fam., XI, 27.8.*

⁶ *Cic., Lael., 33—34.*

ниями общественно-политического характера. «Что же, если Кориолан имел бы друзей,—спрашивает Лелий,—должны ли были они вместе с ним идти с оружием против отечества, должны ли были друзья помогать Вецеллину, домогавшемуся царской власти, или, скажем, помогать Спурию Мелию?»⁷ Далее следует пример различного отношения друзей к преступным, по мнению Лелия, действиям Тиберия Гракха и знаменитый диалог с Блоссием, показывающий, до каких преступных нелепостей и безумия может дойти тот, кто интересы *res publica* приносит в жертву дружбе. Нет извинений подобным проступкам, совершенным в угоду другу, но зато хорошо известны такие примеры дружбы (Папа Эмилия с Гаем Лусцином или Мания Курия с Тиберием Корунканием), когда немислимо даже подозревать, чтобы кто-либо мог требовать от друга того, что противоречило бы совести или интересам государства⁸.

Таким образом, основной «закон дружбы» определяется следующим образом: «Чтобы мы о позорных делах не просили и сами их, если нас попросят, не делали. Ведь позорно и непозволительно оправдываться как при других преступлениях, так и признаваясь в действиях против государства (*res publica*), тем, что это было совершено ради друга»⁹. Все это тем более непростительно, что строй жизни уже начинает уклоняться от обычаев предков. Здесь Лелий снова говорит о «царской власти» (*regnum*) Тиберия Гракха, высказывает самые худшие опасения в связи с трибунатом Гая и, наконец, вспоминает о судьбе Фемистокла и опять-таки Кориолана. Все это рассуждение об основном законе дружбы завершается следующим выводом: «Единодушные люди негодных (*improbi*) не только не должно извиняться и прикрываться дружбой, но скорее должно караться всяким наказанием, дабы никто не думал, что позволено следовать за другом, начинающим войну против родины, а поскольку дело к тому уже идет, это, быть может, когда-нибудь и случится; я же не меньше забочусь о том, каково будет состояние государства после моей смерти, чем о том, каково оно сегодня»¹⁰. В последних словах, хоть они и вложены в уста современника Сци-

⁷ Ibid., 36.

⁸ Ibid., 37—39.

⁹ Ibid., 40.

¹⁰ Ibid., 43.

пиона Эмилиана и Гракхов, достаточно явно обнаруживается беспокойство самого Цицерона в связи с событиями и положением римского государства в его время. И снова в качестве заключительного аккорда формулируется основной закон дружбы, причем на сей раз в более позитивном варианте: если раньше говорилось, что нельзя требовать от друга позорных дел и нельзя совершать их самому, то теперь утверждается, что друзей следует просить лишь о нравственно-прекрасном (*honesta*) и самому совершать ради друзей только нравственно-прекрасные поступки¹¹.

Итак, первый предел дружбе ставится интересами *res publica*. Предпочтение государственных интересов требованиям дружбы — таков основной закон, определяющий *officia amicitiae*. Этот тезис для Цицерона — главный и решающий, причем он имеет для него не только теоретическое, но и сугубо практическое значение. В его практическом значении мы уже могли убедиться на примере взаимоотношений Цицерона и Матия. Вернемся в этой связи к их переписке, в частности к ответному письму Матия.

«Я получил большое удовольствие от твоего письма, — так начинает свой ответ Матий, — ибо узнал из него, что ты придерживаешься обо мне такого мнения, какого я желал и на какое надеялся. Хотя я в нем и не сомневался, но, так как весьма его ценю, я старался, чтобы оно осталось неизменным»¹². После этого небольшого (в отличие от *цицероновского*) вступления Матий переходит к существу дела. Его цель заключается в том, чтобы оправдать и объяснить свое поведение после смерти Цезаря.

Интересен основной тезис, который выдвинут в самом начале ответного письма и затем развит в центральной его части, тезис, исходя из которого Матий строит систему оправдания. Он пытается доказать, что им не сделано ничего такого, что могло бы оскорбить чувства любого благонамеренного гражданина (*quod boni cuiusquam offenderet animum*). Это в принципе чисто римская установка, приемлемая для Цицерона. Поэтому она, видимо, и избрана в качестве исходной точки для всей системы опровержения обвинений. Но, переходя к такому опровержению, Матий невольно отвлекается от этой установки и, высказывая свои соображения об обязанностях дружбы,

¹¹ *Cic., Lael., 44.*

¹² *Cic., Ad fam., XI, 28.1.*

развивает взгляды, по существу диаметрально противоположные тем, которые были изложены Цицероном.

Мне хорошо известно, пишет Матий, в чем меня обвиняют после смерти Цезаря. Мне ставят в вину, что я тяжело переношу гибель близкого мне человека и друга и негодую, что погиб тот, кого я любил. Говорят, интересы отечества нужно предпочитать дружбе (*patriam amicitiae praeponendam esse*), как будто уже доказано, что смерть Цезаря была действительно полезна для государства. Я же не хочу лукавить, но открыто признаюсь, что еще не достиг такой степени мудрости ¹³.

Затем Матий подчеркивает свое неучастие в политической борьбе, а тем более — в гражданской войне, которую всеми доступными ему средствами он старался предотвратить, «истребить в самом ее зародыше». Указывает он также и на то обстоятельство, что победа Цезаря не принесла ему ни почестей, ни богатства (наоборот, вследствие некоторых мер Цезаря его состояние даже уменьшилось), и не забывает упомянуть о своих усилиях склонить Цезаря к помилованию побежденных граждан ¹⁴.

В своей системе опровержений, Матий постоянно исходит из противопоставления Цезаря — политического деятеля Цезарю-человеку, уверяя, что последний был его личным другом, а до Цезаря-политика ему нет и не было никакого дела, поскольку он сам всегда стоял вне политики ¹⁵. Но такое противопоставление, конечно, было уже абсолютно неприемлемо для Цицерона, ибо он не мог оправдать дружбы, закрывающей глаза на политическую ориентацию друга. Ироническое же отношение Матия к тезису: «интересы отечества следует предпочитать дружбе» (а это положение, как мы видели, и было основой воззрения Цицерона на *amicitia*) — свидетельствует о двух различных и по существу непримиримых трактовках понятия дружбы и ее обязанностей. Для Матия сомнение в этой формуле вполне закономерно — для него дружба и политика находятся как бы в двух различных и не пересекающихся друг с другом плоскостях.

В последней части письма Матий даже переходит в наступление. С позиций «чистой дружбы» он обрушивается на своих недоброжелателей. «Что за неслыханное высоко-

¹³ Ibid., XI, 28.2.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Ibid., XI, 28.2—3.

мерие, — восклицает он, — одни могут хвастаться своими злодеяниями, другие же не имеют права скорбеть, не подвергаясь угрозе какого-то наказания. Но ведь свобода радоваться, бояться, печалиться по собственной, а не чужой воле всегда предоставлялась даже рабам, и вот такое право у нас пытаются вырвать угрозами эти самые, как они величают себя, творцы свободы!»¹⁶ По сути, эта часть письма представляет собой апологию Цезаря. Начав с сомнения в том, что его смерть могла быть полезна для государства, Матий говорит затем, что не может быть полезна смерть того, кто даже после победы оставил всех «невредимыми», и кончает утверждением, что «все содеянное» ошибочно и смерть Цезаря «прискорбна для всех»¹⁷.

Итак, две концепции «обязанностей дружбы», а по существу — две концепции обязанностей, долга гражданина. Концепция Матия (по духу своему — эллинистическая) индивидуалистична: она ставит интересы и права отдельной личности, во всяком случае, не ниже интересов государства в целом. Матий отстаивает свои «личные свободы», указывая на их естественный, общечеловеческий характер, на то, что пользование ими не нарушает лояльности в отношении *res publica*, а этой лояльностью, с точки зрения Матия, вполне могут быть исчерпаны взаимоотношения между отдельным индивидом и государством. Не следует, безусловно, нарушать условия лояльности, но, с другой стороны, едва ли государство вправе требовать от человека чего-то большего, чем это лояльное отношение.

Концепция Цицерона (концепция римская) диаметрально противоположна. Она сохраняет — в трансформированном виде — элементы отношений, элементы связи между общиной и гражданином. Община или государство (а точнее — Рим) — вечная и непреходящая величина, следовательно, интересы отдельного члена общины, отдельного гражданина всегда на втором плане по сравнению с интересами целого, всегда должны уступать им и даже растворяться в них. «Политика» и «частная жизнь» отнюдь не должны считаться несовместимыми и не пересекающимися между собой плоскостями, наоборот, они неотделимы друг от друга. Государство же вправе требовать от любого гражданина не только лояльности, но и

¹⁶ *Cic.*, *Ad fam.*, XI, 28.3.

¹⁷ *Ibid.*, XI, 28.4.

определенной активности, определенной деятельности, т. е. *некоего служения* во имя и на благо государства.

Таковы эти две, по существу противоположные и даже непримиримые концепции. Какая же из них побеждает, за какой из них оказывается будущее? Едва ли может, на наш взгляд, даже зародиться сомнение в том, что вся дальнейшая история Рима свидетельствует о поражении «концепции Матия», т. е. политической концепции эллинизма. Это и есть та самая область, та сфера общественной жизни, которую эллинизму так и не удалось «завоевать».

Но о чьей же победе тогда должна идти речь? Можно ли говорить о победе «концепции Цицерона», и как в таком случае ее понимать? Как воскрешение отживших полисных традиций, как реставрацию старой системы ценностей? Конечно, все гораздо сложнее. На первый взгляд, речь идет как будто о возрождении традиционных ценностей, но это — всего лишь внешняя оболочка. Идеологическая основа стала уже совершенно иной, а потому и содержание старых понятий, их внутренний смысл претерпели существенное изменение. Полисная шкала ценностей покоилась в свое время на такой основе, которая предусматривала непосредственные и «неотчужденные» связи в системе «община — гражданин», т. е. *связи соучастия*. Новая концепция покоится уже на совсем иной, не менее прочной и вместе с тем более «жесткой» основе, т. е. на тех связях, которые создаются системой «империя — подданный» и которые должны быть определены как *связи подчинения*. Конечно, в эпоху Цицерона — Цезаря подобная система еще окончательно не оформилась; эта эпоха — всего лишь переломный рубеж в развитии того процесса, который завершается созданием политического режима принципата. Что же касается «концепции Цицерона», если сохранить это условное название, то ее победа представляет определенный интерес как еще один вполне закономерный момент и «показатель» идейной подготовки принципата.

Каков же общий итог? Если ответить на этот вопрос с предельной краткостью, то нам представляется, что путь, пройденный античным обществом в его социальном и политическом, в его государственном развитии, равно как и адекватное отражение этого пути в сфере идеологии, можно определить лаконичной формулой: от полиса — к империи, от гражданина — к подданному.

I

КРИЗИС ПОЛИСА *

Советские историки древности всегда уделяли большое внимание античному полису. На протяжении ряда лет исследовались различные стороны проблемы: социально-экономическая природа полиса, его классовая структура, многообразие форм полиса (например различие понятий *πόλις* и *civitas*) и т. п. В настоящее время представляется возможным прийти к некоторым обобщениям и выводам, подчеркнув тем самым принципиальное значение проблемы в целом.

Проблема полиса имеет, безусловно, решающее значение для правильного понимания основных закономерностей развития античного рабовладельческого общества. Подобное утверждение возможно потому, что полис был специфической и вместе с тем универсальной формой экономического, политического и идеологического бытия античного общества на определенной ступени его развития. Как без изучения специфики сельской (соседской) общины нельзя полностью понять истории большинства древневосточных государств, так без понимания природы городской (гражданской) общины, т. е. полиса, невозможно осмыслить историю античности.

Полис — не только государственная или политическая форма, исчерпываемая выяснением специфики термина «город-государство», но гораздо более глубокое понятие, включающее в себя определение элементов экономического базиса античного рабовладельческого общества. Чрезвычайно важно отметить, что именно так понимал при-

* Из доклада «Кризис полиса и политические воззрения римских стоиков» к X Международному конгрессу исторических наук (Рим, сентябрь 1955 г.).

роду античного полиса К. Маркс. В своей весьма интересной и ценной работе «Формы, предшествующие капиталистическому производству»¹ К. Маркс придает исключительное значение роли города (полиса) в античном обществе. «История классической древности,— пишет он,— это история городов, но городов, основанных на земельной собственности и на земледелии»². Характеризуя античную форму собственности, он снова возвращается к вопросу о полисе: «Эта вторая форма (собственности.— С. У.) предполагает в качестве своего *базиса* (курсив наш.— С. У.) не земельную площадь как таковую, а город, как уже созданное место поселения (центр) земледельцев (земельных собственников)»³. Наконец, К. Маркс подчеркивает, что «в античном мире город с принадлежащими ему землями является *экономическим целым*» (курсив наш.— С. У.), тогда как, например, у германцев (у Маркса это дано в качестве противопоставления) экономическим целым является отдельное жилище⁴.

С точки зрения советских историков, античный город прежде всего — «экономическое целое», базис античной формы собственности. Но, как известно, это — собственность на основное и главное средство производства того времени, т. е. на землю. Специфика же античной собственности состоит в том, что она выступает перед нами в противоречивой двойной форме: как собственность общинная (государственная) и как собственность частная, но всегда так, что последняя опосредована первой. Суть этого противоречия вскрывается следующим образом: в античном обществе необходимым условием собственности на землю (во всяком случае, в принципе) была принадлежность к гражданской общине (т. е. к полису, *civitas*).

Но если это так, то отсюда вытекает, что экономической основой полиса следует считать производство свободных земельных собственников (и ремесленников), а отнюдь еще не рабов. Именно «мелкое крестьянское хозяйство... и независимое ремесленное производство» были экономической основой «классического общества в наиболее цветущую пору его существования», когда общинные

¹ См. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 46, ч. I, с. 461 слл.

² Там же, с. 470.

³ Там же, с. 465.

⁴ Там же, с. 471.

формы собственности уже разложились, «а рабство еще не успело овладеть производством в сколько-нибудь значительной степени»⁵. Таким образом, полис, хоть он и является гражданской общиной землевладельцев и рабовладельцев, покоящейся на античной форме собственности, все же живет еще в основном за счет труда свободного мелкого производителя. Расширение эксплуатации рабского труда, внедрение его в важнейшие сферы производства, превращение раба в основного производителя материальных благ общества (и неизбежно связанный с этим процесс пауперизации свободного крестьянства) несовместимы с природой полиса.

Поэтому развитие рабовладельческого способа производства закономерно и неизбежно приводит к кризису полиса.

Представляется необходимым, хотя бы в самых общих чертах, коснуться вопроса о классовой структуре полиса. Процесс формирования общественных классов следует рассматривать в его развитии, причем целесообразно обратить внимание на некоторые специфические стороны этого процесса как в греческом, так и в римском обществе.

Первые более или менее достоверные исторические данные рисуют нам эти общества на стадии разложения родовых отношений. Именно в этот период, как известно, возникают противоречия антагонистического характера и начинают складываться общественные классы. Предпосылками образования общественных классов являются прежде всего рост производительности труда, создающий самую возможность отчуждения и накопления производимого продукта, а затем возникновение частной собственности, обуславливающей развитие имущественного неравенства.

Первое из указанных обстоятельств сделало возможным превращение пленника в раба с целью использования его рабочей силы. С того момента, как общины, захватывая пленных, стали превращать их в рабов, с этого момента, строго говоря, и начинается процесс разделения общества на классы — рабов и рабовладельцев. Второе из указанных обстоятельств привело к тому, что внутри самой общины отдельные лица (главы выделившихся своим имуществом семей), очевидно, в силу наследственного за-

⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 23, с. 346, прим. 24.

нения ими общественных должностей, получили возможность захватывать в частную собственность рабов, а затем (значительно позже) и землю. Но это обстоятельство означает, что наряду с членением общества на рабов и рабовладельцев начинает складываться и другое классовое деление: крупные землевладельцы — рабовладельцы и мелкие производители (т. е. богатящая родовая знать и разоряющийся «простой народ»).

Эти процессы шли параллельно, но, по-видимому, несколько различными путями в Греции и Риме.

Для Греции они засвидетельствованы достаточно рано. С одной стороны, об эксплуатации рабского труда известно уже из Гомера⁶, о применении рабского труда в хозяйстве мелкого землевладельца свидетельствует Гесиод⁷. С другой стороны, для ранних Афин известно указание, которое считается восходящим к Аристотелю⁸, о так называемой конституции Тесея, т. е. разделении всего населения Аттики на эвпатридов, геоморов и демиургов. Его можно рассматривать как косвенное свидетельство образования привилегированного класса эвпатридов и класса мелких производителей.

Однако все эти факты еще не дают основания считать, что в тот период уже сложилось классовое общество с его основными институтами. Вместе с тем это был, несомненно, период становления новой формации, становления, происходившего в обстановке весьма сложной борьбы: борьбы рабского способа производства с мелким свободным производителем, борьбы «богатых промышленников и купцов» с родовой знатью, наконец, борьбы разоряющегося крестьянства за землю. Только в итоге этой борьбы и уничтожения органов родового строя или превращения их в органы государственные определяется ведущий способ производства и складывается рабовладельческое общество с его четко оформившимися классами, с определенной расстановкой классовых сил, при которой рабы и рабовладельцы уже выступают как основные классы-антагонисты, наконец, с его государственным аппаратом. В Афинах это качественное изменение происходит в период политических революций Солона и Клисфена.

⁶ *Hom.*, Od., VII, 103—106; XX, 105—110.

⁷ *Hesiod.*, Op. 469—471.

⁸ *Plut.*, Thes., 25.

Все сказанное дает достаточное представление о сложности классовой структуры афинского полиса. Это представление может быть уточнено и детализовано, если, например, обратиться к анализу понятия «демос».

Афинский демос эпохи расцвета Афин (до Пелопоннесской войны включительно), как известно, не представлял собой единообразной, однородной социальной категории. В афинский демос входили, с одной стороны, мелкие и средние землевладельцы (аттическое крестьянство), с другой — чрезвычайно разнородные городские элементы: купцы, ремесленники, владельцы мастерских, гребцы и низший командный персонал флота⁹, городской люмпен-пролетариат. Из столь разнородного состава демоса вытекала сложность и напряженность социальной борьбы в Афинском государстве, поскольку понятие «демос» объединяло разнообразные группировки и прослойки, движимые часто совершенно различными, а иногда и прямо противоположными интересами, не говоря уже о противоречивости интересов демоса и метеков или, тем более, интересов эвпатридов и демоса.

Чрезвычайно существенным было то обстоятельство, что в Афинах в состав демоса входили торгово-промышленные элементы, которые и занимали здесь ведущее положение. Экономическая мощь и политическая активность этого слоя населения немало содействовали укреплению позиций демоса в целом.

Если перейти к Риму, то следует отметить, что общая схема развития классовых противоречий и формирования рабовладельческого общества остается здесь той же самой, и это вполне естественно, так как отмеченные выше предпосылки образования классов были одинаковыми. Но, конечно, складывающееся рабовладельческое общество Рима имело специфические черты. Древнейшая римская община делилась, как известно, на патрициев и клиентов, однако даже вопрос о том, кто такие патриции и клиенты, нельзя считать решенным вполне определенно. Неизвестно также, было ли это деление в пределах общины универсальным, т. е. весь ли древнейший *populus Romanus* распадался на эти две категории¹⁰, или существовала не-

⁹ См., например, [Хен.], *Resp. Ath.*, I, 2.

¹⁰ Такой точки зрения придерживался еще Б.-Г. Нибур (*Niebuhr B. G. Römische Geschichte*, 4. Aufl., T. 1. Berlin, 1833, S. 339), утверждавший, что «римский народ состоял из патрициев и

кая часть населения, входившая в *horulus*, но не принадлежавшая ни к патрициям, ни к клиентам. Картина усложняется появлением плебеев. Не вдаваясь сейчас в сложный и все еще не решенный вопрос о происхождении плебеев, укажем лишь, что борьба между патрициями и плебеями, которую, вероятно, в ее начальной стадии следует рассматривать как борьбу двух общин¹¹, затем перерастает — по мере усиления имущественного неравенства и экономической дифференциации — в социальную борьбу, борьбу против господства патрицианской родовой знати¹². Доказательством того, что социальные противоречия уже достаточно рано начинают играть весьма важную роль в борьбе патрициев и плебеев, является так называемая конституция Сервия Туллия, которая по существу рассматривает весь римский народ как единую гражданскую общину и не знает ни патрициев, ни плебеев¹³, но зато представляет собой наглядное свидетельство достаточно далеко зашедшего имущественного расслоения общества¹⁴. Реформа Сервия Туллия, которая была одним из переломных моментов в борьбе патрициев и плебеев, знаменовала собой крах старого родового строя, в результате чего в Риме установилось классовое рабовладельческое общество. Однако борьба патрициев и плебеев на этом не завершается. Она продолжается и дальше, и притом не только как борьба социальная, но в известной мере

клиентов... до образования патрицианско-плебейской общины», но это положение едва ли может быть доказано.

¹¹ Разумеется, плебейскую общину не следует представлять на первых порах столь же организованной, как община патрицианская; в этом и была ее слабость. Общинные институты появляются у плебеев постепенно, в процессе их борьбы с патрициями.

¹² Изложенную точку зрения никоим образом нельзя сближать с теорией Эд. Мейера и некоторых других исследователей, согласно которой экономическая дифференциация была причиной распада римского общества на сословия, аналогичные сословиям феодальной Европы. Экономическая дифференциация римского общества, как это отчетливо подтверждают источники, отнюдь не являлась причиной появления патрициев и плебеев, но было бы нелепо отрицать роль и значение этой дифференциации в дальнейшем развитии классовых противоречий в древнем Риме.

¹³ См., например, *Dion.*, IV, 20, 2—3; *Liv.*, I, 43, 10. Конечно, традиционная датировка этой «реформы» едва ли может быть принята.

¹⁴ См., например, объяснение термина «пролетарий» у Авла Геллия (*Gell.*, XVI, 10, 1—5).

и как борьба двух общин. Окончательное слияние обеих общин, выразившееся, в частности, в слиянии патрицианской и плебейской верхушки, происходит во второй половине IV в., с «растворением... патрицианской знати в новом классе крупных землевладельцев и денежных магнатов»¹⁵.

Таков не менее сложный процесс становления классового общества в Риме. Необходимо подчеркнуть некоторые специфические черты, отличающие это общество.

Прежде всего следует отметить, что дифференциация свободного населения в Риме в силу того, что раннее римское общество было аграрным, шла иным, более замедленным путем. С другой стороны, если в Афинах консолидация экономически мощных и политически активных слоев демоса (формирование в составе демоса торгово-ремесленных элементов) произошла на той стадии развития афинского общества, когда еще шла напряженная борьба за ликвидацию пережитков родового строя, борьба с господством родовой знати, то в Риме подобные процессы происходят в несколько иной социальной обстановке. Здесь они совершаются на том этапе развития римской *civitas*, когда родовая знать в основном уже была лишена своего экономического и политического господства (т. е. примерно на рубеже IV и III вв. до н. э. — цензура Аппия Клавдия, начало чеканки серебряной монеты в 268 г. до н. э. и т. д.).

Возможно, что именно эти причины приводят к принципиально иной расстановке и иному соотношению классовых сил в римском рабовладельческом государстве в период наиболее острых социальных конфликтов, т. е. во II—I вв. до н. э. В противовес тому, что наблюдается в Афинах в V и первой половине IV в. до н. э., верхи торгово-ремесленного слоя в Риме (крупные торговцы — *negotiatores*, ростовщики, владельцы ремесленных мастерских) не только фактически, но и юридически выделяются из состава демоса. Ко времени Гракхов этот слой оформляется в особо привилегированное сословие (всадничество), достаточно четко отграничивающее себя от позднейшего плебса. Основная масса мелких ремесленников и торговцев, которая по-прежнему входила в состав плебса, наоборот, постепенно разоряется и превращается в люм-

¹⁵ Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. 21, с. 129.

пен-пролетариев. Таким образом, строго говоря, уже во II в. до н. э. в Риме не существовало демоса в том понимании и значении этого слова, которое имеется в виду, когда речь идет об афинском обществе эпохи расцвета. Более того, именно с этого момента явственно обнаруживается деградация римского плебса: далеко шагнувшая пауперизация крестьянства, рост люмпен-пролетарских слоев городского населения. Конечный результат этих сложных и мучительных процессов внутри римского общества совпадает с агонией республики; обескровленный гражданскими войнами (поскольку его представители со времен Мария составляли основной контингент легионариев), потерявший самостоятельное политическое значение, римский плебс в конечном счете превращается в «голосующий скот», подкармливаемый олигархической верхушкой и используемый ею в качестве своего послушного орудия.

Еще более существенным является тот факт, что непосредственные противоречия между основными классами-антагонистами рабовладельческого общества, т. е. между рабами и рабовладельцами, достигли своего наиболее полного, острого и по своим масштабам наиболее широкого выражения только в условиях развития римского рабовладельческого государства. Можно утверждать, что в истории Греции наиболее яркие образцы и примеры классовой борьбы относятся к борьбе между классом крупных землевладельцев, купцов и промышленников и классом мелких свободных производителей, тогда как выступления рабов имели спорадический характер (например бегство рабов во время Декелийской войны). Но уже в Риме, особенно в период его превращения из итальянской *civitas* в средиземноморскую державу, восстания рабов достигают таких масштабов (сицилийские восстания, Спартак), что ставят под угрозу самое существование господствующих классов. Коренное противоречие между основными классами-антагонистами рабовладельческого общества впервые выявляется непосредственно с таким размахом и такой остротой только в эпоху господства Рима над средиземноморским миром.

Вместе с тем неизвестное по своим масштабам Греции и эллинистическому миру применение рабского труда влечет за собой грандиозное разорение мелких производителей. В результате этого наряду с борьбой между основ-

ными классами-антагонистами обостряется и борьба между классом мелких производителей и рабовладельцами. Об этом свидетельствуют бурные события последних десятилетий Римской республики, вплоть до гражданских войн после смерти Цезаря.

Следствием всех этих причин является та специфическая тенденция, которая в конечном счете порождает своеобразные политические формы. Рабовладельческий класс Рима стремится консолидировать свои силы против эксплуатируемых масс населения. И действительно, в истории позднереспубликанского Рима можно наблюдать эту постепенно складывающуюся тенденцию консолидации господствующего класса вплоть до установления режима военной диктатуры и примирения различных социальных групп под «надклассовой» эгидой Августа.

Таково изложенное в форме некоторых общих выводов распространённое в советской историографии древности представление о социально-экономической природе и классовой структуре полиса. Оно достаточно резко отличается от тех существующих в науке точек зрения на полис, которые рассматривают его только как юридическую, в лучшем случае как государственноправовую форму. Думается, что изложенное понимание природы полиса может оказаться более плодотворным при изучении некоторых общих закономерностей развития античного рабовладельческого общества.

Само собой разумеется, что наше понимание полиса отлично от воззрений, господствовавших в древности. Однако следует подчеркнуть, что для самих древних понятие «полис», «*civitas*», всегда было понятием более сложным, более глубоким, чем формальная и сухая правовая категория, хотя бы уже потому, что оно у них непосредственно связывалось с представлением об *отчизне* (*патрис*, *patria*), т. е. той общности (*societas*), которая объединяет граждан в единое целое, и с понятием о той сумме не только духовных, но и *материальных* ценностей, которые эту общность и создают. Вот как это определял Цицерон: много есть степеней общности людей. Например, людей объединяет общность языка и происхождения, но еще более тесной связью следует считать принадлежность к одной и той же гражданской общине (*civitas*). Ибо многое является здесь именно общим достоянием граждан: форум, святилища, портики, дороги, законы, права, судьи,

право голосования, кроме того, привычные обычаи и дружеские связи, а также всякие взаимные дела и расчеты¹⁶. Все это создает ту общность, которую следует признать наиболее близкой и дорогой (*omnium societatum nulla est gravior, nulla carior quam ea, quae cum republica est uni-cuique nostrum*), которая есть не что иное, как государство, как родина, и которая одна только вмещает в себя общие привязанности (*sed omnes omnium caritates patria una complexa est*)¹⁷.

Проблема полиса всегда занимала исключительное место в сфере античной идеологии, в сфере политического мышления древних. Сами термины «политический», «политика», как известно, являются производными от слова и понятия «полис». Полис — единственно возможное и единственно мыслимое средоточие государственной жизни, гражданских прав и привилегий. Только тот, кто приобщен к полису — как правило, в силу своего рождения, а также недвижимой собственности, — только тот и есть полноправный гражданин (*πολίτης*), и как таковой только он и может принимать участие в государственной жизни (*πολιτεία*).

Характерно, что политическое мышление древних греков, во всяком случае, в «классический период», не вышло за рамки полиса. Любая конструкция базировалась на представлении о государстве как полисе. Поэтому даже в своем наивысшем развитии, т. е. у Платона и Аристотеля, политическая мысль древности вращается в тех же пределах: идеальное государство Платона — не что иное, как идеализированный полис, к тому же спартанского образца.

Существенное значение во всех умозрительных конструкциях, связанных с проблемой полиса, имел принцип автаркии. Идеализированный полис Платона выступает перед нами как образец самодовлеющей и замкнутой (в политическом и экономическом отношении) общины¹⁸. Самодовлеющее существование государства было для Аристотеля главным признаком и основным условием государственного бытия вообще¹⁹. Таким образом, в сфере

¹⁶ *Cic.*, *De off.*, I, 17.53.

¹⁷ *Ibid.*, I, 17.57.

¹⁸ *Plato. Resp.*, 423 b — c.

¹⁹ *Arist.*, *Pol.*, VII, 4.7, p. 1326a.

идеологии полис отражен как некий идеал «совершенной автаркии».

Как уже сказано выше, развитие рабовладельческого способа производства неминуемо влекло за собой кризис полиса. В Греции этот кризис начинается в IV в. до н. э., в Риме — во II—I вв. до н. э. В сфере экономики кризис полиса характеризуется эволюцией античной формы собственности в сторону частнорабовладельческой, т. е. все более независимым положением частнособственнических элементов во всей системе рабовладельческого хозяйства. Эта эволюция как в Греции, так и в Риме сопровождается аналогичными явлениями: концентрацией земель, пауперизацией свободного мелкого производителя, т. е. всем тем, что и создает условия для того, чтобы рабский труд овладел производством, что дает простор развитию рабовладельческого способа производства. В сфере политической это приводит к замене самостоятельного (и самодовлеющего) полиса системой союзов, федераций, централизованных держав (военно-административные объединения), в которых самодовлеющее значение полисов постепенно сводится на нет. С этой точки зрения мы допускаем определенную ошибку, когда, изучая историю Греции в так называемую эллинистическую эпоху, часто продолжаем рассматривать ее как историю самостоятельных полисов, в то время как есть все основания рассматривать эти полисы уже не изолированно, но в системе македонской державы. Соответственно история Рима уже с III в. до н. э. должна изучаться как история италийской федерации, находящейся под римским господством. И наконец, в сфере идеологии кризис полиса выражается прежде всего в крушении полисно-автаркистского идеала и в распространении своеобразных индивидуалистических и космополитических воззрений.

БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ

С. Л. УТЧЕНКО

1. Политические послания Саллюстия к Цезарю.— «Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. М. Н. Покровского», Исторический ф-т, т. V, вып. 1, 1940, с. 65—87.
2. Происхождение плебейской организации. [Рец. на кн.: Altheim F. Lex sacrata].— ВДИ, 1947, № 1, с. 123—126.
3. Закон Лициния — Секстия de modo agrogum и его значение для истории аграрных отношений раннего Рима.— «Известия АН СССР. Серия истории и философии», т. IV, № 2, 1947, с. 153—162.
4. Проблемы изучения древнего общества и освещение их в «Вестнике древней истории».— ВДИ, 1947, № 4, с. 3—10 [Без подписи].
5. Воззрения Саллюстия на идеальное государственное устройство.— ВДИ, 1948, № 1, с. 190—202.
6. Теория упадка нравов в древнем Риме как орудие политической борьбы.— «Известия АН СССР. Серия истории и философии», т. V, № 2, 1948, с. 167—173.
7. Машкин Н. А. История древнего Рима [Рец.].— «Известия АН СССР. Серия истории и философии», т. V, № 4, 1948, с. 387—390.
8. История древней Греции. [Учебное пособие. В соавторстве с В. В. Бирюковичем]. М., 1948, 77 с.
9. Дьяков В. Н. История римского народа в античную эпоху, ч. I, М., 1947, [Рец.].— ВДИ, 1948, № 4, с. 99—103.
10. История древнего Рима. [Учебное пособие. В соавторстве с В. В. Бирюковичем]. М., 1949, 118 с.
11. Идеино-политическая борьба в Риме накануне падения Республики. (Из истории политических идей I века до н. э.) [Автореферат].— «Известия АН СССР. Серия истории и философии», т. VI, № 2, 1949, с. 181—185.
12. Проблемы изучения государственных форм рабовладельческого общества.— ВДИ, 1949, № 2, с. 3—9. [Без подписи].
13. Учение Цицерона о смешанной форме государственного устройства и его классовая сущность.— ВДИ, 1949, № 3, с. 74—85.
14. Развитие политических воззрений Саллюстия. («Письма к Цезарю» — «Истории»).— ВДИ, 1950, № 1, с. 229—254.
15. Гай Саллюстий Крисп. Письма к Цезарю-старцу о государственных делах. [Перевод и комментарий].— ВДИ, 1950, № 1, с. 255—270.

16. Историческое значение восстания Спартака.— В кн.: А. В. Мишулин. Спартак. М., Учпедгиз, 1950, с. 3—12.
17. Древний Рим. Книга для чтения. [В авторском коллективе]. М., Учпедгиз, 1950.
18. Очередные задачи Института истории АН СССР.— «Вопросы истории», 1951, № 1, с. 3—11. [Без подписи].
19. О классах и классовой структуре античного рабовладельческого общества.— ВДИ, 1951, № 4, с. 15—21.
20. Идеино-политическая борьба в Риме накануне падения Республики (Из истории политических идей I в. до н. э.). М., Изд-во АН СССР, 1952, 300 с.
21. XIX съезд партии и работа в области древней истории.— ВДИ, 1952, № 4, с. 3—12. [В соавторстве с С. В. Киселевым, без подписи].
22. Римское рабовладельческое общество в середине II в. до н. э.— ВДИ, 1953, № 4, с. 157—165.
23. Древняя Греция. Книга для чтения. [В авторском коллективе]. М., Учпедгиз, 1954.
24. Учение Цицерона об «идеальном гражданине» (*vir bonus*).— ВДИ, 1954, № 3, с. 21—32.
25. Кризис полиса и политические воззрения римских стоиков.— «Доклады советской делегации на X Международном конгрессе историков в Риме». М., Изд-во АН СССР, 1955, 64 с. [На русск. и англ. яз.].
26. Древний Рим. Книга для чтения. [В авторском коллективе]. 2-е перераб. изд. М., Учпедгиз, 1955.
27. Проблема кризиса полиса в античной идеологии.— «Из истории социально-политических идей». Сборник статей к 75-летию акад. В. П. Волгина. М., Изд-во АН СССР, 1955, с. 49—58.
28. Первый том «Всемирной истории». [Рец.] — «Новый мир», 1956, № 3, с. 306—308.
29. Über die althistorische Forschung in der Sowjetunion.— «Das Altertum». Bd. 2, H. 1. Berlin, 1956, S. 3—7.
30. Der weltanschaulich-politische Kampf in Rom am Vorabend des Sturzes der Republik. Berlin, Akademie-Verlag, 1956. 240 S. [Переработанное издание. Авт.: S. L. Uttschenko].
31. Всемирная история, т. II. М., Госполитиздат, 1956, [гл. V; гл. VI, § 1; гл. X, § 1 и 2; гл. XI, § 1; гл. XII, § 1; гл. XXVII, § 6].
32. Хрестоматия по истории древнего мира. Пособие для преподавателей средней школы. Под ред. акад. В. В. Струве. М., Учпедгиз, 1956 [Вступительные статьи раздела «Древний Рим»].
33. Die Krise der Polis und die politischen Ansichten der römischen Stoiker. [Автореферат].— «Bibliotheca classica orientalis», 1956, H. 4, Sp. 213—214.
34. История первобытного общества. Краткий конспект лекций. [Пособие для заочников]. М., 1957, 50 с.
35. The History of One Thousand Years. [Реферат II тома «Всемирной истории»].— «Вестник истории мировой культуры», 1957, № 3, с. 211—214.
36. Classes et structure de classe dans la société esclavagiste antique.— «Etat et classes dans l'antiquité esclavagiste.— Recherches internationales à la lumière du marxisme», № 2. Paris, 1957, p. 101—111.

37. Problema crizei polisului în ideologia antică.— «Analele române — sovietice. Seria istorie. Румыно-советские записки. Серия истории» (Anul XI — Seria IIIa), N 1 (17). București, 1957, p. 5—15.
38. Советская историография античности за 40 лет [В соавторстве с Г. Г. Дилигенским].— «Вопросы истории», 1958, № 1, с. 140—157.
39. «Всемирная история» [Weltgeschichte], т. II [Реферат].— «Bibliotheca classica orientalis», 1958, N. 2, Sp. 107—113.
40. Древняя Греция. Книга для чтения. [В авторском коллективе] [2-е перераб. изд.] М., Учпедгиз, 1958.
41. Новейшие раскопки в Помпеях.— «Вестник АН СССР», 1958, № 12, с. 71—74.
42. Кризис комициального устройства в Риме.— ВДИ, 1959, № 2, с. 83—94.
43. III Международный конгресс классических исследований [Лондон, 31 августа — 5 сентября 1959 г.].— «Вестник АН СССР», 1959, № 12, с. 80—81.
44. Le sens social et politique du terme «optimates» chez Cicéron.— «Acta Sessionis Ciceroniana», 3—5 XII. 1957. Warszawa, 1960, p. 51—62.
45. Идея народного суверенитета у римлян.— ВДИ, 1960, № 2, с. 58—75.
46. «История рабства в античном мире» в семилетнем плане Института истории АН СССР.— ВДИ, 1960, № 4, с. 3—8. [Без подписи].
47. О некоторых вопросах истории рабства. [В соавторстве с Е. М. Штаерман].— ВДИ, 1960, № 4, с. 9—21.
48. Рим — Лондон — Париж. (Заметки и размышления историка).— «Новый мир», 1961, № 1, с. 186—207.
49. Римская республика в I в. до н. э. (Исторический очерк).— В кн.: Брежнев Б. Дела господина Юлия Цезаря. М., Изд-во иностранной литературы, 1961, с. 295—309.
50. Die Idee der Volkssouveränität bei den Römern.— «Romanitas. Revista de cultura romana». Ano III, N 3—4. In honorem Henrique Lévy-Bruhl. Rio de Janeiro — Brasil, 1961, p. 227—248. [Переработанный вариант № 45].
51. Консулат Цезаря — трибунат Клодия.— ВДИ, 1961, № 3, с. 34—49.
52. Историко-философские воззрения Саллюстия.— «Studi classici», III. București, 1961, p. 271—279.
53. Август.— «Советская историческая энциклопедия», т. I, 1961, с. 64—66.
54. Античность. [В соавторстве с С. И. Ковалевым].— «Советская историческая энциклопедия», т. I, 1961, с. 616—625.
55. Антоний.— «Советская историческая энциклопедия», т. I, 1961, с. 630—631.
56. Социальное и политическое значение термина «optimates» у Цицерона.— Древний мир. Сборник статей. Академику В. В. Струве. М., Изд-во восточной литературы, 1962, с. 627—635.
57. Римское общество I в. до н. э. и восстание рабов под руковод-

- ством Спартака. В кн.: *Джованьоли Р. Спартак*. М., Изд-во детской лит-ры, 1962, с. 3—15.
58. Акрополи Эллады.— «Новый мир», 1962, № 7, с. 168—190.
 59. Хрестоматия по истории древнего Рима. М., Изд-во социально-экономической литературы, 1962. [Введение, комментарии, часть источниковедческих справок].
 60. Римская армия в I в. до н. э.— ВДИ, 1962, № 4, с. 30—47.
 61. К вопросу о римских политических партиях.— ВДИ, 1963, № 3, с. 82—94.
 62. Древняя Греция. Книга для чтения. [В авторском коллективе], изд. 3-е (дополненное). М., Учпедгиз, 1963.
 63. Некоторые черты образа ученого и человека (К 75-летию академика В. В. Струве).— «Вопросы истории», 1964, № 5, с. 117—120.
 64. Становление Римской империи и проблема социальной революции.— «Вопросы истории», 1964, № 7, с. 106—118.
 65. Актуальные проблемы античности. [Конференция «Эйрене». Ленинград, 1964].— «Вопросы истории», 1964, № 10, с. 184—192.
 66. Египет: пятьдесят веков и современность.— «Новый мир», 1964, № 11, с. 177—199.
 67. Кризис и падение Римской республики. М., «Наука», 1965, 288 с.
 68. III Национальный конгресс немецких историков. [Краткое сообщение].— «Вестник АН СССР», 1965, № 7, с. 69.
 69. Римская империя в I в. н. э. и гибель Помпей. В кн.: *Булвер-Литтон Э. Последние дни Помпей*. М., Изд-во детской литературы, 1965, с. 3—20.
 70. Научная жизнь сектора древней истории Института истории АН СССР за 1965 г. [В соавторстве с А. И. Павловской].— ВДИ, 1966, № 1, с. 145—150.
 71. Глазами историка. [Сборник статей]. М., «Наука», 1966, 264 с.
 72. Политико-философские трактаты Цицерона («О государстве» и «О законах»).— В кн.: Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. М., «Наука», 1966, с. 153—174.
 73. Изучение истории древнего мира в советской историографии. Античность.— В кн.: «Очерки истории исторической науки в СССР», т. IV. М., «Наука», 1966, с. 577—589.
 74. XXIII съезд и задачи исторической науки.— ВДИ, 1966, № 3, с. 3—7. [Без подписи].
 75. Краткая всемирная история, кн. 1. М., «Наука», 1966, ч. 1. Древний мир. с. 9—126.
 76. Тридцать лет «Вестника древней истории».— ВДИ, 1967, № 2, с. 3—6. [Без подписи].
 77. Античность и современность. [Вступительное слово].— В кн.: «Античное общество. Труды конференции по изучению проблем античности». [Ленинград, 9—14 июня 1964]. М., «Наука», 1967, с. 5—10.
 78. Древний Рим. События. Люди. Идеи. М., «Наука», 1969, 324 с.
 79. Некоторые тенденции развития римской историографии. III—I вв. до н. э.— ВДИ, 1969, № 2, с. 66—74.
 80. Международное признание заслуг советского ученого. [В соавторстве с Л. В. Позднеевой].— ВДИ, 1969, № 3, с. 209—210.

81. Римская империя и правление Нерона. В кн.: *Линдсей Д. Подземный гром*. М., «Прогресс», 1970, с. 458—475.
82. Социальная стратификация древнего общества. [В соавторстве с И. М. Дьяконовым]. (XIII Международный конгресс исторических наук. Москва. 16—23 августа 1970 г.). М., 1970, 20 с.
83. [То же на англ. яз.]: *The Social Stratification of Ancient Society*. (13th International Congress of Historians. 16—23.VIII 1970). М. «Наука», 1970, 19 p. [Авт.: S. L. Utchenko., I. M. Diakonoff].
84. В. И. Ленин и законы истории.— ВДИ, 1970, № 2, с. 3—9. [Без подписи].
85. Римская историография и римские историки.— В кн.: *Историки Рима*. М., «Художественная литература», 1970, с. 5—32.
86. Академик Николай Иосифович Конрад (1891—1970).— ВДИ, 1971, № 1, с. 203—204.
87. Некоторые тенденции и общие черты римской историографии III—I вв. до н. э.— «Acta Conventus XI «Eirene»». Варшава, 1971, с. 299—312.
88. A római történetírás fejlődésének néhány tendenciája (i. e. 3—1 sz.).— «Válogatott tanulmányok az ókori irodalomról». Debrecen, 1971, p. 58—74.
89. Цицерон и Катилина.— «Вопросы истории», 1972, № 2 (с. 121—132), № 3 (с. 124—135).
90. Цицерон и его время. М., «Мысль», 1972, 390 с.
91. Пятьдесят лет СССР.— ВДИ, 1972, № 4, с. 3—6. [Без подписи].
92. Две шкалы римской системы ценностей.— ВДИ, 1972, № 4, с. 19—33.
93. Сулла и его время. [Рец. на кн.: Гуллиа Г. Сулла. М., 1972].— «Литературное обозрение», 1973, № 4, с. 50—51.
94. *Kryzys i upadek republiki w starożytnym Rzymie*. Warszawa, 1973, 436 str. [Авт.: S. L. Utchenko].
95. Еще раз о римской системе ценностей.— ВДИ, 1973, № 4, с. 30—47.
96. Социальная стратификация древнего общества. [В соавторстве с И. М. Дьяконовым].— В кн.: XIII Международный конгресс исторических наук. Москва. 16—23 августа 1970 г. Доклады конгресса, т. I, ч. 3. М., 1973, с. 129—149. [См. № 82].
97. Трактат Цицерона «Об обязанностях» и образ идеального гражданина.— В кн.: *Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях*. М., «Наука», 1974, с. 159—174.
98. *The Ancient World*. [Об изучении древнего мира в СССР. В соавторстве с М. А. Коростовцевым].— «Social Sciences». М., «Наука», 1975, N 2, p. 95—103. То же, на франц. яз. *Antiquité*.— «Sciences sociales», 1975, N 2, p. 101—111. То же на исп. яз.: «Ciencias Sociales», 1975, N 2, p. 104—113.
99. Единство мирового исторического процесса и идея гуманизма. (По поводу выхода в свет «Избранных трудов» академика Н. И. Конрада. М., 1974).— ВДИ, 1975, № 3, с. 172—180.
100. Трактат Цицерона *De officiis* и образ «идеального гражданина».— «Actes de la XII conférence internationale d'études classiques „Eirene“ Cluj—Napoca, 2—7 octobre 1972». București—Amsterdam, 1975, p. 23—27.
101. Одна из центральных проблем истории античного общества.

- (По поводу издания в ГДР труда: *Hellenische Poleis. Krise. Wandlung. Wirkung*, I—IV. Berlin, 1974).—ВДИ, 1975, № 4, с. 132—135.
102. *Cicerone e il suo tempo*, Roma, 1975 (Biblioteca di storia antica, I). [Переработанный и сокращенный перевод, 292 с. Авт. S. L. Utchenko].
 103. Исследования по истории древнего мира. [В соавторстве с М. А. Коростовцевым].—В кн.: Развитие советской исторической науки, 1970—1974. М., 1975, с. 140—153.
 104. Советская наука о древнем мире к XXV съезду КПСС.—ВДИ, 1976, № 1, с. 3—6. [Без подписи].
 105. Юлий Цезарь. М., «Мысль», 1976, 365 с.
 106. О некоторых особенностях античной культуры.—ВДИ, 1977, № 1, с. 5—12.

Редактирование

- Машкин Н. А. и Редер Д. Г.* История древнего мира. Учебно-методическое пособие для заочников пед. ин-тов. М., Учпедгиз, 1948.
- Машкин Н. А.* История Римской империи. Спец. курс. Методическое пособие для студентов-заочников пед. ин-тов. М., 1948.
- Словарь иностранных слов. [Раздел древней истории]. Изд. 3-е. М., 1949.
- Мишулин А. В.* Спартак. Научно-популярный очерк. М., Учпедгиз, 1950.
- История древнего Рима. Книга для чтения. М., Учпедгиз, 1950.
- Мишулин А. В.* Античная Испания (до установления римской провинциальной системы в 197 г. до н. э.). М., Изд-во АН СССР, 1952. [Совместно с Я. А. Ленцманом].
- Древняя Греция. Книга для чтения. М., Учпедгиз, 1954. [Совместно с Д. П. Каллистовым].
- Кудрявцев О. В.* Эллинские провинции Балканского полуострова во II в. н. э. М., Изд-во АН СССР, 1954.
- Демосфен.* Речи. Перевод С. И. Радцига. М., Изд-во АН СССР, 1954. [Совместно с И. И. Толстым].
- Древний Рим. Книга для чтения. 2-е, переработанное издание. М., Учпедгиз, 1955. [Совместно с Д. П. Каллистовым].
- «Всемирная история», т. II. М., Госполитиздат, 1956.
- Штаерман Е. М.* Кризис рабовладельческого строя в западных провинциях Римской империи. М., Изд-во АН СССР, 1957.
- Кудрявцев О. В.* Исследования по истории Балкано-Дунайских областей в период Римской империи и статьи по общим проблемам древней истории. М., Изд-во АН СССР, 1957. [Совместно с В. В. Струве и Н. М. Постовской].
- Дукреций.* О природе вещей. Перевод Ф. А. Петровского. М., Изд-во АН СССР, 1958.
- «Труды Московского государственного историко-архивного института», т. XII. М., 1958. [Совместно с Ю. А. Писаревым].
- Древняя Греция. Книга для чтения. 2-е, переработанное издание. М., Учпедгиз, 1958. [Совместно с Д. П. Каллистовым].
- Зельин К. К.* Исследования по истории земельных отношений в эллинистическом Египте II—I вв. до н. э. М., Изд-во АН СССР, 1960.

- Хрестоматия по истории древнего Рима. М., Изд-во социально-экономической литературы, 1962.
- Ленцман Я. А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. М., Изд-во АН СССР, 1963.
- Древняя Греция. Книга для чтения. 3-е, дополненное изд. М., «Просвещение». 1973. [Совместно с Д. П. Калистовым].
- Зельин К. К. Борьба политических группировок в Аттике в VI в. до н. э. М., «Наука», 1964.
- Ельницкий Л. А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII—III вв. до н. э. М., «Наука», 1964.
- Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. [Перевод М. Л. Гаспарова]. М., «Наука», 1964.
- Страбон. География. Перевод Г. А. Стратановского. Л., «Наука», 1964.
- Преображенский П. Ф. В мире античных идей и образов. М., «Наука», 1965. [Совместно с С. Д. Сказкиным].
- Бергер А. К. Политическая мысль древнегреческой демократии. М., «Наука», 1966. [Совместно с А. И. Павловской].
- Цицерон. Диалоги. О государстве. О законах. [Перевод В. О. Горенштейна]. М., «Наука», 1966.
- Античное общество. Труды конференции по изучению проблем античности. [Ленинград, 9—14 июня 1964 г.] М., «Наука», 1967.
- Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. [Перевод А. С. Бобовича и Г. С. Кнабе]. М., «Наука», 1969.
- Древний Рим. Книга для чтения. 3-е издание, дополненное и переработанное. М., «Просвещение», 1969. [Совместно с Д. П. Калистовым].
- Геродот. История. Перевод Г. А. Стратановского. Л., «Наука», 1972.
- Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. [Перевод В. О. Горенштейна]. М., «Наука», 1974.

- Август (63 до н. э.—14 н. э.), римский император (27 до н. э.—14 н. э.); до 44 г. до н. э.—Гай Октавий, с 44 г. до н. э.—Гай Юлий Цезарь Октавиан, как император — Цезарь Август 55, 71, 120, 178, 185, 188, 207, 211, 212, 214, 219, 220, 238
- Августин, Аврелий (354—430), епископ Гиппонский, богослов, «отец церкви» 69, 148
- Агесилай (ок. 440—361), спартанский царь (400—361) 207
- Аквиллий, Маний, консул 129 г. до н. э. 80
- Альбуций, Тит, претор 106 г. до н. э. 73
- Амвросий (340—397), епископ Медиоланский, христианский писатель, «отец церкви» 148, 190
- Андреев Ю. В.* 22, 29
- Анней Сенека Младший, Луций (ок. 4 до н. э.—65 н. э.), римский писатель, философ-стоик, политический деятель 148, 159, 185
- Антиох Аскалонский (II—I вв. до н. э.), греческий философ, учитель Цицерона 153, 192, 200
- Антифонт (480—411), афинский оратор, софист 183
- Антоний, Марк (82—30), римский полководец и политический деятель, народный трибун 49 г., консул 44 и 34 гг. до н. э., триумvir 71, 187—189, 219
- Антонины, династия римских императоров (96—192) 164
- Аппиан (II в.), римский историк 29, 188
- Аппий Клавдий см. Клавдий Слепой, Аппий
- Аристид (540—467), афинский политический деятель, соперник Фемистокла 11
- Аристотель (384—322), древнегреческий философ 18, 21, 23—27, 30, 34, 37, 41, 90, 92, 117, 125—128, 135, 138, 140, 144, 149, 155, 158, 182—84, 205, 206, 233, 239
- Архит из Тарента (IV в. до н. э.), древнегреческий философ и математик 142
- Асконий Педиян, Квинт (9 до н. э.—76 н. э.), римский историк и грамматик, комментатор Цицерона 63
- Аттик см. Помпоний Аттик, Тит
- Афиней (III в.), греческий писатель, грамматик и софист 31
- Афинодор (I в. до н. э.), древнегреческий философ, ученик Посидония 192

* Фамилии ученых и деятелей нового времени выделены курсивом.

Базин М. М. 7.
Беднан Е. 46, 59
Библиер В. С. 7, 8
Блоссий из Кум (II в. до н. э.), древнегреческий философ, учитель Гая Гракха 225
Боровский Я. М. 133
Бюхнер К. 84, 141, 148, 190, 192

Валерий Анциат (II—I вв. до н. э.), анналист 106
Валерий Максим (I в.), римский историк 161
Валерий Флакк, Луций, консул 195 г., цензор 184 г. до н. э. 76
Варрон см. Теренций Варрон, Марк
Васильева Т. В. 134
Веллей Патеркул, Гай (I в.), римский историк 63, 220
Вергилий Марон, Публий (70—19 до н. э.), римский поэт 12, 119, 120, 140
Ветурий, Луций (II в. до н. э.), римский политический деятель, соперник Катона Старшего 77
Вецеллин см. Кассий Вецеллин
Виппер Р. Ю. 212, 219, 220
Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ) (1694—1778), французский писатель, философ, просветитель 190

Ганнибал (ок. 247—183), карфагенский полководец и политический деятель 149
Гаспаров М. Л. 11, 12
Гейнце Р. 213, 214, 216
Геллий, Авл (II в.), римский писатель 77, 79, 112, 235
Гельцер М. 57, 63, 186, 192
Геродот (ок. 484—425), древнегреческий историк 15, 104
Гесиод (VIII—VII вв. до н. э.), древнегреческий поэт 118, 119, 121, 123, 140, 233
Гинцбург Н. 62
Гиппий (V в. до н. э.), софист 122
Гипподам (V в. до н. э.), древнегреческий философ и архитектор 142

Голубцова Е. С. 19
Гомер (IX—VIII вв. до н. э.), легендарный древнегреческий поэт 14, 16, 72, 81, 233
Горацій Флакк, Квинт (65—8 до н. э.), римский поэт 68
Гракхи см. Семпроний Гракхи
Гьюйо М. 132, 133

Демосфен (384—322), афинский оратор и политический деятель 13, 188
Дикеарх (347—287), древнегреческий философ ученик Аристотеля 92, 127, 144, 153
Диоген Лаэртский (III в.), древнегреческий писатель, историк философии 91
Диодор Сицилийский (80—29), древнегреческий историк 163
Дион (409—353), зять Дионисия Старшего, сиракузский политический деятель, друг и ученик Платона 204
Дионисии (Старший и Младший), сицилийские тираны (V—IV вв. до н. э.) 204
Дионисий Галикарнасский (I в. до н. э.—I в. н. э.), древнегреческий историк, критик, автор сочинений по риторике 103, 104, 235
Доватур А. Я. 141, 154
Еврипид (480—406), древнегреческий драматург 14

Жебелев С. А. 22
Зельс О. 165, 210
Зенон из Китая (336—264), древнегреческий философ, основатель школы стоиков 91
Иероним (340—420), христианский писатель, богослов, «отец церкви», 148
Иоанн Стобей (ок. 450—ок. 500), составитель сборника изречений и отрывков из сочинений древнегреческих авторов 142
Йордан Г. 164
Исократ (435—338), афинский оратор и политический деятель 13, 142, 158

Калликл, софист, участник платоновского диалога «Горгий» 123, 202

Каллисфен (IV в. до н. э.), древнегреческий историк 95

Кальпурний Писон Фрути, Луций, народный трибун 149 г., консул 133 г., цензор 120 г. до н. э., анналист 106

Камилл см. Фурий Камилл, Марк

Каракалла (Септимий Бассиан) (186—217), римский император (211—217); как император — Цезарь Марк Аврелий (Север) Антонин Август (Каракалла) 39

Кассий Веллелл, Спурий, консул 502, 493 и 486 гг. до н. э. 225

Катилина см. Сергей Катилина, Луций

Катон см. Порций Катон Старший, Марк

Катул см. Лутаций Катул Старший, Квинт

Квинкий Фламинин, Луций, консул 192 г. до н. э. 77

Квинкий, Фламинин, Тит, консул 198 г. до н. э. 72, 77

Квинкий Цинциннат, Луций, консул 460 г., диктатор 458 и 439 гг. до н. э. 185

Квинтилиан см. Фабий Квинтилиан, Марк

Кессиди Ф. X. 118

Кир Младший (V в. до н. э.), брат персидского царя Артаксеркса II 207

Кир Старший, основатель Персидского царства, первый царь из династии Ахеменидов (558—529) 204—206

Клавдий Квадригарий, Квинт (II—I вв. до н. э.), анналист 106

Клавдий Марцелл, Марк, консул 51 г. до н. э. 63, 178, 179

Клавдий Слепой, Аппий, консул 306 и 297 гг., цензор 312 г. до н. э. 236

Клисфен (вторая половина VI в. до н. э.), афинский законо-

датель и социальный реформатор 233

Клодий Пульхр, Публий, народный трибун 58 г. до н. э. 62, 66

Колобова К. М. 34

Корнелий, знатный римский род 58

Корнелий Сулла, Луций (138—78), претор 93 г., консул 88 г., диктатор 82—79 гг. до н. э. 55, 56, 73, 100, 171, 172, 174, 175

Корнелий Сципий, Луций, консул 259 г. до н. э. 70

Корнелий Сципион Назика, Публий, консул 138 г. до н. э. 215

Корнелий Сципион Африканский Старший, Публий (235—183), римский полководец, победитель Ганнибала, консул 205 и 194 гг. до н. э. 77, 149, 215

Корнелий Сципион Эмилиан Африканский Нумантинский Младший, Публий (185—129), консул 147 и 134 гг., цензор 142 г. до н. э., глава «сципионовского кружка» 70—72, 79—82, 139, 148—152, 155, 156, 225—226

Корнелий Тацит, Публий (Гай?) (ок. 56 — ок. 117), римский историк 84, 103

Корунканий, Тиберий, великий понтифик, консул 280 г. до н. э., законодатель 225

Красс см. Лициний Красс, Публий

Критий (V в. до н. э.), афинский политический деятель, глава правительства 30 тиранов, софист 123

Ксенофонт (ок. 430—355) древнегреческий историк 29, 30, 95, 122, 123, 142, 158, 203—206

Кудрявцев О. В. 54

Кузицин В. И. 19

Курий Дентат, Маний, консул 290, 275 и 274 гг. до н. э. 225

Лактанций, Луций Цецилий Фирмиан (IV в.), христианский писатель 148

Латте К. 102, 105

Леви-Стросс К. 118

Лелий, Гай, консул 140 г. до н. э., философ и писатель 80, 81, 151, 224, 225

Лелин В. И. 45

Лентул Спинтер, Публий, консул 57 г. до н. э. 213

Ливий Андроник (III в. до н. э.), первый римский поэт 14, 71

Ливий Тит (59 до н. э.—17 н. э.), римский историк 33, 45, 76, 161, 235.

Ликург (VIII в. до н. э.), легендарный спартанский законодатель 97, 146, 156, 206

Лисандр (V в. до н. э.), спартанский полководец в годы Пелопоннесской войны 207

Лициний Красс, Публий, консул 131 г. до н. э. 71

Лициний Лукулл, Луций (106—56), консул 74 г. до н. э. 1/4

Лициний Макр, Гай, народный трибун 73 г. до н. э., анналист 106

Лукреций Кар, Тит (98—55), римский поэт и философ 72, 128, 130—134, 139, 140

Лусцин см. Фабриций Лусцин, Гай

Лутаций Катул Старший, Квинт, консул 102 г. до н. э. 100

Луцилий, Гай (180—102), римский поэт-сатирик 70

Маи А. 147

Маклюэн М. 8, 10

Манилий Маний, консул 149, до н. э., правовед 80

Манилий (II в. до н. э.), римский сенатор 77

Маретин Ю. В. 20

Марий, Гай (156—86), римский полководец и политический деятель, консул 107, 104—100 и 86 гг. до н. э. 55, 56

Маркс К. 20, 28, 35, 46, 231, 232, 236

Марцелл см. Клавдий Марцелл, Марк

Марций Кориолан, Гней (V в. до н. э.), римский полководец и политический деятель, перешедший на сторону вольсков, врагов Рима 225

Матий, Гай (I в. до н. э.), римский всадник, друг Цезаря и Цицерона 222—224, 226—229

Машкин Н. А. 57, 75, 216

Маяк И. Л. 21

Мейер Хр. 27, 44, 58, 60, 63, 64

Мейер Эд. 57, 163, 164, 178, 181, 212, 2235

Мелий, Спурий (V в. до н. э.), римский всадник, обвиненный в стремлении к единовластию 225

Метеллы, знатный римский род 58

Митридат VI Евпатор (132—63), царь Понта (114—63) 75, 173

Молон (II—I вв. до н. э.), древнегреческий оратор и ритор, глава родосского посольства в Риме в 80 г. до н. э. 71

Моммзен Т. 33, 55—57

Муммий, Спурий (II в. до н. э.), римский оратор, стояк 80

Муций Сцевола Авгур, Квинт, консул 117 г. до н. э., правовед 80

Нибур Б.-Г., 14, 234

Нигидий Фигул (I в. до н. э.), римский грамматик и философ 72

Никий (V в. до н. э.), афинский политический деятель и полководец во время Пелопоннесской войны 22

Новгородцев П. И. 204

Нума Помпилий, второй римский царь (по традиции—VIII—VII вв. до н. э.) 156

Овидий Назон, Публий (43 до н. э.—17 н. э.), римский поэт 119—121

Огульний, Квинт, народный трибун 300 г. до н. э. 71

- Панетий** (180—110), римский философ-стоик 79—81, 89—91, 127, 128, 135, 138, 140, 149, 153, 163, 185, 189, 191, 192, 195, 196
- Пелопид** (IV в. до н. э.), фиванский политический деятель и полководец, вождь фиванской демократии 94
- Пёльман Р.* 164
- Перикл** (ок. 500—429), вождь афинской демократии, стратег (444—429), 25, 31, 113, 213
- Персей**, македонский царь (179—168) 11, 71, 161
- Петрарка**, Франческо (1304—1374), итальянский поэт, гуманист 147
- Писистрат**, афинский тиран (560—527) 14
- Писон см.** Кальпурний Писон Фруги, Луций
- Пифагор** (580—500), древнегреческий философ и математик 156
- Плавт**, Тит Макций (254—184), римский комедиограф 71, 84, 85
- Платон** (427—347), древнегреческий философ 16, 18, 22, 26, 27, 34, 40, 41, 93—95, 117, 122—126, 129, 130, 132, 135, 138, 140—143, 148, 149, 153—156, 158, 170, 182—184, 196, 203—206, 216, 217, 239
- Плиний Секунд Старший**, Гай (23—79), римский ученый-энциклопедист 148
- Плутарх** (ок. 46—ок. 120), древнегреческий историк, философ и писатель 14, 25, 61, 62, 73, 76—79, 81, 104, 188, 233
- Полибий** (ок. 200—120), древнегреческий историк 71, 80, 81, 90, 92—98, 127—130, 132, 135, 138—140, 145, 146, 149, 153, 154, 156, 157, 162, 163, 181, 198
- Помпей Великий**, Гней (106—48), римский политический деятель и полководец, триумvir, консул 70, 55 и 52 гг. до н. э. 62, 71, 166, 173, 178, 189
- Помпоний Атик**, Тит (109—32), римский всадник, друг Цицерона 107, 138, 186, 187, 189, 191, 194
- Порций Катон Старший**, Марк (234—149), консул 195 г., цензор 184 г. до н. э., оратор, историк, писатель 44, 62, 74, 76—79, 101, 106, 155, 159, 160, 185, 192, 198, 209—211, 215, 220
- Порций Катон Младший** Утический, Марк (95—46), народный трибун 62 г., претор 54 г., оратор, стоик 72, 179
- Посидоний** (135—51), древнегреческий ученый, философ, историк 89, 90, 127, 128, 153, 161, 163, 173, 181, 186, 189, 191, 192, 198
- Постумий Альбин**, Авл, консул 51 г. до н. э. 73
- Протагор** (V в. до н. э.), софист 120, 121, 124
- Протасова С. И.* 215
- Публилий Сир** (I в. до н. э.) римский миммограф 74
- Рейтценштайн Р.* 212
- Ромул**, легендарный основатель Рима, первый римский царь по традиции — вторая половина VIII в. до н. э.) 29
- Ростовцев М. И.* 49, 58
- Рутилий Руф**, Публий, консул 105 г. до н. э. 73, 80, 100
- Сайм Р.* 58, 59, 101, 165
- Саллюстий Крисп**, Гай (86—35), римский историк 33, 44, 62, 63, 78, 101—103, 105, 107, 109, 112—115, 133, 161, 163—181, 207—211
- Семпроний Гракхи** (II в. до н. э.), семья римских политических деятелей 29, 43, 46, 55, 56, 61, 80, 81, 108, 207, 226, 236
- Семпроний Авеллион**, Публий (II в. до н. э.), анналист III
- Семпроний Гракх**, Гай (153—121), народный трибун 123 и 122 гг. до н. э., социальный реформатор 225

Семпроний Грах, Тиберий, консул 177 и 163 гг., цензор 169 г. до н. э., отец братьев Грахов 215

Семпроний Грах, Тиберий, народный трибун 133 г. до н. э., социальный реформатор 72, 81, 225

Семпроний Тудитан, Гай, консул 129 г. до н. э. 80

Сенека см. Анней Сенека Младший, Луций

Сергий Катилина, Луций (108—62), претор 68 г., организатор заговора 63 г. до н. э. 56, 63, 66, 107, 113, 169, 172, 174—176, 189

Соболь С. Л. 131

Сократ (469—399), древнегреческий философ 123, 142, 155, 158, 203—205

Солон (ок. 638 — ок. 560), афинский социальный реформатор и законодатель 32, 206, 233

Сосюр Ф. де 23

Софокл (496—406), древнегреческий драматург 72

Страбон (64/3 до н. э.— 23/4 н. э.), древнегреческий географ и историк 50, 125, 161

Сулла см. Корнелий Сулла

Сципионы, представители знатного римского рода Корнелиев 62, 71

Тацит см. Корнелий Тацит

Тегер Ф. 206, 212

Тейлор Л. Р. 59

Теренций Афр, Публий (195/90—159), римский комедиограф 74, 80, 81

Теренций Варрон, Марк (116—27), римский ученый, писатель, историк 147

Тесей, легендарный афинский герой и царь (по традиции— XIII в. до н. э.) 233

Тиртей (VII в. до н. э.), древнегреческий поэт 14

Тразимах (V в. до н. э.), софист 122, 123

Требатий Теста, Гай (I в. до н. э.), римский юрист, друг Цицерона 223

Тронский И. М. 216

Трубецкой Е. Н. 204

Туллий, Сервий, шестой римский царь, социальный реформатор (по традиции— VI в. до н. э.) 34, 235

Туллий Цицерон, Марк (106—43), римский оратор и писатель, консул 63 г. до н. э. 11—13, 25—27, 40, 44, 62—64, 70, 71, 78, 80, 81, 84, 85, 91, 101—103, 105—107, 109—115, 134—140, 146—150, 152—157, 178—181, 185—201, 207, 211—218, 221—229, 238, 239

Угченко С. Л. 3, 5, 28, 53, 114, 152, 170, 177

Фабий Пиктор, Квинт (вторая половина III в. до н. э.), римский писатель, основоположник анналистики 71, 101, 103, 106, 161

Фабий Квинтилиан, Марк (35—96), римский теоретик ораторского искусства 101

Фабриций Лусцин, Гай, консул 282 и 278 гг., цензор 275 г. до н. э. 225

Фавоний, Марк, претор 49 г. до н. э. 166

Фанний Страбон, Гай, народный трибун 142 г., цензор 132 г., консул 122 г. до н. э., правовед, стоик 80

Фемистокл (525—461), афинский политический деятель и полководец, архонт 493/2 г. до н. э. 94, 225

Феономп (конец VIII в. до н. э.), спартанский царь 143

Феофраст (372—287), древнегреческий философ 144, 149

Ферреро Г. 212

Филипп II (ок. 382—336), македонский царь (359—336) 161, 188

Флавии, династия римских императоров (69—96) 164

Фридрих II (1712—1786), прусский король (1740—1786) 190

Фритц К. фон 141

Фролов Э. Д. 206

Фукидид (ок. 460—400), древнегреческий историк 21, 22, 104, 113, 142
 Фульвий, знатный римский род 58
 Фульвий Нобилиор, Марк, консул 189 г. до н. э. 77
 Фурий Камилл, Марк (IV в. до н. э.), римский политический деятель и полководец, победитель вольсков 185
 Фурий Фил, Луций, консул 136 г. до н. э., оратор 80

Хазанов А. М. 20

Целий Антипатр, Луций (III в. до н. э.), анналист 100, 106
 Целий Руф, Марк, народный трибун 52 г., претор 48 г. до н. э. 147
 Цецилий Стаций, Гай (219—166), римский комедиограф 74
 Цинций Алимент, Луций, претор 210 г. до н. э., анналист 71
 Цинциннат см. Квинкций Цинциннат, Луций
 Цицерон см. Туллий Цицерон, Марк

Шварц Эд. 210

Швеглер А. 14

Штаерман Е. М. 19, 29, 74

Шур В. 149, 163, 210, 213, 214, 216

Элий Туберон, Квинт, народный трибун 133 г., претор 123 г. до н. э. 80

Эллегуар Ж. 223

Эмилии, знатный римский род 58

Эмилий Павел Македонский, Луций, консул 182 и 168 гг. до н. э. 11, 71, 215

Эмилий Пап, Квинт, консул 282 и 278 гг., цензор 275 г. до н. э. 225

Эмилий Скавр, Марк, консул 115 и 107 гг. до н. э. 100

Энгельс Ф. 20, 28, 35, 46, 231, 232, 236

Энний, Квинт (239—169), римский поэт, драматург, анналист 14

Эпаминонд (418—362), фиванский политический деятель и полководец, вожь фиванской демократии 94

Эпикур (341—270), древнегреческий философ 134

Эфор (IV в. до н. э.), древнегреческий историк 95

Югурта, нумидийский царь (118—106) 105

Юлий Цезарь, Гай (100—44), римский политический деятель и полководец, триумвир, консул 59, 48, 46—44 гг., диктатор 49 и 47—44 гг. до н. э. 29, 66, 71, 146, 164—166, 168, 169, 172, 178—180, 186—189, 208—211, 219, 223, 224, 226—229, 238

Юний Брут, Луций, полулегендарный основатель Римской республики, один из двух первых консулов 509 г. до н. э. 185

Юний Брут, Марк (85—42), претор 44 г. до н. э., участник заговора против Юлия Цезаря, оратор, философ, друг Цицерона 188

Aalders G. I. D. 141

Arnim H. von 87, 89

Bengtson H. 57

Gruen E. S. 80

Hanschke P. 67

Klose P. 65

Knoche U. 69, 73, 103, 104, 111

Kroll W. 67, 71, 72, 90, 165

Kytzler B. 223

Nicolet C. 51

Pöschl V. 154

Scullard H. H. 58, 59

Sherwin-White A. H. 39

Stark R. 84, 85

Süss W. 190, 192

Vogt J. 154

Wilamowitz-Möllendorf U. 145

Zielinski Th. 190

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

3

ВВЕДЕНИЕ

7

I

Глава

ФЕНОМЕН АНТИЧНОГО ПОЛИСА

18

II

Глава

РИМСКОЕ ОБЩЕСТВО III—I ВВ. ДО Н. Э. КРИЗИС ПОЛИСА

42

III

Глава

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС II—I ВВ. ДО Н. Э.

67

IV

Глава

СОЦИАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РИМСКОЙ СТОИ

86

V

Глава

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РИМСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

99

255

VI

Глава

УЧЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

117

VII

Глава

УЧЕНИЕ О НАИЛУЧШЕЙ ФОРМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЙСТВА

141

VIII

Глава

ТЕОРИЯ УПАДКА НРАВОВ И ИДЕЯ НРАВСТВЕННОЙ РЕФОРМЫ

158

IX

Глава

УЧЕНИЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ГРАЖДАНИНЕ

182

X

Глава

УЧЕНИЕ ОБ ИДЕАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЕ

202

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

222

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. КРИЗИС ПОЛИСА

230

II. БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ С. Л. УТЧЕНКО

241

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

248

Опечатки и исправления

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
146	5 сл.	60—51 гг.	60—53 гг.
249	15 сл. пр. стлб.	Зенон из Китая	Зенон из Кития
251	8 сл. пр. стлб.	Нума Помпилий	Нума Помпилий
254	18 сл. пр. стлб.	47—44 гг.	48—44 гг.

Зак. 2603. С. Л. Утченко.